E43 —
1535

С.С.С.Р.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ

15-78

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА

ХРЕСТОМАТИЯ

СОСТАВИЛ Д. КИН

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
М. РАФЕСА

Высший Военный Редакционный Совет.

МОСКВА, Смоленский бул., 53.

Политическая литература и различные игры.

Вышли из печати и поступили в продажу.

(Цены показаны в черв. рублях).

Юргенс.

ИГРА

„Вопросы и ответы“.

Занимательная игра, помогающая усвоению полевого и гарнизонного уставов.

Л. Митницкий.

„Герой Кнопкин“,

Повестушка, с рис. М. Черемных.

43 стр., цена 10 к.

Полезная, занимательная книжка для красноармейских библиотек, мастерски рисующая четкую фигуру образцового воина „героя Кнопкина“.

И. Липковский.

Беседа о земельном

А. Трунин.

ИГРА

„Красноармейское лото“.

76 рис. худ. Уманец. Изд. 1.

Полезное, разумное развлечение красной казармы. В занимательной и живой форме помогает усвоению уставов внутренней и гарнизонной службы. Игра художественно исполнена в 3 краски.

Д. Кин.

„Красноармейская хрестоматия“.

24½ п. л. Свыше 100 иллюстр. в тексте.

Незаменимое пособие для красноармейских школ и клубов. Первая книга после букваря, составленная из образцов классических и новейших произведений русских и иностранных писателей.

„ЗА НОВЫЙ МИР“.

Революционный чтец-декламатор.

Сост. **Г. Кореневым.**

12 печ. листов. Издание 1-е.

Сборник революционных произведений для

Е43
1535
89.7(082)

С. С. С. Р.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

★

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА

★

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ХРЕСТОМАТИЯ

СОСТАВИЛ

Д. КИН

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

М. РАФЕСА

★

Библиотека Институт Красн. Профес
Инв. № 3178/2
Ср. 2579

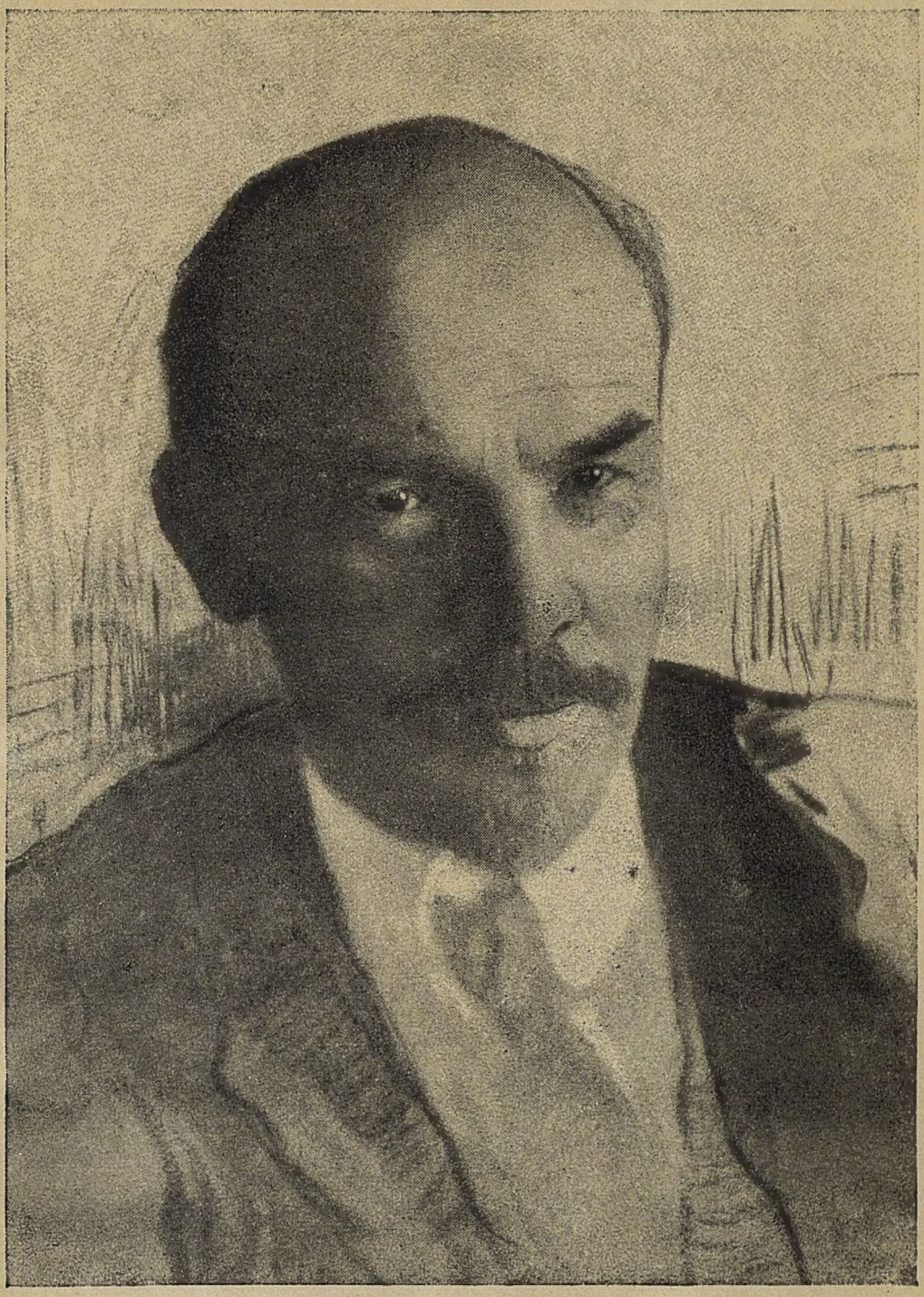
ВЫСШИЙ ВОЕННЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

МОСКВА
1923

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА РСФСР
34857 19 г.

В. В. Р. С. № 837. Тираж 15.000.

Главлит № 13543. Мосполиграф. 27 тип. „Красная Печать". Москва, Остоженка, 10.



ВОЖДЬ МИРОВОГО ПРОЛЕТАРИАТА
В. И. Ульянов-Ленин.

ЧАСТЬ I.

НА ПОСТУ.

Письмо т. Троцкого к красноармейцу.

Друг красноармеец!

Я пишу тебе, и ты читаешь мои строки. Грамота связывает нас воедино: в этом ее великая сила.

Все, что тысячи человеческих поколений до нас видели, испытали, совершили, записано в книгах. Записано все, чему люди научились до сих пор. И раз ты грамотен, тебе все это ныне доступно.

Тебя научила читать Красная армия. Я тебя братски поздравляю с этим великим успехом: ибо теперь у тебя в руке ключ, которым открывается дверь науки.

Но не останавливайся на полдороге. Тот, кто малограмотен, часто забывает грамоту. Надо утвердиться в чтении, а потом и в письме. Надо научиться читать бегло, легко, свободно, без усилия и запинки. Упражняйся в чтении всякую свободную минуту.

Сколько есть на свете прекрасных стихотворений, песен, рассказов, исторических и научных книг. Целый океан мысли человеческой. А сколько еще будет создано книг, более прекрасных, чем все ныне существующие. Ведь люди не стоят на месте, а идут вперед. Как только мы залечим раны нашей страны, поднимем хозяйство, улучшим и украсим жизнь,—все население у нас освободится от тьмы и двинется вперед.

Смотри же, друг, не отставай. Учись, не теряй времени. Равняйся по передовым!

Народный Комиссар по военным и морским делам
и Председатель Революционного Военного Совета С.С.С.Р.

Л. Д. ТРОЦКИЙ.

КРАСНАЯ ПРИСЯГА.

Торжественное обещание при вступлении в Рабоче-Крестьянскую Красную армию.

1. Я, сын трудового народа, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, принимаю на себя звание воина Рабочей и Крестьянской армии.

2. Перед лицом трудящихся классов Союза Советских Социалистических Республик и всего мира я обязуюсь носить это звание с честью, добросовестно изучать военное дело и, как зеницу ока, охранять народное и военное имущество от порчи и расхищения.

3. Я обязуюсь строго и неуклонно соблюдать революционную дисциплину и беспрекословно выполнять все приказы командиров, поставленных властью Рабочего и Крестьянского правительства.

4. Я обязуюсь воздерживаться сам и удерживать товарищей от всяких поступков, унижающих достоинство гражданина Союза Со-

ветских Социалистических Республик, и все свои действия и мысли направлять к великой цели освобождения всех трудящихся.

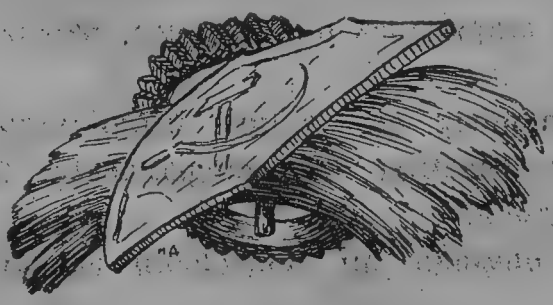
5. Я обязуюсь по первому зову Рабочего и Крестьянского правительства выступить на защиту Союза Советских Социалистических Республик от всяких опасностей и покушений со стороны всех ее врагов, и в борьбе за Союз Советских Социалистических Республик, за дело социализма и братства народов не щадить ни своих сил, ни самой жизни.

6. Если по злому умыслу отступлю от этого моего торжественного обещания, то да будет моим уделом всеобщее презрение и да покарает меня суровая рука революционного закона.

Руки, не привыкшие держать книжку, не могут хорошо держать и винтовку.

Заспорили раз красноармейцы: правда ли, что кто книжку не умеет в руках держать, тот не умеет держать и винтовку.

— Правильно, — сказал Белкин. — Служил я у белых уфимским стрелком. И думал, что хорошее дело делаю. Только вздумал меня офицер грамоте выучить. Хотел денщиком сделать. Выучился я кое-как читать. И нашел газету „Красный Стрелок“. Красные при отступлении оставили. Офицер велел мне изорвать ее. А я спрятал, а после и прочел. А как прочитал, так и понял, что винтовку-то я не умею держать. Не в ту сторону направил. Надо было в офицеров стрелять. А как понял это, так и утек к красным. Теперь третий год рабоче-крестьянскую власть защищаю.



Зачем нам нужна постоянная армия.

„Земля—крестьянам, фабрики—рабочим, мир—всему миру".

Так возвестили коммунисты-большевики в октябре 1917 г. Таков смысл и основного закона—конституции нашей Республики.

И верно—земля отошла в пользование крестьянам. На фабриках хозяином стал рабочий. Все главные фабрики, заводы, рудники и все железные дороги объявлены собственностью рабоче-крестьянского государства, рабочие управляют ими через Советы депутатов и их органы.

Ну, а когда же „мир всему миру"? Когда же конец всяким войнам, всякому раздору?

Вот этого-то у нас еще нет.

Для чего же Советская власть отрывает сотни тысяч людей от мирного труда в казармы?

Да все потому же, что в нашей стране земля вся у крестьян, фабрики—у рабочих, и вся власть—у крестьян и рабочих.

Как тут не озлобиться господам помещикам и капиталистам? И напряглись они силами, чтобы вернуть старые порядки.

Но собственных сил у них было мало. В два—три месяца были разбиты их генеральские банды нашей Красной гвардией.

Тут на помощь им подоспели заграничные капиталисты.

Этим-то чего надо? Заграничные капиталисты тоже понесли большие убытки от рабоче-крестьянской революции в России.

Многие фабрики, заводы и рудники в России принадлежали иностранным капиталистам. Многие помещичьи земли были в закладе в их банках. Не мало денег заграничные капиталисты дали в долг царскому и буржуйскому правительствам. Довоенных долгов около 8 миллиардов руб., военных 6 миллиардов. Всего по своим подсчетам буржуазия хотела с нас содрать 20 слишком миллиардов в золотых рублях.

Советская власть отбирала безвозмездно эти фабрики, заводы, рудники и земли. Советская власть отказывалась уплатить заграничным банкирам царские долги.

По карману ударила наша революция заграничных капиталистов. Оттого ненавидят они Советскую власть.

И еще потому ненавидят Советскую власть иностранные хищники, что побаиваются они, как бы городская и деревенская беднота в ихних странах не взяла примера с российских рабочих и крестьян. Ведь тогда капиталистам во всем мире—крышка.

Иностранные капиталисты снабжали „белых“ деньгами, оружием, обмундированием, посылали им в помощь свои отборные отряды и своих офицеров-инструкторов. Они посылали и посылают в нашу страну своих шпионов, чтобы они портили железные дороги, поджигали склады, мутили народ, устраивали бунты.

Нам нужна постоянная, обучающаяся в казарме и всегда готовая в бою отразить натиск капитала,—армия.

А на ряду с нею нужно и всеобщее военное обучение всех трудящихся, не отрывая их с места их мирной работы.

Тогда, в случае нужды, вокруг нашей небольшой казарменной армии, как вокруг крепкого костяка, соберется вся сила трудового народа.

И никакой враг не будет нам страшен.

В. Антонов-Овсеенко.

Мы хотим мира, но никто не знает, когда злая воля врагов заставит нас снова выйти в поле.

ПРОВОДЫ.

Как родная мать меня
Провожала.
Как тут вся моя родня
Набежала:
—„Ах, куда ж ты, паренек,
Ах, куда ты?
Не ходил бы ты, Ванек,
Во солдаты.
В Красной армии штыки,
Чай, найдутся.
Без тебя большевики
Обойдутся.
Поневоле ты идешь,
Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь
Ни за что ты.
Мать, страдая по тебе,
Поседела.
Эвон в поле и в избе
Сколько дела.
Как дела теперь пошли:
Любо-мило.
Сколько сразу нам земли
Привалило.
Утеснений прежних нет
И в помине.
Лучше б ты женился, свет,
На Арине.
С молодой бы жил женой,
Не ленился".

Тут я матери родной
Поклонился.
Поклонился всей родне
У порога:
—„Не скулите вы по мне,
Ради бога.
Будь такие все, как вы,
Ротозеи,
Что б осталось от Москвы,
От Расеи?
Все пошло б на старый лад,
На недолю.
Взяли б вновь от нас назад
Землю, волю;
Сел бы барин на земле
Злым Малютой [1]).
Мы б завыли в кабале
Самой лютой.
А иду я не на пляс,
На пирушку,
Покидаючи на вас
Мать-старушку:
С Красной армией пойду
Я походом,
Смертный бой я поведу
С барским сбродом.
Что с попом, что с кулаком—
Вся беседа:
В брюхо толстое штыком
Мироеда.

---

[1]) Малюта Скуратов был палачом при русском царе Иване Грозном.

Не сдаешься? Помирай,—
Шут с тобою.
Будет нам милее рай,
Взятый с бою,—
Не кровавый, пьяный рай,
Мироедский, —
Русь родная, вольный край,
Край Советский!"

Д. Бедный.

Свою армию Советская Россия строила заново—из рабочих и крестьян. Эксплоататорам в армию доступа нет.

Защита революции — почетное право трудящихся.

(Из основного закона Советской Республики).

В целях всемерной охраны завоеваний великой рабоче-крестьянской революции, Р. С. Ф. С. Р. признает обязанностью всех граждан Республики защиту социалистического отечества и устанавливает всеобщую воинскую повинность. Почетное право защищать революцию с оружием в руках предоставляется только трудящимся. На нетрудовые же элементы возлагается отправление иных военных обязанностей.

КРАСНОАРМЕЙЦЫ.

Мы идем на защиту свободы,
Крепко держим винтовки в руках,
Месть горит в наших твердых сердцах,
Кровью спаяны вольные взводы.
Мы оставили дымные хаты,
Жен, невест, матерей и отцов.
Мы собрались из разных концов
Для последней кровавой расплаты.
Вся Россия стоит под ружьем,
Развеваются гордо знамена,
За колонной проходит колонна
Под свинцовым смертельным дождем.

Н. Тихомиров.

На нашем пути было много потерь. В ряде тяжких наступлений и отступлений, поражений и побед Красная армия дала Советской республике ее нынешние пределы.

ВЕСЕННИЙ ЛЕДОХОД.

Река посинела и взбухла. Лед тронулся. Огромные ледяные глыбы наступают на мост Длинный деревянный мост дрожит и трещит. Сваи скрипят и стонут.

На мосту толпа мужиков.

— Вот коли сорвет мост, прощай вся дорога. Старенек мост-от. Его, чай, еще при царе Горохе строили. Теперича на Красну армию одна надея.

Толкуют мужики, а на сердце у каждого кошки скребут. Сорвет мост весенний ледоход, прекратится всякое движение, и деревня будет отрезана от города.

3-му понтонному батальону приказано уничтожить заторы льда и мост отстоять. 30 подрывников взялись за работу, а работы много. Нужно самим фугасы заготовить.

Молодые подрывники начиняют жестяные банки взрывчатыми веществами—шнейдеритом и аманалом, прикрепляют бикфордов шнур—обмотанный джутом порох. На кончике шнура капсула—гремучая ртуть в медной обложке.

Подле моста взгромоздило высокую трехсаженную льдину. Подрывники цепочкой растянулись по мосту.

Поджигает подрывник трехвершковой шнур, бросает фугас и отбегает.

Оглушительный взрыв. Столб дыма и льда взлетает кверху. От глыбы остались одни обломки. Но эта льдина не первая и не последняя. За взорванной другая, третья.

— Ишь, словно белогвардейцы в атаку идут,—шутят подрывники.

Мужики, довольные, весело покрякивают.

— Так их, колчаков. Рви без никаких!

По реке плывут на лодках понтонеры, спускают полупудовые фугасы под гору ледяных глыб и быстро отчаливают. Шнур шипит, задыхается, с грохотом летят обломки льда и осколки фугаса.

Вдруг на лодку наплыла большущая глыба.

— Льдина, берегись,—закричали на мосту.—Караул!

— Крах!—треснула лодка, смятая льдиной.

Подрывник Козлов, стоявший на корме, прыгнул и пластом плюхнулся на льдину.

— Спасите!—завопили на лодке.

На мосту все обмерли.

К тонущей лодке быстро подплыла другая. Все были спасены. Только на льдине остался Козлов.

Быстро неслась льдина.

Что делать? Глыба может повредить мост. Взорвать ее? Но на глыбе Козлов. Что-то будет?

Козлов не кричал.

Вдогонку за льдиной лодка. Но как подступиться к льдине?

До моста осталось еще шагов триста.

На мосту в ужасе крестились старики. Льдина подплывает все ближе и ближе. Лодка стала возвращаться обратно. Есть опасность, что лодку затрет, а Козлова уже не спасти.

Мужики разбежались с середины моста—подальше от греха, как бы чего не случилось.

Но вдруг льдина затрещала, уперлась в ледяной затор и, сильно покачнувшись, замедлила ход. Лодка рванулась к мосту.

Козлов помертвевшими руками ухватился за выступ глыбы.

Трещат мостовые „быки“. Глыба застряла между сваями и злобно грызет, дробит их своими ледяными зубами.

Быстро, лавируя меж глыбами, подоспела лодка.

Козлова еле живого, недвижного сняли с льдины и положили в лодку.

Скорей, скорей, в сторону, влево. Движется новая глыба. Она разнесет мост.

Лодка отъехала. Раздались взрывы фугасов. Сидящих в лодке обдало обломками льда. Петрова и Сидоренко ранило осколками фугаса.

Козлов спасен, мост отстояли.

От радости навзрыд плакали бабы, облегченно вздыхали мужики.

Толпа обступила смельчаков-красноармейцев, спасшихся от неминуемой гибели. Козлова и раненых отнесли в ближайшую избу.

Дисциплина и труд—все перетрут.

Красный воин—друг и защитник трудящихся.

Отстроили погорельцев.

Деревня Разгуляй была во всех отношениях дикая. Ни ячейки, ни клуба, ни школы. Тьма тьмутараканская, непроходимая, карты, самогонка, драки.

Работавшие по соседству в бывшей барской экономии красноармейцы ругали мужиков на чем свет стоит.

Наступили ранние холода, а ночевать приходилось в сараях. О том, чтобы добиться постоя в хатах, не было и речи. Днем зайти—и то неохотно пускали; воды спросишь, проходя,—и то неохотно дают, только и смотрят, как бы поскорей убрался со двора гость незваный.

Деревня зажиточная, всего вдоволь, а красноармейцу ничего не подадут, на одном скудном тыловом пайке приходилось пробиваться, а работа была спешная, тяжелая.

Как-то в субботу, поздно ночью, вспыхнуло над Разгуляем зарево пожара. Повскакали на ноги совсем-было со-

бравшиеся спать красноармейцы, побежали в деревню пожар тушить. А в деревне гвалт неописуемый! Улица запружена народом, толпятся, орут, галдят, спасать никто и не думает.

Где пожарная дружина, бочки, шесты? — спрашивают красноармейцы, но ничего добиться не могут. Повидимому, нет и в помине.

Умаялись красноармейцы невероятно, а все-таки пожар потушили к утру. Сгорело дочиста дворов шесть, люди все спаслись, скотину тоже успели вывести. Одна телка всего-навсего погибла, да овец штук пять.

Легли спать усталые ребята. К вечеру митинг устраивают, крестьян созывают. Пришли на этот раз, поинтересовались, о чем это красноармейцы митинговать собираются.

И вот спрашивает председатель собрания, обращаясь к крестьянам:

— Как же теперь устраивать деревню будете?

— Как так?—Удивились даже разгуляевцы.—Наше-то дело какое? Пускай погорельцы отстраиваются сами, как знают.

Плюнул только председатель и обращается к красноармейцам:

— Давай, товарищи, покажем им пример! Через неделю—воскресник, за лесом, а там, как ни тяжело, надбавим каждый день по два часа работы, отстроим погорельцев.

Не поверили мужики, посмеялись, по домам разошлись.

А красноармейцы взялись за работу и до первых снегов выстроили шесть хат честь-честью, одни лишь стекла да скобы пришлось погорельцам покупать.

Выстроили, собрали снова митинг, пригласили крестьян. И говорит председатель, обращаясь к смущенно молчавшим крестьянам:

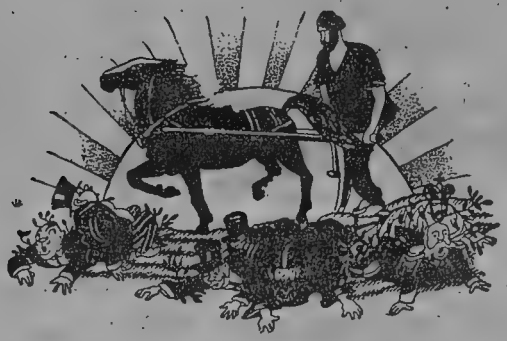
— Вот вам подарок от Красной армии. Знайте, кто такие коммунисты, знайте, кто спасает Россию от погибели!

На следующий день к командиру роты явилось человек пять дезертиров, прося отправить их по принадлежности в часть, да непременно на фронт:

— Пристыдили вы нас очень,—говорят.

Это были сыновья погоревших.

Андрей Стубеда.

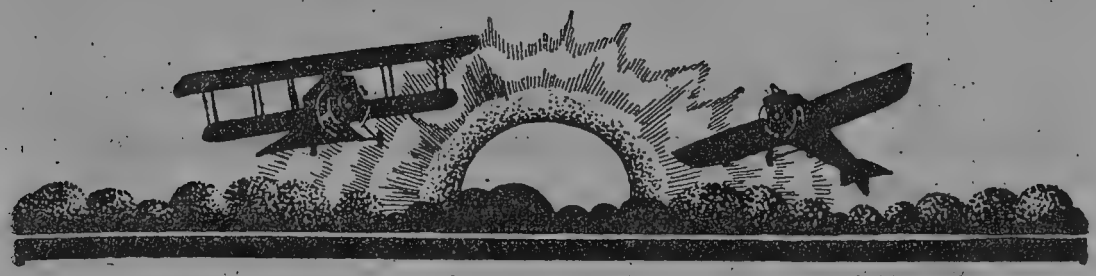


В минуты самой острой опасности от белых генералов—штык красноармейца отводил эту опасность от рабочих и крестьян.

Первый серьезный шаг по борьбе с разрухой в Советской республике сделал красноармеец, держа про запас винтовку.

Красный воин всегда впереди в минуты опасности. Он всегда там, где страдает народ его, ибо сам красный воин является сыном своего народа.

М. Калинин.



Ванька над Москвой.

Приехал допризывник Ванька в Москву, к брату своему, авиатору Андрюшке.

Ничего еще Ванька не видал, кроме овина, церкви да заборов сельских.

А Андрюшка—тот герой: всю гражданскую войну на аппарате птичкой проносился, покувыркался над белогвардейскими окопами, только дымочки снарядные под ним да над ним расплывались.

Уцелел однако и демобилизации не поддался—все с аппаратом своим упражняется.

Говорит Андрюшка Ваньке:

— Слышь, Вань, айда со мной!

— Ку-да?

— Идем, говорю!

Пришли. Глядит Ванюха: аппарат хвостатый с крылышками стоит на колесах резиновых. Андрюшка Ваньку и подтолкни:

— Садись на второе сидение!

Оторопел Ванька, влез, смотрит на ручки да на клапаны. И Андрюшка сел. Другие ребята весло крутнули—раз, другой.

Затарахтело, застукало весло, колесом пошло. Стрекозой по полю аппарат бежит. Прыг-прыг и над землей поднялся.

Глянул Ванька вниз:—Ах, чудеса! Москва-река мелким желобком выгнулась, храм большой игрушечкой кажется, трамваи в роде коробочек спичечных, люди козявками тянутся. А вон поезд ползет—червячишко, не больше...

Разбегаются глаза Ванькины, аппарат стрелой летит... Задрожал, затрясся над поляной, прыг,—встрепенулся, по земле побежал...

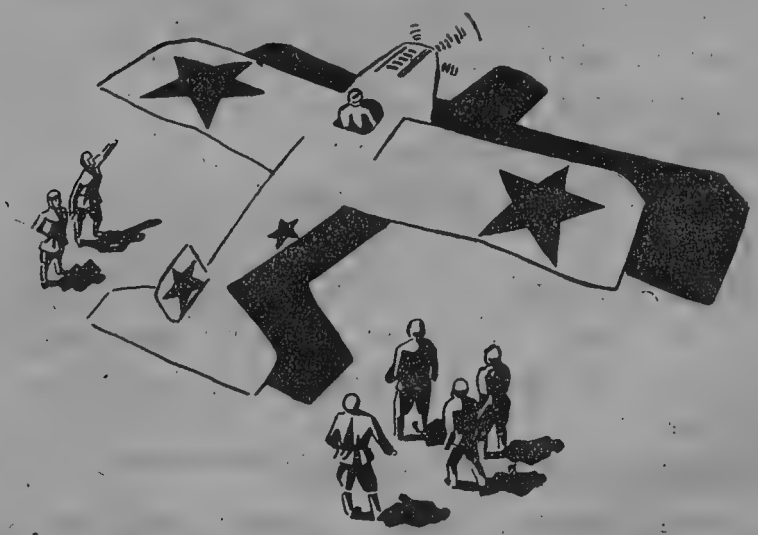
— Слезай, Ванюха!

А Ваньке слезать и не хочется. Хорошо летать!

— Слышь, Андрюшка, желаю в авиаторы!

— Что же, дело хорошее, только серая ты еще порция! Птичка, та, конечно, без науки летает. А человеку, братец ты мой, много знать надо, чтобы в воздухе летать. И грамоту и математику и механику и полное устройство аппарата. Без науки лететь только вверх тормашками можно!

Л. Митницкий.



ЛЕНИН.

(В первые дни).

У Московского Совета на площади стоял полк рабочих и красноармейцев, готовых к отправке на фронт и ждущих Ленина.

Звонили ему по телефону чтобы ехал на митинг, он обещал, а все не ехал. Рабочий Андронников, который отправлялся на фронт во главе этого отряда, взял автомобиль во дворе Московского Совета и переулками, чтоб не расстроить ряды полка, выехал в Кремль.

При самом въезде в Кутафью башню он чуть не столкнулся с автомобилем, в котором на правой стороне, привалясь немного к боку, в угол, сидел Ленин в помятой черной шляпе. Увидев Андронникова, Ленин в момент перекинулся на другую сторону автомобиля и крикнул:

— Вы за мной? Я еду, еду.

Автомобили разминулись. Но Ленин задержал свой, и Андронников, догнав его, пересел к Ленину.

Андронников видел перед собой песчаного цвета лицо Ленина, морщины, расходящиеся от носа, словно высеченные по камню, зрачки черные и огненные.

Лицо такое простое. А глаза и добрые и строгие, но под добротою и под строгостью где-то глубоко таится смех. Такой веселый, солнечный смех.

Помятую шляпу свою Ленин прихлопнул на самые уши, чтоб не сдуло, и опять погрузился в правый угол автомобиля.

— Как, по-вашему, возьмут Казань или нет?—спросил Ленин Андронникова.

— Едва ли возьмут. Удержим,—ответил Андронников.

— А как настроение?

— Да у нас хорошее настроение. Ребята понимают опасность.

— А как относятся красноармейцы к созданию большой армии, настоящей?—спросил Ленин.

— Хорошо. Ведь без этого не обойтись.

Автомобиль с переулка въехал во двор Совета.

Ленин из автомобиля, по привычке своей, словно вырвался: взбежал по лестнице и промелькнул в комнату президиума. Андронников не поспевал за ним.

Потом оба вышли на балкон.

Рядом с ним стоял Ильич. Перегибаясь через перила балкона, поворачиваясь немного вправо и влево, Ленин произносил речь. Говорил, исторгая слова из самой глубины своей сущности. Звук голоса был сочный, налитый той особенной жизненной силой, которая полной чашей льет в сердце уверенность. Все слова у Ленина обыкновенные. А попадает это слово в сердце, раскусишь его,—в нем ядрышко. И от этого горячего Ленина, от его изборожденного песчаного лица, от простых глаз, не то огненных, не то коричневых, от всей его плотной фигуры на Андронникова опять нашло то странное закружение, которое обнимало его по-особенному, человеческому, по-родному. Будто Ленин—старший брат его.

— Трудно управлять страной,—говорил Ленин.

— Неужели мы с ним и еще такие же управляем страной?—подумал Андронников.—И вот такой коричневый пиджачек на Ленине, помятая шляпа. А власть... Все этакое родное, свое—и власть.

Ленин давно уже кончил. Говорил кто-то из полка, а в голове Андронникова все вертелось: „Непобедимы, мы—непобедимы“.

Рапорт красноармейца Троцкого.

Рапорт Предреввоенсовета [1]) т. Троцкого на имя командира 1-й роты учебно-кадрового полка, избравшего тов. Троцкого своим почетным красноармейцем.

„В виду записи меня красноармейцем 1-й роты 1 взвода учебно-кадрового полка 25 стрелковой дивизии, и в виду требования комроты о присылке моей краткой биографии [2]) для занесения в послужной список, докладываю: родился я в 1879 году, 26 октября. Учился в реальном училище [3]). Вступил в революционное рабочее движение в 1896 году. Был арестован в январе 1898 года, провел два с половиной года в тюрьме. Был сослан на 4 года в Сибирь. Провел около 2-х лет в ссылке. Бежал из Сибири за границу для участия в нелегальной работе. В начале 1905 года прибыл с чужим паспортом в Россию. Вел революционную работу; 8 декабря 1905 года был арестован вместе со всем Петроградским Советом Рабочих Депутатов. Сидел 15 месяцев в тюрьме. Был приговорен к ссылке на поселение в Сибирь. Бежал в 1907 году из города Березова, Тобольской губернии, в Петроград и оттуда за границу. Издавал за границей нелегальную [4]) литературу. Во время войны был выслан из Франции в 1916 году за пропаганду [5]) про-

---

Непонятные слова:

[1]) Предреввоенсовет—Председатель Революционного Военного Совета Республики. Реввоенсовет—высшая военная власть в стране.

[2]) Биография—жизнеописание.

[3]) Реальное училище—реальное училище так же, как и гимназия, было школой 2-й ступени в царское время.

[4]) Нелегальная—незаконная, запрещенная правительством.

[5]) Пропаганда—распространение каких-либо знаний.

тив империалистической войны [6]). В Испании был арестован и выслан в Северную Америку. Оттуда выехал в марте 1917 года. Был арестован англичанами и содержался в концентрационном лагере [7]) в Канаде [8]), вместе с пленными немецкими матросами, с которыми у нас установились самые дружественные отношения. Отпущенный английским правительством по требованию Петроградского совета депутатов, прибыл в начале мая в Россию. Участвовал в Октябрьской революции.

Красноармеец 1-й роты 1-го взвода уч.-кадрового полка 25 стрелковой дивизии.

Л. Троцкий.

---

[6]) Империалистическая война—война, которую капиталисты ведут для захвата и порабощения чужих земель и народов.

[7]) Концентрационный лагерь—сводный лагерь, где заключают пленных, преступных лиц и т. д.

[8]) Канада—страна в Северной Америке.

Капиталист и его три генерала.

У Капиталиста три наймита было, три славных генерала—Колчак, Юденич и Деникин.

Зовет Капиталист к себе своих генералов, открывает перед ними мешки с золотом и говорит им:

— Слуги мои верные! Возьмите денег, сколько вам понадобится, наберите людей поподлее и поглупее и двиньтесь на Русь Советскую, на Русь рабочую, мужицкую.

— Ты, Колчак, пойдешь с Востока. Сибирь — страна богатая. Леса там дремучие, непроходимые. Хлеба там угол непочатый. Реки многоводные и многорыбные. В недрах земли хранится столько золота, чугуна и меди, что и во сне столько не снилось англичанину.

Постарайтесь отнять Сибирь у Советской России. Буду доставлять „союзникам“ хлеб, лес, рыбу и металлы. Потекут денежки в наши карманы. Заживем с тобой, Колчакушка, на славу...

— Ты, Деникин, наступай с Юга. Много на Юге угля, нефти, сахару и всякого другого добра. Хорошо на Юге. Море хлещет. Благоухают сады. Цветут виноградники. Набьем карманы, Деникушка, а там под плеск черноморских волн в какой-нибудь Ялте будем отдыхать на берегу моря, попивая винцо. Постарайся, Деникин, постарайся, славный мой превосходительный слуга.

— Ты, Юденич, поведи полки свои на Север. Не богат Север ни хлебом, ни золотом и никакими другими дарами природы. Но на Севере, угрюмом и мрачном

раньше, чем везде, показалось Красное Солнце. На Севере зародилась Советская власть и так она крепко сидит в сердцах у людей труда, крепко сидит... Задуши, Юденич, Север. Разрушь очаг великой революции, и велика будет заслуга твоя передо мной и моими братьями капиталистами. Вперед, Юденич...

Отпустил Капиталист своих генералов, сел на свои мешки с золотом и стал ждать.

Недолго пришлось ждать...

Снег на землю валится, Колчак бешено мчится...

— Завоевал Сибирь? — нетерпеливо спрашивает Капиталист.

— Нет, не завоевал. Там Красная армия и Троцкий...

— Где твоя армия?

— Разбита. Полки частью взяты в плен, частью они сами переходили на сторону красных. Остался я один.

— Один?..

— Один... Я бежал быстрее оленя. Спрячь меня, хозяин. Да и сам спасайся...

Снег на землю валится, Юденич бешено мчится.

— Задушил Север?

— Нет, не задушил... Там Красная армия и Зиновьев..

— Армия твоя?

— Разбита. Я один спасся бегством. Спрячь меня и спасайся сам... Нам наступает конец.

Снег на землю валится, Деникин бешено мчится.

Капиталист уже не спрашивает ни о чем, а безнадежно машет рукой и принимается укладывать свои чемоданы.

Его три наймита, три славных генерала, уныло следуют за ним.

О. Л. Д'ор.

Путь побед — путь к миру.

Честь красноармейцу!

Где он — Колчак, палач Урала?
Его жестоко покарала
Твоя железная рука.
Деникин? Нет о нем помина.
Юденич? Вечный упокой.
А Русь Советская — едина.
Сибирь, Кавказ и Украина
Защищены твоей рукой.

Д. Бедный.

Царская армия и армия Красная.

Что и кого защищали солдаты старой армии.

Страну бесправия, власть помещиков, царский трон, власть капиталистов, власть урядников и стражников, земских начальников, бессовестное ограбление народа— вот что защищал солдат старой армии. Ему говорили: за веру, царя и отечество. А кто посягал на веру? Только прикрывались этим, а на деле были сами гонителями веры всех инакомыслящих. Царя защищали, все его распутство, всю роскошь двора и малых и великих князей и княгинь, их всей бесконечной челяди, их прихоти, их жестокости, их издевательства над народом. Отечество защищали? Да, это было отечество для капиталистов, помещиков. Они постоянно сговаривались с помещиками и капиталистами других стран, с императорами, королями и президентами других стран и вели войны и заставляли и заставляют погибать миллионы людей ради грабежа, ради захватов, ради раздела чужих земель. А когда солдаты не хотели этого, их только туже скручивали, народ оставался еще более ограбленным и ослабленным и должен был расплачиваться всем—жизнью, трудом и достоянием—за эти бойни. Вот что защищали солдаты старой армии.

А что и кого защищает солдат новой армии?

Солдат новой армии должен защищать рабочих и крестьян, бедняков городов и деревень от всех врагов и эксплоататоров [1]).

---

[1]) Эксплоатация — нажива на чужом труде, угнетение. Эксплоататор— всякий, кто эксплоатирует чужой труд.

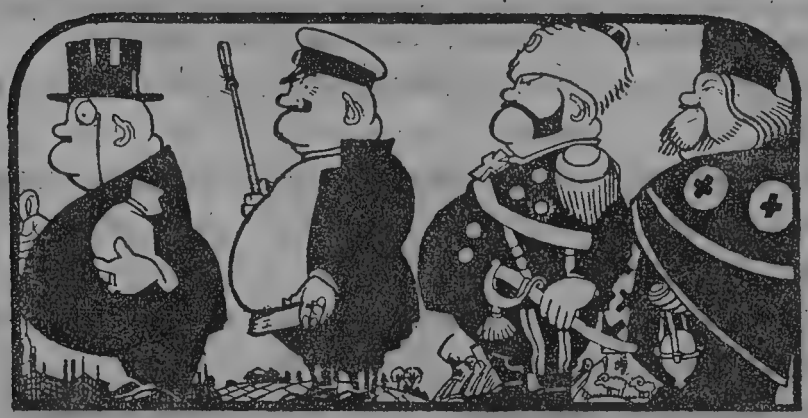
Земля перешла к трудящимся. Это право трудящихся на землю надо защищать.

Фабрики и заводы переходят в руки трудящихся, железные дороги и все пути сообщения переходят в распоряжение трудящихся. Копи, рудники переходят в руки трудящихся. Налаживается народное, общественное хозяйство, налаживается переход к социализму, к полному уничтожению наемного труда, к полному уничтожению власти капитала.

Рабочий и крестьянин получили не только права, они держат в своих руках власть, посредством которой должны перестроить всю жизнь на новых началах.

Всюду сила в руках Советов Рабочих и Крестьянских Депутатов. Солдат новой армии защищает новое отечество, социалистическое. Он защищает то, что добыто ценою революции. Не прихоть, не роскошь царей и капиталистов, не угнетение помещиков и земских начальников, не царство нагайки, не бесправие народное защищает солдат новой армии, как прежний защищал,—нет, он защищает право народа устроить всю жизнь на началах полной свободы, полного равенства, общего братства, и уничтожения всяких войн, всякого гнета, всякого насилия.

Ем. Ярославский.



НА ФРОНТ.

Крестьянин—на коня! Рабочий—за винтовку!
Всем красным миром встань, измученный народ!
Гони грабителей, гони без остановки,
Кто хочет быть живым—с винтовкою вперед!
Кому нельзя на фронт, кто нужен для работы,—
Пусть за троих кует, пусть гонит поезда,
А мы, бойцы, как сталь сомкнувши наши роты,
Пойдем, куда зовет нас красная звезда.
Пусть трудно нам теперь, пусть бой наш лют и тяжек,—
Мы вольности своей врагу не отдадим,
Мы знаем, что паны нам не дадут поблажек,
Мы с голоду умрем, когда не победим.
Вся нечисть против нас,—смерть чует и боится,
Но ей не удержать полета красных птиц.
Паны всегда за плеть, за „старые границы",
А мы за новый мир, за братство без границ.
Крестьянин—на коня! Рабочий—за винтовку!
Всем красным миром встань, измученный народ.
Гони грабителей, гони без остановки.
Кто хочет быть живым—с винтовкою вперед!

В. Лебедев.

Будет ли в этом году война? Ты этого не знаешь.
И я этого не знаю. Рабоче-крестьянская власть воевать не хочет.
Ну, а враги наши: короли, помещики, капиталисты, генералы всех стран?
Они точат свои ножи.
Они ждут только удобного часу, чтобы нанести нам смертельный удар.
Ужели поддадимся? Никогда!
Свою волю, свою страну, свою независимость отстоим!

Л. Троцкий.

ЛЕНИН НЕ ВЕЛЕЛ.

Красные отступали.

Офицер Меньшов, биноклем следивший за дальней станицей, обернулся и увидел своего денщика Степана.

— Что, Степан, победа!

— Да, победа. Поймай его, вертлявого, за хвост: и близко да склизко.

И вдруг мимо обоих прожужжала пуля. Откуда это? Еще и еще.

— Ляжь, ваш высокбродь, ляжь. В вас целют, ляжь.

А пули рыскали вразброд, какие-то безумные пули. Солдаты сгрудились отрядами. Вдруг выскочил один, молодой, и подбежал к офицеру Меньшову.

— Китайца спорол, ваш скородь. Китайца спорол. Большевика.

— Где, где, где? — также глупо, как и все, залепетал Меньшов в лицо молодому.

— А там. Тут.

— Где?

— А в ямке. Залег. И патроны в шапку. И на тебе жарить, желтая скула, собака, на тебе жарить.

— Отстал? — крикнул Степан.

— Не! Отстал! Зачем отстал, он так, до конца.

— Не отступает, значит, со своими?

— Где китайца поймали? Какого китайца? Кажи! — вдруг подкатился отец Никита (полковой поп из белогвардейского отряда) с такими же пьяными глазами, как и у всех. — Дай я его, голуби, дай я его!

— Ляжь, батя. Ляжь. Брюхо береги. Ишь, жалит.

Миг, — и маленького китайца, как игрушку, держал начальник белого отряда Рудяков за шиворот.

— Не трожь, — свирепо визжал он попу, поблескивая саблей. — Не трожь. Моя добыча. Не при, остановись!

Толпа окружила китайца, у ног которого валялась винтовка и фуражка с еще нерасстрелянными патронами.

— Ты! Желтая рожа! Ты! Отвечай! Ты, сукина образина...

Китаец быстро моргал глазами, тупо и упрямо утупив их в землю.

— Допросить его надо! Ты, слушай, желтая твоя образина, по-русски понимаешь?

— Понимаит, — покорно и тихо ответил китаец.

— Что же ты не бежал, дура, со своими, ты, понимаешь? Что же ты не бежал, когда твои давно отступили?..

Китаец брезгливо ежился в руке офицера.

— Ну?.. Отвечай!..

— Козяин не велел, — ответил китаец.

— Что? Какой хозяин? Чорт! Какой хозяин?

И он, как цыпленка, тряхнул упрямца за шиворот.

— Ленин, — качнув головою, тихо и уныло пропел китаец.

При этом слове общий смех потряс толпу:

— Ле-нин! Слышь, робя, Ле-нин!

— А что он тебе, хозяин твой, туды его надвое, что он тебе, косоглазому, дал, что...

— Козяин корош, козяин бегай не велел. Ни бегай, никак, ни...

— Ну, молись, — резко оборвал Рудяков и, поставив китайца свободно, сделал жест, как будто засучивал рукава, и крепко сжал шашку.

И тот, глянув косым глазом в побелевшее лицо офицера с закушенной губой, сразу понял: — смерть. Быстро опустил голову, тупо нагнул, подставил загорелую шею и вытянул вперед руки. Ах! — крикнул Рудяков, ударив шашкой изо всей силы по шее китайца...

А. Насимович.

По общему правилу, враги наши не только истребляли пленных, но и добивали раненых.

А мы говорим: Пощада пленным! Великодушие к побежденному врагу! — и выполняем.

БЕДНЫЙ КОМИТЕТ.

На улицу села, выдробивая копытами, вместе с пыльным облаком, вылетел конный отряд белых.

У колодца конные спешились. Впереди отряда—тощий и костоватый, с улыбочкой на прорубленной губе. Должно—начальство...

У деда-пастуха пытают солдаты:

— Угадай, кто мы?

Дед глядит: шинель русская, без погона. А кто? Кому вдомек...

— По одежде, доводится наши,—ответил дед.

Костоватый начальник мозглявит улыбочкой.

— А ты, дед, советский?

— Емлянские мы... сударок, Емля — наша деревня, ваше благородие.

Костоватый головой дернулся.

— Мозговат, дедка. А белых знаешь?

— Кадета значит?..

— Не рад разве?—спросил костоватый.

К колодцу пристали хозяева, подчуют солдат табачком, а костоватый повел допрос.

— Комитет бедноты выбирали?

Скребутся мужики.

— Бедный комитет как есть... Нам по поводу его нечего сказать.

— По правилу, сударок, мы бедный комитет установили,—сказал дед:—с Москвы был такой закон...

Костоватый, покосившись на деда, жадно, но чуть-чуть тронул рукоять своей шашки.

— Стало быть, ты за них, за красных?

— Чего? Я не мерин, без вожжи хожу. А по поводу бедного комитета обществом просили, по правилу. Матвей расскажи...

Из груды, что муравей из груди, выполз в валенах Матвей Зыря, мужик хлипкий, и несло от него заморелым потом и махрою.

— Общества просил кого другого,—рассказывал Зыря. А тут Зыря называют, потому, говорит, сын работник. Послужи, Зыря, обществу! дай-ко, думаю-ко, послужу обществу.

— То-есть,—обдул Зырю костоватый улыбочкой:— председателем комитета бедноты тебя выбрали.

— Заседатели, барин, так точно, бедного комитета.

Перемялся Зыря с ноги на ногу.

Лошадь вздрогнула под костоватым, жоркнула шпора, и костоватый, срезав поворот задом, обернул лошадь и приказал:

— Взять его.

Скоро конные арестовали еще двух мужиков из бедного комитета.

Смерклось, разбрелись мужики ночевать по домам, а отряд отъехал к лесу.

Покойно в селе. Только баба Зыри напрасно чавкала по грязям от окна к окну и вопила у соседских окошек о своем муже.

На другой день ребята принесли из лесу Зырины валенки.

Валенки почухли и загнили.

Зырю повесили. От мужика, калачиком подвешенного к сосне, стало отдавать уже смертью.

Н. Никитин.

Комитеты бедноты были организованы Сов. властью в селах для борьбы с кулачеством и для защиты интересов безземельных и малоземельных крестьян-бедняков. В 1920 г. комитеты бедноты были упразднены, так как Сов. власть достаточно укрепилась и интересы бедноты могут защищать вполне хорошо обычные органы Советской власти, комитеты взаимопомощи и т. д.

В ПЛЕНУ У КОЛЧАКА.

На барке.

Барка идет на буксире.

Буксир „Спартак“, захваченный у большевиков, черней головешки, рыгает жирной копотью.

С буксира нацелены в барку два пулемета-максимки.

А в брюхе барки—в трюме тесно жались краснозвездные люди, привыкнув к темноте, голоду и вше.

Вшу с шеи огребали разом горстью.

— Ну и плен... Поста Колчак нам задал. Ко всем угодничкам мать их... халдеи [1]).

Тиф.

В путевом журнале прапорщика [2]) Ивана Пальца, в списке арестованных значится:

Красноармейцев—1317.

Коммунистов—250, может и более.

Первый день, когда припала нежданно болезнь, прапорщик Палец отметку в журнале сделал: заболело—27, померло—2.

На второй день опять: еще заболело—23, померло с прочими—7, итого заболело—50, налицо—43.

Пленные умирают от жажды.

Падало за пустоши солнце. Лес горел, никли травы, жгло их солнце и ело.

---

[1]) Халдеи—в древние времена существовал в Азии народ, называвшийся так. Здесь „халдеи“ сказано в ругательном смысле.

[2]) Прапорщик—младший офицерский чин в старой армии.

Староста от арестованных, красноармеец Панаська Лепенчук, по вечеру вылезая из трюма, докладывал начальнику конвоя:

— Седни еще тридцать шесть заболело... пятнадцать— крышка. Сыпь по телу и жар. Тиф. Стенку лижут. Одной вы селедицей кормите, Иван Павлыч. Осолились, нельзя... тоже люди...

— Что-а, Па-авлыч?—крикнул прапорщик.—Какой я тебе, сукина морда, Павлыч. Научишься говорить...

Панаська молча подтягивал шинель.

— Вашбла-родь...

— Ну?

— Нельзя... Тоже, ведь, люди... Карантен скоро-ли. Тоже плен обещали, а ныне мука солена. Пить народ жаждет, а вы полкружки. Так нельзя, болезнь...

Ждет.

— Что-а, блан-манже [1]), может, вам надо!.. Селедка, скажи—тонкий вкус.

— Живые, говорю, все-ж люди.

— Ну, ладно. Итого за болезнью числится 117, померло сегодня 15, старых 14, итого 29. Постой... Так. Надо со счетам, собьюсь...

Палец остановился и, нашарив сбоку флягу, вынул пробку, понюхал, хлебнул самогону и отрыгнулся.

— Ваша бла-родь, а только дозвольте мертвеца в реку покидать. Нельзя жить, дух мешает.

— Какой там дух? не слышу, сами воняете.

— Ваша бла-родь, нос зашибает и воспарение. Чистая смерть, дохнем.

— Нельзя. Числом сдаю. Все пленные налицо должны быть.

На пристани.

Барка подползла к пристани, закинули чалки, наладили сходень.

---

[1]) Бланманже—по-французски, крем,—сладкое блюдо; бывают пирожные с кремом.

Живых красноармейцев вывели с барки. Больных несли товарищи.

Заморелые, чадные головы, сваляное тело, слабей соломы. Сидели они, разминаясь по осенней траве, стараясь ухватить телом побольше жару.

— Любо человеку жить... любо,—шептали пленные.

Свет и земля щекотали глаза.

Кругом них караулил конвой.

Легко становилось и жутко.

Когда вернулся из города прапорщик с инструкцией [1]), к нему, улыбаясь подошел, староста пленных Панаська.

— Хорошо, ваша бла-родь. Нога по песку соскучилась... Чай, на родину, нас уволют.

— Уволют, уволют. Не беспокойся, Лепенчук.

Глаз не показывает, заломил ниже лба собачью папаху.

— По отделениям стройсь.

Взбирались пленные красноармейцы к городу по горбу маршем, обрывая отвыкшей от ходьбы ногой юркий щебень.

Но прапорщик Палец не хочет глаз высунуть из-под папахи.

У него, в боковом левом кармане, под значком, аккуратно свернутый лежал приказ:

— Пленных расстрелять.

Н. Никитин.

[1]) Инструкция—указание, наставление; распоряжение.

ПАРТИЗАНЫ.

Выбор начальника отряда.

Отряд партизанов стал пополняться. Ехали в большинстве из соседних деревень. Приезжали вместе со скарбом, с женами и ребятами.

Но были из дальних деревень, почти все солдаты германской войны, они приходили в пешую, с котомками и с берданками, у некоторых были даже винтовки.

Становище отряда перенесли глубже к Ледяной горе и здесь разбили палатки. Уже было около полусотни человек

Селезнев сказал Кубде:

— Начальника надо выбирать.

Кубдя согласился. Назначили собрание партизан. Когда все собрались, Кубдя влез на телегу. Мужики сели на траву и закурили. Кубдя хотел говорить стоя, но раздумал и только снял картуз.

Позади все стояли на коленях.

Кубдя говорил:

— Товарищи... Собрались мы сюда известно зачем, вам рассказывать не к чему. Никто никого не гнал, по доброй воле... А только против одного: не надо нам колчаковского старорежимного правления, желаем свою крестьянскую власть. Что мы — волки, всякого охотника бояться. У самих сила есть, а кроме идет из-за Урала советская армия. Нужно продержаться, а там как уж получится — видно будет. Та-ак... А теперь нужно выбрать начальника, потому овца и та своего козла имеет, чтобы водить.

Мужики захохотали.

— Думал, я думал,—продолжал Кубдя,—ну кроме одного человека никого у нас нет. А так как надо назначить кандидатов, то мой голос за Антона Семеновича Селезнева.

— А мой за Кубдю,—сказал Беспалых.

Кто-то сказал еще: Соломиных. Соломиных прогудел:

— Куда уж мне? Я с бабой-то едва справляюсь.

Долго мужики галдели, как на сходке. Начали поднимать руки. Большинство было за Селезнева. Селезнев густо покраснел.

Приказ о сборе.

—Мотри, паря,—добродушно рассмеялся Селезнев,—я теперь начальник.

Под вечер пришел учитель Николай Осипович Кобелев-Малишевский.

Он поздоровался со всеми мужиками за руку и сел рядом с Кубдей.

— А я, ведь, к вам,—сказал он.

Кубдя посмотрел на учителя и весело сказал:

— Милости просим.

Селезнев увидел учителя и обрадовался...

— Вас-то, ведь, нам и надо, Николай Осипович.

Учитель улыбнулся еще напряженнее.

— Приказ надо написать. А грамотного человека нету.

— Какой приказ?—спросил Кубдя.

— А вот, что отряд действует и пусть идут кому надо. А наберется больше,—мобилизуем округ.

Все одобрили. Селезнев достал бумаги. Учитель сел, взялся за перо. Он весело взглянул на Кубдю и сказал:

— Что писать-то?

— Пиши,—говорил кратко Селезнев,—по приказу правительства...

— Пиши дальше. Объявляется сбор всех желающих... воевать с колчаковскими войсками... пешие и конные... старые и малые... брать с собой обязательно берданку или винтовку... оружия у нас мало. Нет, это не надо. Сами догадаются. Являться на сборпункт... Во-о... Как воинский начальник, чисто. А куда являться и не знаю.

Приказ был выпущен. Скоро вокруг отряда Селезнева объединились новые партизаны из крестьян.

Последние дни колчаковцев.

В деревнях шел слух, что в город приехал из Омска казачий отряд атамана Анненкова. Деревни заволновались. Казаки отличались особенным сладострастием жестокости при подавлении восстаний. Приходилось поэтому, что в отряд Анненкова и Красильникова записывались все особенно обиженные Советской властью. Атамановцы на погонах носили изображения черепа из двух скрещивающихся костей.

На базарах загромыхали рыдваны, заскрипели телеги —съезжался народ. и после базара, у поскотины, за селом долго митинговали.

Выступали каки-ето ораторы, призывали к восстанию, говорили, что Омск накануне падения, в Славгороде и Павлодаре—Советская власть. Поутру, с котомками и винтовками за плечами видно было на таежных дорогах мужиков, направляющихся к Антону Селезневу.

В городе говорили, что десятитысячные отряды Антона Селезнева стоят где-то недалеко в тайге.

Телеграммы сообщали, что красные взяли уже Курган и подступают к Петропавловску. Омск эвакуируется, и, словно подчеркивая эти сообщения, жирной красной чертой ползли по линии железной дороги эшелоны с эвакуируемыми учреждениями и беженцами.

И по ночам горела тайга—шли палы и полнеба освещало алое зарево.

Всев. Иванов.

То были последние дни царствования колчаковцев, их с обеих сторон теснили красные войска и партизаны. Красная армия освобождала Сибирь.

ДЕЗЕРТИР.

Семен Михалин.

Семен Михалин уже два месяца дезертирствует, а в лесу живет уже третью неделю.

Тоска мучит Семена.

Дождь каждый день мочит Семена, и одежда вся отсырела, не греет.

Вот уже третья неделя, как он не был дома. Невозможно туда пробраться, говорят. Деревня Злынка, где у Семена большое хозяйство, лежит верстах в 5 за шоссе, среди лесов, в ложбине. Место тихое и славное, незаметное. Хоть сто лет, бывало, живи в ней—никто тебя не тронет. А теперь беда дошла и до Злынки. Шоссе, говорят, закрыто для проезда, мосты охраняются. Прошла линия укрепления, нарыты окопы, набито кольев, напутано проволоки.

Деникин идет. Что-же, пусть себе там отступает, наступает, лишь бы его не тронули.

Семен был сам солдатом и знает, что отступление армии—не фунт изюму. Но какой это фронт там отступает, какой наступает,—бог его ведает.

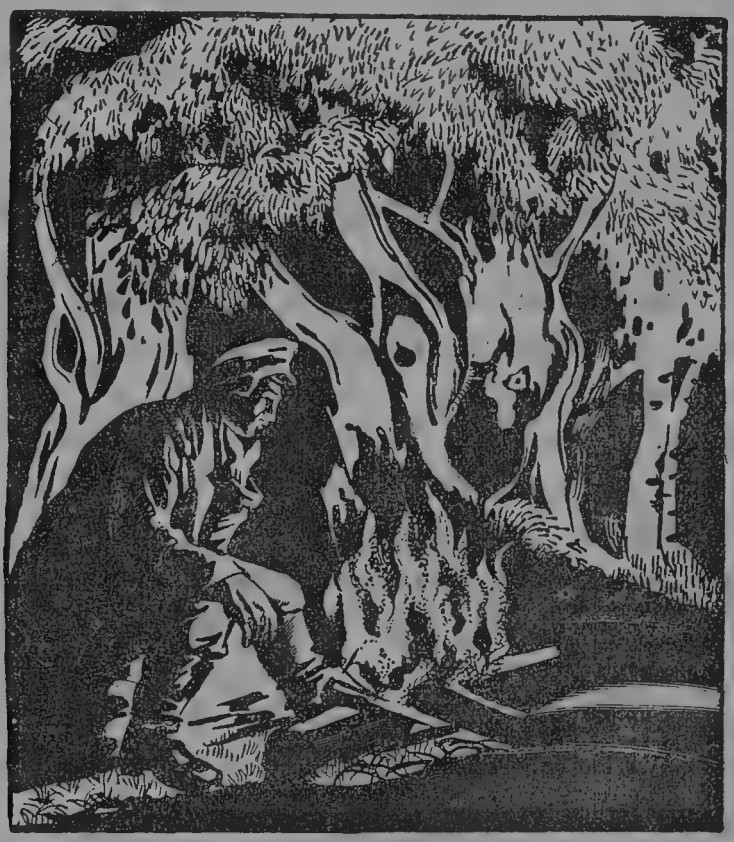
Деникин идет.

Надо домой пробраться, в лесу теперь не усидишь, дело ясное. Может, не только дезертира теперь, а и всякого неизвестного подстрелят, и конец. Семен снова слышал гул грома. Громыхает, и чорт его знает, что оно такое. Гром ли? Не орудия ли это слышны?

Семена Ивановича эта мысль кольнула, и сердце захолонуло...

Он припустил шагу. Вот так история будет, если орудийная канонада... Фронтовая полоса придвинулась, что-ли? А похоже, что так.

Семен выбрал посуше лысинку в чаще, сел, отломил заплесневевшего хлеба, покривился и стал жевать. Нет, не идет хлеб в горло. Нет, домой, домой. Живо. До шоссе отсюда верст пять, да там от шоссе верст пять и дома. Неужто же Семену не добраться?

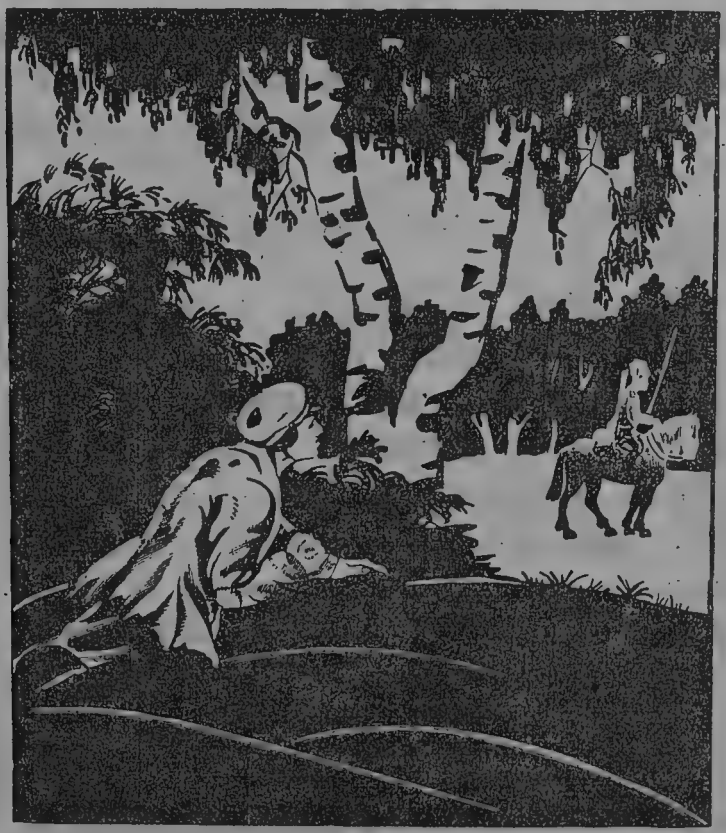


Семен шагал по зарослям. Недалеко от молодняка ноги Семена запутались, он шагнул одной, а другая застряла, и Семен, не удержав равновесия, с размаху растянулся в траве, накалывая руки и коленки в колючках напутаной проволоки... „Сволочи“,—выругался он, вгляделся в траву: здорово спрятана проволока.

Нет, видно, здорово люди опасаются этого Деникина. Ишь, какое угощение на готовлено! Ишь, старались как. Даром бы не городили чертовины этой. Не райского житья, видно, ждут они.

Враги.

Семен лег на землю. Ноги тихо просунул в гущу ельника, а голову—в куст, и стал слушать. Послышался осторожный хруст веток и шуршание сапог в траве. Кто-то осторожно шел. Вдруг фыркнула лошадь. Едут. И люди, слышно, идут тихонько. Видно, не одна лошадь,—перебивается шаг...две, а может, и три... Разъезд или облава.



Семен ясно увидел казацкую папаху с красным донышком и золотым крестом на нем. Семен задрожал всем телом: казаки, а может быть, горцы. Черкесы. У Деникина ведь есть черкесы... Звери они... Семен Иванович увидел ястребиный нос горца, их было трое или четверо, два казака и два кавказца. Они все шли, пригибаясь к лошадям, и по всему видать, что это—враги, в чужой местности, всего ждут, и все настороже каждую минуту.

Он вообразил себе, что неприятельские разъезды уже побывали в деревне, у них... Господи, могли и деревню

зажечь, и добро отнять, и баб поувечить, детей убить. Ах, дьяволы!—Семен зарычал от злобы.

Семен шагнул на солнечное место. Кусты сбоку шаркнули громко и кто-то, выскочив из них сбоку, побежал наперерез Семену. Семен, не видя света, прыгнул под тень лип и несколько секунд заметался, выбирая направление, но тот тоже побежал сюда, и Семен, уже не разбирая дороги, ринулся в лес прямиком. За Семеном устремилась погоня.

Он бежал, прыгая, скакал через пни, вламывался с треском в кусты и выбирался из них, как стрела, кидался то влево, то вправо, где гуще, не слыша ног под собой.

Спасаются.

Вот уже шоссе. Прогремело несколько выстрелов. Может, по нем палят казаки, а может, это красноармейцы заметили казаков и стреляли в них.

Семен Иванович поднялся к мостику, оттуда уже видно было в просветах широкое солнечное пространство—шоссе. Забелели белые контуры каменной дороги. Грохот возов и телег, возгласы, крики едущих. Видно, цыгане едут,—они всегда шумят. А может, обоз—к базару из дальних деревень в город. Подводы за подводами. Вот весело. На шоссе людей, видно, много, и можно спокойно пройти промеж людей,—кому дело хватать Семена.

Но когда Семен Иванович увидел открывшееся перед ним шоссе, глаза у него округлились от удивления: нет, это не обозы с сеном и не базарное движение. Как глазом кинуть в даль, в обе стороне—шоссе загружено телегами, тарантасами. Масса людей. Идут, едут на возах, скарб наложен—подушки, корзины, куры, дети. Коровы плетутся, овцы. Глаза у Семена разбежались. Он забыл о селе и, глядя во все стороны, не заметил даже, как впутался в людской поток и, полный недоумения, очутился среди беженской массы. Он уже догадался, что это беженцы. Он видел эту картину во время царской войны в Галиции, в Буковине и на германском фронте.

Слышен плач детей, возгласы погонщиков, крикливая болтовня или слезливая брань баб.

Семен пошел рядом с бегущей массой, и ее настроение начало и ему передаваться,—бежать надо, надо скорей домой собрать, добро на возы и уходить. Вот тебе и Деникина ждали. Дождались!

Не на войну итти, сама война пришла.

Когда шоссе выглянуло из лесу, Семен Иванович увидел ровную гладь полей, за которыми там—левей—деревня Злынка, а вправо—губернский город.

Семен перебежал канаву шоссейную и, огибая окопы, повернул межою на Злынку. Ноги сами несли его. Вышел на Злынский проселок. Он шагал двухаршинными шагами, и если бы ему сказали, что там, в Злынке, казаки уже пришли, он побежал бы туда все равно, еще скорее побежал бы обороняться. Нечего ждать. Голыми руками враг взять не должен. Пока не поздно, надо спешить.

Все добро сложить на возы, баб и ребятишек туда же двинуть в город, а мужики должны отпор давать. Это ясно, как день. Ведь армии мало, Семен увидел на всем поле только небольшие кучки солдат, артиллерия видна, а пехоты не видать. Как же так? Семен—стал чувствовать заботу не за себя одного. Но вот и родной проселок. Вон там овсы злынковские. И тут уже—окопы. Чудно было и как во сне, что фронт, страшный вид войны, вот здесь, перенесся на его родное поле.

Не на войну итти, а сама война пришла.

Вот и Злынка.

А вот и Злынка, совсем близко. Она. И крыши видны. Вот и его изба, где конопляники темнеют, и ветла старая над овином, а за ними рожь желтая за край неба уходит.

Семен перекрестился широким крестом, и вдруг слезы брызнули из его глаз.

Почему казаки идут сюда? Зачем это? Кому это нужно? Врагам нужно!

Надо воевать. Не потому, что власть велит, а потому, что враг идет. Враг. Подлый враг, казак придет, а казаков хорошо знает Семен. Вот они близко. У них там генералы. Вот они бросают войну на это мирное поле, они идут и надо портить нивы под окопы.

Враг идет. Он придет отнять это все: поле, землю, деревни, леса.

Если бы шел он с добром, этот самый Деникин, зачем бы здесь ухали пушки. Он идет войной, а не миром.

Вот дымки там видно—это наши деревни горят. Это люди бегут по шоссе, значит—горе их гонит. Война.

Надо дать отпор.

Семен летел по полю, и рожь готова уже под косу и стоит, как царица, высокая, ровная, и дожди не свалили ее. Урожай. Небывалая рожь. Вот он хлеб. Много хлеба. Для всех хватит.

Все устроится, все будет ладно—только к черту отсюда казаков и Деникиных, к черту. Без них. Сам народ-то здесь.

Вот и Злынка. Семен увидел, что на выгоне много народу. Не узнать тихой Злынки. Толпятся на выгоне все, все глядят туда вдаль, все из хат прибежали, спешно грузят возы, вон солдаты винтовки несут, раздают. Бабы колья охапками тащат—укрепляют деревню. Семен не хотел уже помнить о том, что его здесь искали, что он дезертир и изменник. Он увидел знакомые лица своих деревенских, родных и соседей. Он свернул на лужок—на общественный выгон—и, крича и махая руками, бежал туда, к ним. Радость несла его к ним. С ними вместе он будет. Он разделит судьбу всей деревни—что людям, то согласен и он перенесть. Надо дружно и вместе.

Надо бороться за правду, за свое.

Л. Белкина.

Дезертир—враг народа.

Дезертиру пощады нет.

ДЕЗЕРТИРАМ.

Дезертирам нет пощады.
Л. Троцкий.

Как сын народных масс,
Твержу почти два года:
Не место среди нас
Изменникам народа.

Бегущему с войны
„Зеленому“ герою
Сказать мы все должны:
„Проклятье над тобою“.

Ив. Логинов.

МЫ ПРИДЕМ.

Все в походе. Все в походе.
В брюхе—щелк. Свинец в ногах.
Подтянись-ка в третьем взводе,
В ногу, с песней на устах!

Революции солдаты,
Мы идем, идем, идем,
За плечами—мир проклятый,
Впереди—наш светлый дом.

Холод утра. Зной полдневный.
Пыль—зубами разгрызи.
Даль бескрайна.
Взоры гневны.
Дождь—так шлепай по грязи.
Ты—один. Милльоны сзади.
Впереди наш светлый дом.
Нам ли думать о награде?
Мы идем, идем, идем.
О, взгляните на дороги,
Разметалась грудь земли.
Ноги, ноги, ноги, ноги—
Бьют и топчут по пыли.

Даль. Поля. Леса. Овраги.
Рати... Рати... Спуск. Подъем.
...Жадным ртом припал к баклаге...
Мы придем...

А. Юрченко—Курс.

Годы борьбы и славы были вместе с тем годами лишений и нужды. Не хватало всего, от хлеба до патронов. Только благодаря выносливости и самоотверженности революционных бойцов оказалось возможной борьба, только поддержка трудящихся масс обеспечила победу.

НА СИВАШЕ.

(Рассказ участника крымской кампании).

7 Ноября 1920 года, день годовщины октябрьской революции, для нас, сивашцев, особенно памятен, ибо в ночь с 7-го на 8-е ноября мы двинулись через Сиваш в последний, решительный бой с полчищами генерала Врангеля. Бой продолжался трое суток, тяжелый, упорный. Мы понесли огромные потери, но победили.

Наша 45 стр. бригада сосредоточилась в дер. Строгановке, на северном берегу Сиваша, а напротив, по другую сторону Сиваша, виднелись очертания Крымского берега с его солеными озерами. Сиваш высох и по дну моря можно было в эти дни прогуливаться, не боясь промочить ноги.

Решено было форсировать Сиваш и занять Литовский полуостров. Наши полки перешли через Сиваш, прорвали первую линию заграждений и повели бой с белыми.

В разгаре сражения подъезжает ко мне командир одной батареи и взволнованным, дрожащим голосом говорит:

— Тов. комбриг, сзади нас Сиваш заливается водой, море на нас надвигается, мы скоро будем отрезаны от своих.

— Что за вздор несете? — сержусь и негодую, что командир батареи струсил.—Я знаю, что при восточном ветре Сиваш обыкновенно заливается водой и превращается в море, но сегодня мне кажется, что это вздор, нелепость, ибо ветер еле-еле колышет прибрежные камыши. Да и верить не хочется, что сегодня Сиваш может сыграть над нами такую злую шутку.

— Тов. комбриг, вода заливает Сиваш, сзади нас скоро будет море. Что делать?!...—вопит прискакавший командир дивизиона.

Поехал на Сиваш. Действительно, с шумом надвигается вода со скоростью полутора верст в час, и сзади, в нашем тылу, появляется волнующееся море.

Я на момент глубоко задумался, тревога охватывала меня: а что будет, если красноармейцев охватит паника. Она поведет к полной гибели всех...

Но в это время дружно, бодро проходили мимо меня колонны 135 полка, я глядел на красноармейцев, на их лицах я прочел одно: „вперед".

Бой начался успешно для нас, дивизия противника была уже опрокинута и отступала. Все рвались вперед. Части уже уверовали в победу. И мысль о панике меня больше не тревожила.

Три дня мы дрались в узких лощинах между солеными озерами и при атаке укреплений несли огромные потери. На третий день, 10 ноября, атаковали последнюю укрепленную позицию противника.

На нашу долю выпала трудная задача: прорвать фронт противника на перешейке шириною в полверсты, между двумя солеными озерами. На этом перешейке генерал Кутепов собрал офицерские роты Дроздовской дивизии, ибо уже не надеялся на своих солдат. Собрал превосходную артиллерию, которая в буквальном смысле слова перекрестным огнем заливала всю полосу нашего наступления. Ночью 135 полк пытался ручными ножницами прорезать проходы в проволочных заграждениях, но безуспешно, ибо противник пулеметным огнем скосил всех резчиков проволоки. На рассвете стремительным движе-

нием вперед полк опять атаковал противника. Противник развил такой сильный огонь, что казалось, никто из идущих в атаку не уцелеет. Но наше общее движение ни на минуту не прерывалось, передние цепи скашивал огонь противника, за ними шли новые и новые, шли не залегая, не пригибаясь, словно на ученье. Удивительно легко умирали люди в эти великие дни. Дезертиров не было.

Там, в Крыму,—последнее становище белых.

Разбить Врангеля—и гражданской войне конец.

Сивашские укрепления были взяты.

Сквозь преграды, проволочные сети, железо-бетонные укрепления хлынули красные войска в Крым.

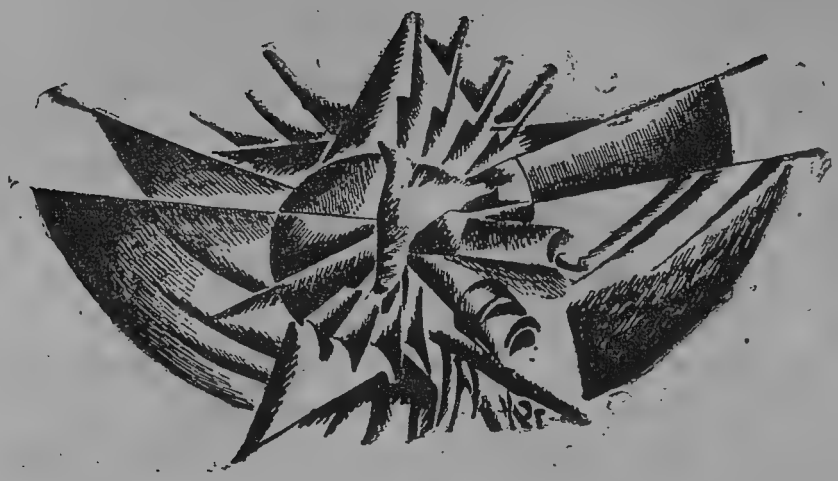
Победа за нами.

Никогда, никогда рабочий класс Республики Советов не забудет бессмертных подвигов героев освобождения Крыма!

ПЕРЕКОП.

За море, за горы, за звезды—спор,
Каждый шаг наш и не наш.
Волкодавы крылатые бросились с гор,
Живыми телами мостят Сиваш.
И мертвые, прежде чем упасть,
Делают шаг вперед.
Не гранате, не пуле сегодня власть,
И не нам отступать черед.

Н. Тихонов.



БОРЬБА ДО КОНЦА.

Никогда не считай врага слабым. Большой враг или малый,—отнесись к нему со всем вниманием, не упускай из виду никакой мелочи и, когда борьба началась, доводи ее до конца.

Если есть частный успех, напрягай силы вдвое; успех будет вдвое, бей втрое,—доводи до конца, до полной победы, до полного сокрушения.

Л. Троцкий.

На Врангеля.

И снова лет, и снова гром,
Не хочет кончить враг добром.
И снова—бой на фланге,
И снова дрогнул Врангель.
Укрылся в Крым, укрылся в крепь[1]),
За нами—даль, за нами—степь,
Перед нами громада,
Но воле нет преграды.
Народ буденовцев послал,
И в камень их нога вросла,
В кремень впились руками,
И вот—сдается камень.
Идут—и конский топот туп,
Идут с уступа на уступ,
И красный пламень примут
Сады и роды Крыма.
Идут, и пламенны шаги,
Все уничтожены враги;
Нам вождь—батрак поденный,
Крестьянский сын—Буденный.

Ник. Асеев.

---

[1]) Крепь—коротко, вместо крепость, укрепленные места.

Поделом вору и мука.

По полям без дорог скачет группа всадников. Впереди на вороном коне бравый командир.

Из кустов навстречу показался человек и вновь скрылся. Два всадника поскакали за ним и вскоре привели запуганного юношу.

Увидя у всех красные звезды на фуражках, юноша радостно крикнул:

— Я спасен. Товарищи. Я бежал из села Никольского... Нас кулаки решили убить, всех сочувствующих большевикам, уже вчера убили двоих.

Расспросив его подробно, командир вполголоса переговорил с красноармейцами и все они достали из карманов белогвардейские погоны и прицепили себе.

— Вы, товарищ Васильев, покараульте паренька, чтобы не сбежал, а мы навестим село.

И резво поскакали всадники, но уже без звезд и с погонами на плечах.

Быстро проехав селом, остановились у поповского дома.

Поп в страхе после вчерашней расправы над большевиками плохо провел ночь и теперь с ужасом выглянул в окно. Лицо его сразу посветлело: свои, в погонах.

Поп выскочил во двор, бросился к всадникам. По дороге он успел распорядиться, чтобы звонили во все колокола.

— Господин полковник, господин полковник!—выл от радости поп.

Но „полковник“, не слезая с коня, строго остановил его.

— Брось, отец, пора забыть про керенщину, какой я тебе „господин“.

— Виноват, ваше высокоблагородие, извините, мы люди малограмотные,—не желали вас обидеть, простите меня, ваше высокоблагородие,—лепетал поп:—на радостях, помрачился мой ум в конец. Слезайте с коня и не откажите разделить с нами нашу скромную трапезу.

„Полковник" с важным видом вошел в поповский дом.

— Ну, батя, рассказывай, как вы ждали нас и чем нам помогали.

И пошла тут речь попа о том, как они в селе вооружали банды, поргили железные дороги, и как, наконец, вчера убили двух красных, сильно боялись за свою участь, боялись мести красных.

— Но теперь бог послал нам счастье и избавленье. Вы наши спасители,—закончил поп свой рассказ.

Тем временем колокольный звон сделал свое дело и почти все село собралось к церкви. Все с любопытством оглядывали солдат. Переодетые красноармейцы разыгрывали из себя белых.

Вдруг толпа смолкла. К толпе подошел „полковник", за ним, приседая, с ужимками, шли поп и староста.

— Ну вот, граждане,—сказал полковник:—плохо вы ждали нас, мало вредили большевикам, придется вам отвечать: каждому—50 шомполов и штраф в два пуда муки.

— Ох, помилуй, барин хороший. Сжалься, не губи, родимый. Ваше благородие. Мы ведь старались, послали даже еще вчера в Ольгино 14 лучших ребят с винтовками, послали бы еще больше, да винтовок нет.

— А что в Ольгином?

— Ваше благородие, это село большое, торговое, там вырезали совет и целую роту красных. Село боевое, молодецкое, у них даже пушка есть. Вот мы и послали туда своих ребят на подмогу.

— Вот как! Желающие воевать с большевиками найдутся еще у вас?

— Я, я, я,—послышались возгласы.

— А батюшка за вас ручается?

Поп выступил и важно отвел человек около двадцати, сказав:—За них ручаюсь. Умрут за веру и Русь Святую, а не выдадут. А вот волостной писарь, моя правая рука. Делец. Преданнейшая душа.

— Ну, будет бобы разводить, запрягайте лошадей и со мною на станцию за оружием,—энергично скомандовал „полковник“,—а если есть пулеметчики, то дам и пулемет.

Через два часа отряд конных резвой рысцой подъезжал к станции.

— Товарищи,—скомандовал на станции начальник,—живо окружить этих бандитов, лошадей и повозки сдать коменданту штаба, а их ко мне на допрос.

Храбрые кулаки были так поражены всем случившимся, что от них нельзя было добиться никаких показаний. Один поп только твердил: „Гибну во имя христово, гибну во имя христово“.

Тихо движутся цепи красноармейцев в ночном сумраке.

Жуткая тишина, ни разговоров, ни смеха. Редко, редко звякнет кто-нибудь оружием.

Вдалеке взвились две красных и одна зеленая ракета.

Мощное „ура“ пронизало ночную тишину.

Вот уже достигли села Ольгина. Захваченное врасплох, село почти не защищалось. В одном лишь конце раздался артиллерийский выстрел, но в тот же момент орудие смолкло.

Вдруг стало светло—это запылала подожженная со всех концов деревня, и при свете пожара обнаружилось, что войска имели дело не только с взбунтовавшимися кулаками, но и с регулярным отрядом белых.

Кулацкое село было жестоко наказано.

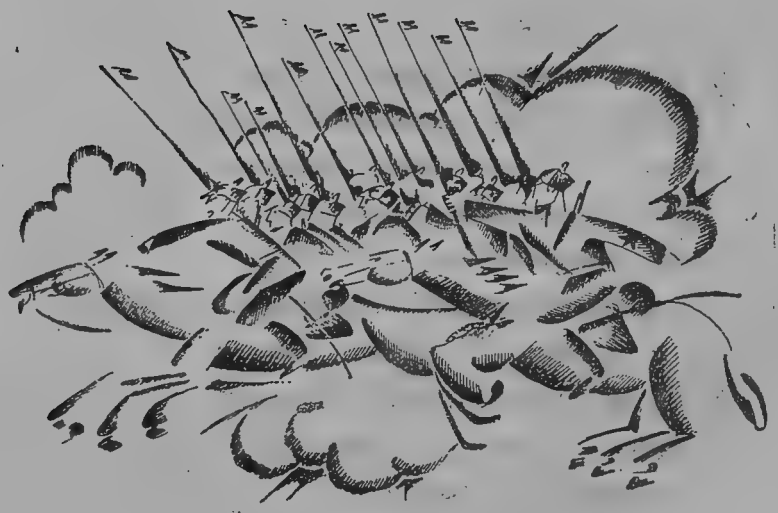
С. Пугачевский

О червонно-казачьем эскадроне.

В поле—вьюги белый флаг,
Рыщет вьюгой злобный враг.
День и ночь и день второй,
День второй безумный бой.
Пан, бригадой подкреплен,
Прет на красный эскадрон.
Снег широк, глубок и густ.
В поле гик и стон, и хруст.
И цветут, как на лугу,
Алы розы на снегу...
День к закату. Скоро ночь.
День второй уходит прочь.
Страшен ночью сабель взмах—
Кровь зализывает тьма.
Тянет вглубь безбрежный снег.
Тонут конь и человек.
Мечет молнии гроза—
Ни в атаку, ни назад.
Вьюга пламенем в лицо,
Ворог пламенным кольцом.
С близкой горки частый крик:
— „Эй, сдавайся большевик".
Вслед за криком—залп и стон,—
Не сдается эскадрон.

Хоть срывает вихрь смертей
Новых всадников с коней.
Под пурговый дикий вой
До рассвета длился бой.
А к утру затихло все.
Смолкло вьюги колесо.
Все погибли на снегу,
Но не сдалися врагу.

Геннадий Корнеев.



Пролетарий, на коня!

КРАСНЫЙ ДЕСАНТ.

Нужно отразить врангелевцев.

Ранней осенью 1920 года на Азовском побережье высадился врангелевский десант и быстро стал продвигаться вглубь Кубанской области.

В эти дни на Кубань приехал т. Троцкий. Против десанта белых был принят целый ряд срочных мер. В числе мер—посылка красного десанта по рекам Кубани и Протоке к неприятелю в тыл.

Нашей задачей было—нанести неприятелю внезапный стремительный удар в тылу, сорвать его наступление, произвести панику, разрушить все планы...

В нашем деле была крайне необходима полная тайна и осторожность, ибо, если бы белые заранее узнали про красный десант, всей операции нашей была бы грош цена: приготовиться к встрече и обезвредить нас—не стоило бы ровным счетом никаких трудов.

Военная тайна была нами соблюдена.

Десант наш бесшумно высадился на берег.

Совещались мы недолго: почти все было решено и придумано еще днем.

Опасное дело.

— Позовите Кондру,—приказал начальник десанта Ковтюх.

Быстрой, твердой поступью подходит Кондра:

— Явился. Что прикажете?

— Слушай, Кондра,—сказал Ковтюх,—ты должен знать, что дело, на которое идем,—опасное дело. По

плавням—белые. Куда ни глянь—в камышах, по луговинам, над лиманами—у них везде стоят, разъезжают дозоры... Знаешь ты эти места?

— Гу, кто же их знает, как не я,—осклабился Кондра.—До самого Ачуева, до моря—тут все болота, все дорожки знакомые... Ходил, знаю...

— Так вот,—молвил Ковтюх,—возьмешь погоны офицерские, кокарды, светлые пуговицы: у меня все заготовлено... Переоденьтесь в белогвардейцев, держись ближе самого берега...

— Понимаю...

— Так запомни: ежели не очистишь берегов от белых—всему десанту назад не возвращаться...

— Так точно... Можно итти?...

Мы разбились на две партии... И видно было, как быстрою рысью поехал Кондра, а за ним человек 25 бойцов.

Отряда красных было не узнать. Форменные белогвардейцы—кокарды, погоны.

— Хлопцы,—внушал Кондра,—не курить, не кашлять громко—будто нас вовсе нет...

Ехали в тишине.

Никто не попадался навстречу.

Встреча с алексеевцами.

Вот навстречу донеслись какие-то странные звуки.

— Приготовиться,—отдана была тихая команда.

Вблизи уже отчетливо виднелись шестеро всадников—они ехали прямо на Кондру.

— Стой,—скомандовал Кондра,—какой части?

— Алексеевцы [1])... А вы какой?

— Комендантская команда от Казановича...

Белые всадники подъехали. Увидели погоны Кондры и почтительно дернулись под козырек.

— Разъезд?—спросил Кондра.

— Так точно, разъезд...

---

[1]) Алексеевцы—по имени вождя белогвардейцев генерала Алексеева.

В это время наши всадники сомкнулись кольцом вокруг неприятельского разъезда...

Еще несколько вопросов—ответов; узнали, что дальше едет новый дозор. Кондра гикнул—и вдруг сверкнули шашки... Через пять минут все было кончено. Алексеевцы были зарублены.

Ехали дальше, и с новым дозором был тот же конец...

Мы остались незамеченными.

Так за ночь изрубил мужественный Кондра шесть неприятельских дозоров и не дал уйти ни одному человеку.

Было совершенно ясно, что мы движемся незамеченные врагом.

Успех был несомненный.

Наша военная хитрость удалась.

Около 7 часов утра, когда части вплотную подошли к станице, оба наших отряда здесь соединились.

Со стороны белых раздался первый орудийный выстрел. Затем открылась оглушительная канонада: орудийные громы слились с пулеметным и ружейным огнем. Неприятель, не понимая, в чем дело, совершенно растерялся и никак не мог организовать защиту. Открытый по нашему десанту беспорядочный огонь не приносил нам почти никакого вреда. Красная пехота напирала и одну за другою занимала улицы станицы. В центре пришлось столкнуться с неприятелем, готовым к обороне.

По улицам и закоулкам сбегались белые солдаты.

Число неприятелей растет у нас на глазах. В сравнении с белыми нас ничтожная горсть.

Еще минута—и мы встретим стену стальных штыков, море огня меткого, уничтожающего...

„Ура"!—проносится по нашим рядам...

Винтовки наперевес, бойцы мчатся на толпу... Там замешательство. Многие кинулись бежать, кто куда.

Недолго продолжалась уличная схватка. Станица была полностью очищена от белых.

Еще ночью, тотчас после боя в станицу вошли наши заставы, но весь десант вошел туда лишь на заре.

Когда рассвело—стали собирать и отправлять на баржи трофеи: бронированный автомобиль, легковые генеральские машины, пулеметы, траншейные орудия, снаряды, винтовки, патроны...

К этому времени со стороны Николаевской вошла в станицу Красная бригада—ей и была передана задача дальнейшего преследования убегающего противника. Десант свою задачу окончил.

Дм. Фурманов.

Ты пришел не считать врага, а бить его.

В бою нет смены, есть только поддержка.

Марш Буденного.

С неба полуденного
Жара—не подступи.
Конница Буденного
Раскинулась в степи.
Не сынки у маменек
В помещичьем дому,
Выросли мы в пламени,
В пороховом дыму.
Пусть паны не хвастают
Посадкой на скаку:
Смелем рысью частою
Их эскадрон в муку.
Будет белым помниться,
Как травы шелестят,
Когда несется конница
Рабочих и крестьян.
Не затеваем бой мы,
Но, помня Перекоп,
Всегда храним обоймы
Для белых черепов.
Пусть уздечки звякают
Памятью о нем,
Мы растопчем всякую
Гадину огнем.

Ник. Асеев.

НЕЖДАННО-НЕГАДАННО.

(Случай из действий бронепоезда т. Архипова).

Медленно движется бронепоезд.

Зорко смотрят кругом наблюдатели.

С напряженным вниманием сидит у заряженных пулеметов и приготовленных на картечь орудий прислуга.

Проезжаем небольшие мостики. У каждого мостика высаживается „гарнизон“ из надежных, закаленных в боях стрелков, для защиты бронепоезда от внезапных нападений.

Движение бронепоезда, выгрузка десанта и все распоряжения производятся крайне осторожно и тихо. Все сосредоточенны. Нет обычных разговоров и шуток.

Пять верст прошел уже бронепоезд. Дорога сворачивает влево. Еще полверсты идем. На паровоз по телефону передано приказание остановиться. Высаживаются разведчики и идут вдоль проселочной дороги.

Начальник бронепоезда тов. Архипов с задумчивым видом, покачивая головой, произносит про себя:

— Не пойму, как это нас пропустили поляки.

Вдруг быстро, бесшумно бегут обратно двое разведчиков и, добегая к нам, запыхавшись, прерывающимся голосом докладывают:

— По дороге в трехстах саженях движется к нам колонна поляков, примерно более батальона, впереди два офицера.

— Разведке сейчас же вернуться на поезд. Все по местам. Навести орудия и пулеметы. Огонь по моему свистку,—тихо и спокойно передает тов. Архипов приказание.

Пронзительная трель свистка, отдаваясь звучным эхом, прорезывает застоявшийся воздух, и, как бы в ответ на

призыв, брызнули свинцовым дождем пулеметы, заахали орудия...

Несколько минут продолжался убийственный огонь без всякого ответа со стороны поляков, но вот у бронепоезда начали рваться снаряды польских батарей.

Где-то в тылу послышалась редкая ружейная стрельба и два—три взрыва. Очевидно, поляки взорвали путь.

Бронепоезд стал отходить, направляя огонь своих орудий против батарей противника и продолжая „строчить" пулеметами...

Случайные снаряды поляков не достигали своей цели.

Взорванный в двух местах поляками путь заставил остановиться. Высадившиеся рабочие под руководством самого тов. Архипова быстро приступили к исправлению, не обращая внимания на рвущуюся около них шрапнель и рой повизгивающих пуль.

Путь исправлен и бронепоезд движется дальше. Дальнейший отход совершается без особых препятствий, за исключением мелкой порчи полотна, которую произвела польская артиллерия.

Через час, уже громко пыхтя, встреченный могучим „ура" красноармейцев—бронепоезд без всяких потерь возвратился из „рейда" на ночной отдых, пройдя за наши позиции...

Через день утром я допрашивал в штабе задержанных крестьян, пришедших из деревень, занятых поляками, и они рассказали о результатах рейда Архиповского бронепоезда.

Целые сутки возили поляки в оставленную на-днях нами ст. Лунинец своих раненых, мобилизовав для этой цели свыше полутораста крестьянских подвод.

БОЙ САМОЛЕТОВ.

На рокочущем Ньюпоре [1]),
Мстящий, злой, — я мчусь к врагу...
В сердце гнев и месть во взоре, —
Здесь щадить я не могу...

Вверх, туда, где с гордым чванством
Враг летает в вышине, —
Пусть предела нет пространствам, —
Тесно нам — врагу и мне...

Нет земли, пропеллер свищет, —
Здесь мороз, а в сердце — зной...
Взор мой жадно ждет и ищет
Злую птицу надо мной.

Свист и грохот... Перебои...
Где-то, в сумраке небес,
В смертном бое бьются двое...
Взрыв... Победа... Враг исчез...

Михаил Гальперин.

---

[1]) Ньюпор—система аэроплана.

ТРУС.

Опять Иванов убежал. Опять виновато Иванов хлопал глазами, краснел и потел, а комиссар батареи увещевал его:

— Какой же ты коммунист? Партийность только мараешь. Коммунист. Да разве... Вон, чтоб сейчас на линию к наблюдателю. Сознания не имеешь, совладать с собой не можешь.

Опустил голову Иванов и ушел. Все знали. У дверей избы в сенях услышал слово, только одно слово:

— Трус!

Кто это сказал? Эх, не все ли равно — раз правда. Трус и есть трус.

Иванов шел к двуколке, что стояла за гумнами, а губы шептали сами: „Сволочь ты, а не коммунист. Напялил еще красноармейскую звезду, а толку никакого".

Слабые ружейные, изредка пулеметные выстрелы то и дело тонули в орудийном гуле, а он точно не слышит.

— Ну, айда, что нюни то распустил? — подумал про себя Иванов.

А на другой день во время боя убежал опять.

Вечером было собрание ком'ячейки.

Второй вопрос на собрании: поведение товарища Иванова.

— Выходи, Иванов, отчитывайся. Говори, как есть, чтобы без обману.

Встал, тяжело встал. Уставился на председателя и ни слова. Все ждут: вот скажет что-нибудь сам, раскается, а он как воды в рот набрал. А когда больше молчать было неловко, заговорил глухо:

— Должно, товарищи, карахтер такой... нервный... Совладать трудно, ежели... не воевал я...

— Нет, это, товарищ Иванов, не все. Оправдания твоему некоммунистическому поведению никакого.

Началось.

— Таких не надо нам. Только поклеп на партию один. Предлагаю: долой из партии и в Ревтрибунал,—говорил один.

А Иванов слушает. Нож острый—слова ему эти. Плакать только стыдно. Не стерпел Иванов, да как закричит благим матом:

— Ей-ей, товарищи, исправлюсь!

И ушел.

Порешили погодить.

Паны будто скрылись. И не то скрылись, а затишье по всему участку. Может, отступать собираются. А кто их знает!

Иванов шел на смену к наблюдателю. Шли вдвоем. За плечами винтовки, в карманах и на поясе патроны.

Итти версты три—четыре, сперва дорогой полевой, а потом мимо оврага, вправо, напрямик. Наблюдатель у кустов, а там окопы. Иванову не впервой. Вторые недели позиции не меняются. По округе далеко фронт знает. Вон болото, тут же никаких окопов. Присели закурить. Товарищ чиркнул спичку, задымил, подает Иванову. А Иванов,—что с ним? Глядит на болото, и лицо вытягивается, как платок белый становится. Рванулся-было бежать, да вдруг и говорит:

— Патроны... беги... скорей... Паны...

Побежал товарищ, а Иванов один остался. До болота рукой подать: шагов пятьсот не будет, а по краю по кочкам „они", поляки—серые, пуговицы ясно различишь, друг за другом гуськом.

Пригнулся Иванов, ближе к болоту подполз, опор ружью выбрал и в переднего не торопясь—рраз! Брыкнулся передний, а Иванов в другого—мимо, еще—готово!

— И-и,—пропела пуля над самой головой Иванова.

— Заметили, сволочи. Человек десять бегут на него, один шапкой машет.

— Сдавайся!—кричат по-русски.

Сильнее сжал винтовку—прицелился: раз! кувырк, еще. Близко. Бегут на Иванова. Привстал. У панов ружья на перевес, один целится... Кольнуло в плечо, в ногу и подкосило.

„Умираю, что же“,—подумал Иванов и повалился, а в глазах алые пятна и лошади. Откуда лошади?

С гиком зазвякали сабли, затикал пулемет. „Неужели наши? А хорошо“... И заснул.

Через полтора месяца Иванов прибыл в свою батарею. Выздоровел, а в отпуск отказался. В батарее прочитали приказ:

„Красноармейца Иванова за дело у деревни Чурлянки наградить орденом Красного Знамени“.

Командир и комиссар поздравляли и по-товарищески жали руку.

В. Наседкин.

У страха глаза велики.

Не бойся смерти—тогда наверняка победишь.

Путеводная звезда.

Глухая ночь—не навсегда,
Не вечны мрак и жуть:
Уж предрассветная звезда
Нам освещает путь.

Фабричный молот, сельский плуг
В ее лучах горят.
Рабочий, пахарь—друг и брат.
Мы стали в тесный ряд.

Навеки спаяны одной
Жестокою судьбой,
Мы некрушимою стеной
Идем на смертный бой.

Идем на смертный бой с врагом,
В бой. Отступленья нет.
Пусть мрак еще царит кругом,
Но близится рассвет.

Глухая ночь—не навсегда,
Исчезнут мрак и жуть.
Нам наша Красная Звезда
Указывает путь.

Демьян Бедный.

Как я от смерти спасся.

(По рассказу Яблочкова „Инвалид“).

То был жаркий бой. До сих пор все удивительно ясно помню. Перед нами деревня, за деревней большущее болото, а за болотом поляки засели. Нам их вышибать надо. Решили взять в обход поляков. Нашей роте задача—ударить во фронт и ложной атакой отвлечь внимание неприятеля от частей, отправляющихся в обход.

За деревней место открытое, ровное. Ну, понимаете, прямо под обстрел иди. Однако, приказ приказом. Пошли к деревне. Польская артиллерия громыхает по деревне. Один снаряд слева, другой справа, третий в середину. Занялась деревня, горит как костер. Наша рота сквозь огонь и дым движется вперед. А вокруг точно пекло. Огненный ветер обжигает лицо, руки. Вышли за деревню. А тут точно ураган—пулеметы, ружейный огонь, шрапнель, снаряды—ливмя льет. Такая жуть берет.

Развернулись цепью и в атаку. Надо окапываться, иначе всех перебьет. Уж как не любили ребята окопы рыть, а тут уж не поленишься. Легли на животы, роют окопчики—от встречного огня укрыться. Комья земли во все стороны летят, все как остервенелые лопатами работают.

Укрылся и я за деревцо. Батюшки, смерть пришла. Лопаты при мне не было, нечем окопаться. Кровь захолонула, лежу за деревцом ни жив, ни мертв. По веткам хлещет, деревцо как живое трясется, точно само на-смерть перепугано. Рад бы в землю провалиться. Припал к земле, царапаюсь. Матушка-земля, не выдай! Последние минуты пришли. И что же вы думаете, стал я землю пальцами рыть. Ничего не помнил, только вой в ушах. Как ошалелый, рою, царапаю, рву землю пальцами. Как бы поглубже

в землю уйти. Пальцы в крови, ногти сорвал. Вырыл-таки ямку. Словно гора с плеч свалилась. Залег в ямке. Визжат, воют пули.

Пальба прекратилась. Деревня догорела. Полк наш зашел полякам в тыл. Мы тогда на соединение с полком двинули. Прогнали панов.

После боя такая радость меня охватила, прямо так бы на землю упал и целовал ее, родимую. Так меня мой окопчик и спас.

Помните, товарищи, окапываться—дело серьезное. Как станет жарко,—пальцами землю рыть станешь, не то что лопатой.

Поляки в Киеве.

Въезжали холеные ляхи [1])
На английских конях,
Блестели на солнце бляхи,
А в седлах сидел Страх.

На пушках—французские клейма,
На лбах—рабья печать.
В одежде из Вены и с Рейна—
Панская рать.

За спиною английский винчестер, [2])
В кобурах—американский кольт, [2])
Но с яростным вскриком мести
Изжевала их красная голь.

И панский орел опаленный
Падал, падал стремглав,
И гнал его с криком Буденный
В просторах волынских трав.

С. Родов.

---

[1]) Ляхи—так когда-то называли поляков.

[2]) Винчестер—система винтовки; Кольт—система револьвера.

ПАН АТАМАН.

Начало апреля 1919 года. Огромный поезд атамана Григорьева[1]), только-что взявший Одессу у добровольцев, французов, греков, румын, стоит, тихо попыхивая паровозами, готовый ежеминутно сорваться с места и умчать все эти шесть десятков вагонов, переполненных награбленным добром. Кругом пьяное, буйное веселье.

Толпы „хлопцев-партизан“, одетых в разные мундиры, ползут „до дому“ мимо штабных вагонов с обозами награбленного добра, уставив на каждом возу по пулемету и пропадая в бескрайных степях Херсонщины.

Быстро упала южная ночь. В салон-вагоне штаба дым коромыслом. Окруженный толпой соратников и прихлебателей, пьяный Григорьев пьет стакан за стаканом шампанское, закусывая огурцом и селедкой. Ежеминутно хлопают пробки. Пьяный хор запевает петлюровский гимн:

„Ще не вмерла Украина,
Наша ридна маты...“

Входит с газетой комиссар григорьевской дивизии.

— Погодите, прочтем новое воззвание Наркомвоена Украины Подвойского о взятии Одессы.

— Ге,—самодовольно кричит Григорьев,—а пысано тамо, як мыни, побидытелю, руки целовала целая Одесса, чи нет? Читай.

---

[1]) Григорьев в 1919 году служил в Красной армии в качестве командира дивизии, а потом подло изменил Советской власти, оказавшись злостным бандитом.

Среди всеобщего молчания комиссар читает.

Наклонив коренастый корпус вперед и точно собираясь бодать своей бычьей головой, Григорьев наливается кровью, багровеет: воззвание ни единым словом не упоминает о Григорьеве, уже с первых шагов проявившем себя против Советов.

— Убью...—срывается с места осатаневший пан атаман.—Я убью Подвойского, как только он мне попадется в руки...

Дзинь!—разлетается вдребезги окно от брошенной в ярости Григорьевым шампанской бутылки. Несколько рук хватают обезумевшего атамана. Он рвется, кидается и хрипло кричит, брызгая пенистой слюной:

— Я... я взял Одессу... не Красная армия, а я... мои верблюжцы [1]) и я...

Дзинь, дзинь!—разлетаются еще окна.

В то же мгновение во всем поезде тухнет внезапно электричество, и в салон-вагоне начинается кровавый кавардак. Гремят выстрелы, перемешанные с матерщиной, бухают тумаки и затрещины, звенит разбиваемая посуда, трещат столы и стулья.

Через две недели поезд Григорьева стоит на станции Александрия-Херсонская, родине Григорьева. Все тот же пьяный гам и дебош. Огромный эшелон награбленного понемногу разгружается. Около вагонов с вином, словно очумевшие собаки, бродят григорьевцы, жадно вдыхая винный запах, взламывая стены, потолки, полы и разворовывая ящики с вином. Залпами отгоняют их, но они снова собираются и, как тени проклятия, лезут, лезут со всех сторон днем и ночью.

Сам Григорьев, лихорадочно готовящийся к восстанию против Советской власти, „хочет прослыть благодетелем“.

С утра открывает он вагоны и выбрасывает „на шарап“ мануфактуру своим бандитам. Он ломает ящики, вытаскивает куски ткани, раздирает ее и кричит:

---

[1]) „Верблюжцы“—это партизаны села Верблюжки близ Александрии, составлявшие ядро григорьевцев.

— Ну, кто там еще?.. Артиллеристы подходили. Вот вам кисея. А тут что? А, дамские чулки... Пулеметная команда, лови — это вам.

У вагона всеобщая свалка.

— Пан атаман,—докладывает дежурный по штабу,— на станцию прибыл проездом 15-й советский полк.

— А-а,—мигом смекает что-то Григорьев.—Вызовите его из эшелона: я хочу ему речь держать.

Через несколько минут, взгромоздившись на подножку своего вагона, Григорьев начинает:

— Братья, товарищи! Мы вместе с вами били общего врага, проливая кровь на одном и том же поле сражения...

И он долго и осторожно говорит о том, что красноармейцы должны всегда считать его своим боевым товарищем и не верить никому, кто бы ни вздумал им сказать, что он, Григорьев,—враг свободы и идет против трудового народа.

Понуро слушает его изможденная красноармейская масса. С удивлением поглядывают они на царящий кругом разгул григорьевской банды и, переминаясь ногами в лаптях, молчаливо жмутся в тесные ряды.

— И вот, товарищи, в воспоминание наших общих боевых подвигов, я хочу поделиться с вами трофеями, мануфактурой...

— Позвольте спросить,—раздается вдруг из толпы голос молодого красноармейца.—Нельзя ли узнать, кто вы такой будете?

Споткнувшись на полуслове, Григорьев умолкает и меняется в лице. Этот вопрос ставит чванного атамана в смешное положение. Минуту царит молчаливое замешательство.

— Я—Григорьев... атаман Григорьев,—объясняет он.

— А-а-а...—равнодушно тянет красноармеец.—А мы думали: главнокомандующий какой.

Замешательство растет. Желая скорей с ним покончить, атаман зычно заканчивает:

— Я вам хочу раздать мануфактуры немного. Хотите?

Красноармейцы молчат. Полковой командир, простой пожилой человек, из унтер-офицеров, отвечает:

— Покорнейше благодарим: мы еще потерпим. Оно хотя и обносились, да теперь тепло заступает. Обойдемся.

Молчание. Тесной гурьбой уходят к своему эшелону оборванные, запыленные красноармейцы.

Через две недели быстрым ударом банда новоявленного гетмана была прикончена.

А. Сергеев.

БУДЕННЫЙ.

Девятнадцатый год встал суров и хмур.
Был Антанты наемник юрок.
Было много в России кулацких шкур,
Так еще появился Шкуро.
Взял Деникин Курск, угрожал Орлом,
Подвигался Мамонтов к Туле,
Изо всех щелей, изо всех берлог
Встали белые на ходули.
В этот грозный час, по сто верст в день мчась,
Хоть никто не ждал, смотрят—где взялся,
Вдруг во фланг врагу, в кровяную
Наш Буденный корпусом врезался.
От внезапья смолк офицерский полк,
Распласталась белых дивизия.
А Буденный в лет приказанье шлет:
Эй, друзья, коней не расседлывать.
Наша жизнь быстра, наша сталь остра,
Налетай же на Шкуро подлого.
Вьется пыль столбом, бейтесь банды лбом—
Наш Буденный—видите—сам, он там.
Шкуро мчится прочь, уползает в ночь
На карачках разбитый Мамонтов,
Дрогнул вражий фронт—им везде урон,
Их везде выметают начисто.
„Им помощник черт“,—убегая в порт,
На Буденного белый плачется.
Белых бив раз сто, взяли вновь Ростов,
И прошли Кубанскою областью,

И видал Кавказ, как была ловка,
Как красна была армия доблестью...
Смелой грудью стой за Советский строй,
На покой свободы не выменяв.
Красный клич знамен. Командарм Семен[1]),
Заслужил ты красного имени.

Ник. Асеев.

Тов. Буденный. Тов. Калинин.

[1]) Командарм Семен—командующий армией Семен Буденный.

Т И Ф.

Рассказ.

Кажется, заболел.

Наумчик, комиссар N-ского полка, нездоров шестой или седьмой день. Недомоганье затеплилось внутри вместе с приездом в Оршу. Уже на третий день после приезда он заметил, что его лицо горит особенным, розовым румянцем, а от щеки, если приложить руку, несет жаром.

— Значит, простудился... Ах, чорт возьми, не во-время! Когда же меня угораздило? С приемкой полка такая масса работы... Даже печати сдать некому .. помощника нет.., комполк непартийный...

Проскочили три дня. Несмотря на болезнь, он продолжал работать, напряженно, с надрывом. Лихорадка не исчезала. Наумчик злился на недомогание.

В госпиталь.

На следующий день Наумчик с утра направился в госпиталь. Госпиталь находился за городом, в верстах двух с половиной, у самого вокзала. От города вокзал отделяли поля, прорезанные шоссейной дорогой.

Военком вошел к врачу. Доктор внимательно всматривается в его лицо.

— Вот термометр, измерьте температуру и покажите руку.

Доктор посмотрел и изумленно вскрикнул:

— Голубчик, да у вас сорок и два!.. Несомненный тиф. Да как вы еще притащились сюда?..

Опасно болен.

Протекло четверо суток.

Наумчик открыл глаза. В душе было такое чувство, будто внезапно выпрыгнул из глубокой черной ямы на яркую, залитую солнцем поляну. По всему телу ручьями разливалась кипящая энергия и играющая радость.

— Кризис был... благополучно прошел.

Над ним стояли доктор, сестра и няня. Все трое с непередаваемой улыбкой смотрели на него.

— Выкарабкались мы,—сказал доктор.

— Знаю,—слабо, но внятно отвечал Наумчик,—а сегодня не праздник.

На приятном, особенно, по-докторскому, свежем и чистом лице вокруг глаз залучились морщинки.

— Нет, не праздник, но сегодня ваше воскресенье.

Поляки наступают.

На восьмой день Наумчик самостоятельно сел на кровати. Доктор пришел в ужас и сказал, что у него не выдержит сердце, а Наумчик засмеялся.

На одиннадцатый день, когда он сделал первую попытку встать, однако не удавшуюся, вошла сестра и сказала:

— Товарищ Наумчик, приготовьтесь, завтра эвакуация... наступают поляки...

„Наступают поляки", это сразу вырвало его из этого покоя. Сразу мысль вскочила до обычного уровня напряженности. Кровь быстрее понеслась по жилам. Стало стыдно за свое бессилие, за то, что лежит здесь оторванный от жизни и борьбы. Захотелось быть с людьми, быть на месте, в полку.

Дайте газет.

Наумчик резко позвонил. Вошла няня.

— Чего?

— Принесите газеты за неделю.

— Газет нельзя без разрешения сестры.

— Так позовите ее... только скорее...

У сестры Наумчик долго просил газет. Оказалось, что без разрешения доктора дать нельзя. Сестра ушла. Наумчик проводил ее грустными глазами.

Но в нем уже пробудилась его энергия и воля. Наумчик сел, спустил ноги и попробовал встать. В глазах заметались черные пятна, сердце забилось сильно, до боли, но он встал, уцепившись судорожно за железные прутья кровати.

Закрыв глаза, он думал, что пройдет. Но голова закружилась еще сильнее...

— Отдохну немного... пройдет...

Действительно, через полминуты кружение головы прекратилось, но появилась огромная слабость, ноги задрожали, а к горлу подступила тошнота.

Напрягая волю, он протянул руку, пытаясь дотянуться до дверной ручки. Ноги задрожали еще сильнее. Опять появилось кружение головы. Прокусив губы, он все же дотянулся до ручки одной рукой.

С дрожью от напряжения во всем теле и другой рукой отделился от спинки кровати. И сразу потолок качнулся, Наумчик стал падать боком. Заскрипев зубами, удержался на ногах.

На крашеный пол с прокушенных губ упала черная капля крови. Упала и расползлась. Наумчик другой рукой ухватился за косяк двери и всем туловищем сделал шаг.

Неверными усилиями он нажимал ручку вниз, не видя самой ручки, а ручка не опускалась. Наконец, дверь без шума открылась.

Наумчик обратился к одному из больных, курившему в корридоре:

— Товарищ... газет мне... пожалуйста...

Через полминуты больной принес четыре газеты.

— Вот все свободные в нашей палате.

— Бла...годарю... по...могите до кровати... и не закрывайте дверь... уйдете когда...

Поглядывая сбоку на пепельно-серое лицо трясущегося Наумчика, больной осторожно помог ему добраться до кровати.

Лишь только лег, как сердце забилось со страшной силой. Боль в сердце заставила закрыть глаза. Голова закружилась до тошноты.

Наумчик не мог читать с таким трудом добытые газеты. Тщательно спрятал их под одеяло и затих, стараясь перебороть боль в сердце.

Выздоровление.

Через десять дней после прибытия он мог ходить, опираясь на палку. Еще через две недельки врач на вечернем обходе сказал:

— Ну-с, через две недельки на комиссию...

Медленно тянулись последние две недели. С каждым днем Наумчик чувствовал в себе накопление жизненной энергии и бодрости. Неудержимо порывало скорей покинуть стены госпиталя и броситься в привычный мир борьбы и кипучей жизни.

Дни тянулись медленно. Прошли две недели. Комиссия разрешила Наумчику покинуть госпиталь.

Была половина октября. Глубокий снег выпал. Наумчик шел по дорожке и думал:

— Я много выиграл в борьбе с жизнью. Теперь хватит сил для борьбы.

Ноги еще дрожали в коленях, но на душе было радостно и бодро. Уверенным шагом шел Наумчик к станции.

— За работу, на борьбу. Да здравствует жизнь!.. Да здравствует борьба!

Сергей Семенов.

Герой-командир.

(Тов. Котовский).

В Красной армии есть вожди и герои, которых знают все трудящиеся Советских Республик. Но в ней же есть и такие герои, слава и имя которых известно в буржуазной Европе.

К таким героям принадлежит тов. Котовский.

О тов. Котовском складываются песни, сказки. О нем, как о необыкновенном командире и безумно храбром человеке, пишут даже наши враги.

Кто же он такой?

Котовский, Григорий Иванович родился в Бессарабии. Его отец был инженером на одном из заводов Бессарабской губернии. С детства видел он, как тяжко жить рабочему люду. Он видел, как угнетали рабочих на заводе. В 1905 году, после разгрома первой рабочей революции, Котовский решил на свой страх и риск повести борьбу с капиталистами, помещиками и царским правительством. Он собрал вооруженный отряд из 10 преданных товарищей—таких же смелых, как и он сам. Вместе с ними он стал мстить за рабство и нищету рабочей и крестьянской бедноты. Он совершал нападения на именья помещиков, на заводы и фабрики капиталистов, отбирал у них имущество и деньги и распределял среди городской и сельской бедноты. Товарищ Котовский тогда еще не знал, что путем нападений на отдельных богачей нельзя добиться освобождения трудящихся. Он мстил одиночкам, но царское правительство и весь строй рабства и угнетения оставался непоколебимым. Товарищ Котовский был тогда далек от рабочей партии, от тех, кто вел организованную борьбу со всеми капиталистами.

Котовский был страшилищем для Бессарабского дворянства и полиции.

В конце 1908 года он был арестован и приговорен царским судом к 12 годам каторжной тюрьмы.

Отбывая свое наказание, он прошел Николаевскую, Орловскую и Смоленскую тюрьмы и оказался, наконец, в далекой холодной Сибири—на Нерчинской каторге.

С каторги тов. Котовский бежал в 1914 году и весь этот год прожил в Поволжье.

В ноябре 1914 года вернулся в Бессарабию и в продолжение почти всего 1915 года служил простым рабочим на одном из кирпичных заводов. Зимой 1915 года, когда Котовский был уже помощником машиниста в одном из помещичьих имений, бессарабской полицией были получены известия о его бегстве из Нерчинской каторги. На поиски его была брошена полиция и жандармерия всей Бессарабской губернии.

Однажды полицейские напали на его следы. Произошло это таким образом. Встретился раз Котовский с крестьянином, который гнал в город на продажу пару своих последних волов. Узнав, что крестьянин вынужден продать волов из-за нужды, Котовский дал ему 200 рублей и посоветовал ему вернуться домой. Крестьянин на радостях выпил и рассказал в своем селе о своей встрече с Котовским. Крестьянина тотчас же арестовали, привезли в город, показали фотографическую карточку Котовского, и Котовский был таким образом обнаружен, но арестовать его полиции не удалось.

После нескольких вооруженных нападений на помещичьи именья, Котовский скрылся, поступил на службу в одно из имений, но скоро был схвачен и отправлен в Кишиневскую тюрьму.

Котовский был приговорен к смертной казни. Казнь должна была произойти в Одесской тюрьме. Но февральская революция предупредила кровавую расправу царских палачей: восставшими солдатами и рабочими Котовский был освобожден. После своего освобождения Котовский отправился на фронт.

За время Керенщины тов. Котовский вступил в ряды **большевиков**.

После захвата Бессарабии румынскими войсками Котовский боролся с ними с великой энергией и смелостью.

Всю гражданскую войну тов. Котовский провел в революционной борьбе рабочего класса и крестьянства. За это время он прошел должности, начиная с начальника партизанского красногвардейского отряда и командира эскадрона, до командира кавалерийского корпуса.

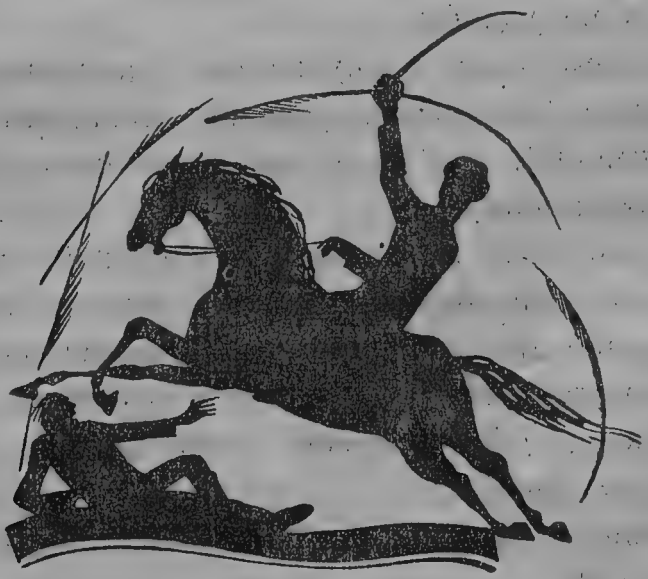
За это время тов. Котовский совершил много серьезных и славных боевых операций. Его части били и поляков, и румын, и петлюровские банды, и шайки Антонова и Махно. Во всех боях тов. Котовский всегда участвовал сам и во время атаки шел впереди своих бойцов.

За свои боевые подвиги тов. Котовский много раз был награжден Советской властью. Он получил два ордена Красного Знамени, золотые часы, серебряное седло, золотое оружие, почетное огнестрельное оружие.

И друзья и враги признают в Котовском могучую волю, энергию, смелость, отвагу и простоту.

Товарищ Котовский выковал из своих бойцов силу, крепко спаянную, дисциплинированную и самоотверженную, которая на своих стальных клинках несла смерть и поражение врагам Советской власти.

За это его любят рабочие и крестьяне Советской России, и ненавидят и боятся капиталисты и помещики европейских стран.



У гроба красного командира.

Товарищи! Над гробом командира
Вы просите вам слово произнесть.
Хорошее есть слово—месть,
Оно горит в груди рабочих мира.
Но мне-ли, вашему-ли политруку
Крепить словами мести вашу руку?
Она горит на этих, вот, штыках.
Наш ротный мертв...
Но нет. С лица его не стерт
Тот облик кованый и твердый,
Которым были мы так горды...
Чем он был?
Про боевой не расскажу вам пыл:
Похвал наш ротный не любил.
Наш красный ротный...
В строю—заботливый, в бою он—беззаботный...
Да чем он был хорош?
Да тем, что был он—прост.
Вы помните, как стоя во весь рост,
Перед вражьей пулеметной стукотней,
Он нам приказ дал лечь,
А сам насмешливым движеньем плечь
И крепкой руготней
Нас ободрял,
Из губ не выронил цыгарку...
Да... было жарко...
И думал каждый: что-ж,
И я могу быть на него похож...

Вот чем он был хорош.
И если б каждому иметь хоть двадцать кож,
То вылез бы из всех из двадцати,
Чтобы до ротного в повадках дорасти.
В грязи, в опасном месте,
Спит с нами вместе,
Жует, голодный, хлеба корку
И с шуткой скручивает на десерт махорку.
Про него-ль слова такие: храбро, доблестно иль смело?
Он честно делал свое дело.
Короче—
Он был рабочий.
Он был таков, что если-б мог сейчас он встать,
Он принялся бы нас ругать.
Одним рабочим, дескать, меньше стало...
А вас осталось мало?
На речи эти
Что ж мы ответим...
— Товарищ ротный, правда ваша:
Патроны в наших патронташах
Ответят более достойно.
Так пусть же речью стройной
Грянет ваш тройной салют
И скажет он: меня оставьте тут,
А вас там ждут.
Вперед. Вас ждут.

А. Юрченко—Курс.

Порох держать сухим.

Л. Троцкий.

Красное знамя.

Красное знамя, заветное знамя,
Символ свободы святой,
Все ты омочено кровью народа,
Потом, горячей слезой.

Ткали тебя исхудалые пальцы,
Шила в мозолях рука,
Древко твое выростало в неволе,
В жалком лесу бедняка.

Гвозди, что в тощее древко впивались,
Вбиты рукой кузнеца,
Кто поднимал тебя гордо, высоко,
Тех трепетали сердца.

Время умчалось, пора миновала,
Рухнул палач вековой,
Красное знамя, как символ свободы,
Вьется над нашей страной.

Ф. Шкулев.

СОЛДАТЧИНА.

Нынче вам служба не бремя,
Кротко начальство теперь...
Ну, а как в наше-то время
Что ни начальник, то зверь.
Душу вколачивать в пятки
Правилом было тогда.
Как ни трудись, недостатки
Сыщет начальник всегда.
„Есть в маршировке старанье,
Стойка исправна совсем,
Только заметно дыханье...
Слышишь ли, дышат зачем“?
А недоволен парадом, —
Ругань польется рекой,
Зубы посыплются градом,
Порет, гоняет сквозь строй.

Н. Некрасов.

Красная винтовка.

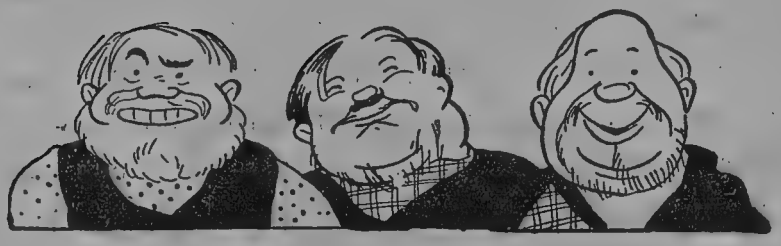
(Песня).

Много вынес невзгод
Наш несчастный народ,
Гнул веками пред барами спину,
Злые муки терпел
И в отчаяньи пел
Заунывную песнь про дубину:
„Эй, дубинушка, ухнем,
Эй, зеленая, сама пойдет,
Сама пойдет, сама пойдет,
Подернем, подернем,
Да ухнем!
Но дождались мы дней,
Стал народ поумней
И, простившися с рабской сноровкой,
На проклятых господ,
Об'явивши поход,
Не с дубиной идет, а с винтовкой.
Эй, винтовочка, ухнем,
Эй, заветная, сама пальнет,
Сама пальнет, сама пальнет,
Подернем, подернем,
Да ухнем!
Мироедская рать
Хочет нас покарать,
Руки-ноги связать нам веревкой,
Но то в холод, то в жар
Раз'ярившихся бар
Перед красной кидает винтовкой.

Эй, винтовочка, ухнем,
Эй, заветная, сама пальнет,
Сама пальнет, сама пальнет,
Подернем, подернем,
Да ухнем!
В деревнях кулаки
Собирали полки
Для поддержки помещичьей своры.
Бедняки кулакам
Наложив по бокам,
Бар последней лишили опоры.
Эй, винтовочка, ухнем,
Эй, заветная, сама пальнет,
Сама пальнет, сама пальнет,
Подернем, подернем,
Да ухнем!
Стали баре скулить,
Бар заморских молить:
—„Ой, верните нам землю и банки!“
Англичанин, француз,
Заключивши союз,
Присылают им войско и танки.
Эй, винтовочка, ухнем,
Эй, заветная, сама пальнет,
Сама пальнет, сама пальнет,
Подернем, подернем,
Да ухнем!
Англичанин-хитрец,
Но народ наш мудрец,
И плюет он на вражьи уловки.
Танки вязнут в снегу,—
Мы ж лихому врагу
Пулю в лоб шлем из меткой винтовки.
Эй, винтовочка, ухнем,
Эй, заветная, сама пальнет,
Сама пальнет, сама пальнет,
Подернем, подернем
Да ухнем!

Для банкирской мошны
Наши ружья страшны,
Но страшней наша вольная-воля,
Мы за волю свою
Станем грудью в бою:
Смерть милей нам, чем рабская доля.
Эй, винтовочка, ухнем,
Эй, заветная, сама пальнет,
Сама пальнет, сама пальнет,
Подернем, подернем,
Да ухнем!
Мы пощады не ждем:
Иль в бою все падем,
Иль врагов уничтожим всех с корнем,
Ради светлых годин,
Братья все, как один,
Общей силою ухнем—подернем.
Эй, винтовочка, ухнем,
Эй, заветная, сама пальнет,
Сама пальнет, сама пальнет,
Подернем, подернем,
Да ухнем!

Демьян Бедный.



Стреляй редко, да метко, штыком коли крепко!

Винтовка любит ласку: чистку и смазку.

НА ПОСТУ.

Посвящается красноармейцам, погибшим на посту во время взрыва в Коломне).

I.

Николай Петров на посту у порохового склада.

Пройдет шаг — два, остановится. В глазах зоркость. Спокойная выправка.

Тихо... Надвигаются сумерки.

Небо чистое, ясное. Одна за другой зажигаются звезды. Серебром рассыпается Млечный путь. На севере Медведица широко очертила ковш, черпает темную синеву, молча играя алмазами.

Чудится Петрову: если пойти по Млечному пути, к левому углу ковша, то придешь в родную Ветлянку.

Шаг-два. Вот она—Ветлянка. Жмутся избы друг к другу. Летом тонут в зное, в пургу коченеют. По дорогам сиротливо бегут лохматые вешки. Далеко-далеко ведут...

Шаг-два-три...

Сейчас дома идет молотьба. Цокают цепы. Зерно блестит на солнце, переливается, глаза радует. Ветерок подхватывает легкую мякину, траву пылит.

А этого могло не быть... Шаг-два... Могло не быть молотьбы. Весной враги подходили близко к его родимой деревне, хотели истоптать зеленые золотеющие стебли, чтобы летом потухли глаза мужицкие, чтобы наступил голод. Но подоспел отряд красноармейцев с пушками и пулеметами.

Враг был прогнан свинцом и сталью, тем, что караулит Петров.

Посевы вызрели, а с ними радость мужицкая покатилась полями равнин до городских застав и окраин.

Шаг-два-три. Сталь и свинец снарядов, сахарными головами сложены за досчатыми стенами. Снаряды караулит Петров и товарищи, тенями шагающие поодаль.

Шаг-два. Еще гуще тишина.

Восток белеет. Скоро смена—тогда выспится, подумает о Ветлянке...

Восток белеет-белеет.

В ближайшем болоте концерт лягушек:

— Ква-а-а-ккк... Ккк-ква-а-а-ккк...

Вдруг... Вздрагивает... Свистки...

Зарево... Не может быть, чтобы солнце поспешило раньше срока выкрасить землю, бараки, забор и черные тени товарищей.

Первая мысль:

— Пожар...

Вторая, жгучая:

— Как это случилось?

Свистки... Выстрел...

Голоса... крики...

Дрогнула тишина. Взрыв.

II.

Желтые, красные и накаленные добела языки дразнили небо. Жутко лизали дощатые крыши и стены.

Черный окрашенный дым крутился. Вис над пляшущим красным, жутко-красивым, взбешенным радостью. Языки лизали с конца бараков, изгибались, лизали друг друга, сливались в шипящие волны. Ползли, залезали дальше от конца, ближе к застывшему Петрову. Ближе к ящикам со снарядами.

Все шире перепутанный лес языков. Гуще, яростней. Черные, окрашенные клубы дыма.

Страх сотней глоток орет с разных концов, лезет в уши Петрова:

— Бежим... Бежим...

Кто-то кричит исступленно:

— Сейчас... Сейчас... Спасайся...

— Спа-са-а-а-а-а-йся-я!

Грохот... Петров колыхнулся... Темно... Ни земли, ни неба... Пустота. Опять: грохот... Темно...

— Трра-а-а-ах...

Мелькали гимнастерки... бежали... ползли...

Петров крепко сжимает винтовку, враждебен огню, дыму, грохоту. Хочется броситься в пламя. Сожрать его. Закрыть, потушить телом.

Только одно мгновение памяти: видит—товарищей нет.

— Сбежали... Трусы...

Кто-то шепчет:

— Беги и ты, спасайся...

— Нет...

Голос, где-то упавший глубоко:

— Ты на посту... Лучше умри...

Ветлянка... Жена... Сын Петька ..

Кто-то бежит... Ползет... Торопливый голос:

— Я—председатель исполкома... Разрешаю уйти с поста.

Убегает... Ползет... Петров неподвижен. В холодном безмолвии. Только одна мысль в голове:

— Ты на посту... Потуши... Потуши... Стой прямо...

— Трра-а-а-а...

Ударило... Смолкло... Поплыло... Все исчезло... Тишина...

Петров отброшен, распростерся у забора с раздробленным черепом и застывшей мыслью, покорившей его:

— Ты на посту...

Потом были удары, от которых дрожала земля. Людей отбрасывало, вверху сверкали молнии.

Медленно восходило солнце. Взрывы утихли. Красноармеец Петров погиб на посту.

Уважайте часового.

В мирное время важнейшую часть работы армии составляет ее караульная служба. Когда пензенский молодой крестьянин 19 лет стоит на часах, то он есть лицо неприкосновенное, и необходимо полное уважение к нему, чтобы он себя чувствовал в трудные часы службы не просто рядовым Ивановым, а воплощением воли рабочего государства, которое он отстаивает с винтовкой в руке. Со штыком в руке охраняет часовой хозяйственную работу русских рабочих и крестьян от всяких покушений извне.

Л. Троцкий.

Тише, товарищи...

Тише, товарищи,
Шапки долой—
Красноармеец
Погиб молодой...

Шел он на битву
Без страха в глазах,
С другом-винтовкою
В крепких руках.
Смело он бился,
Не ныл, не роптал;
Слова не молвил
О том, что устал.
Свято исполнил
Священный свой долг
И беспробудно
Навеки умолк.

Тише, товарищи,
Шапки долой—
Красноармеец
Погиб молодой.

Степан Брусков.

Советский часовой.

Из-за Днестра выстрелом был убит наш часовой.

Донесение с русско-румынской „мирной“ границы.

Заткало пряжею туманной
Весь левый склон береговой.
По склону поступью чеканной
Советский ходит часовой.

Во мгле туманной берег правый,
За темной лентою Днестра
Припал к винтовке враг лукавый,
В чьем сердце ненависть остра.

Кто он? Захватчик ли румынский?
Иль русский белый офицер?
Иль самостийник украинский?
Или махновский изувер?

Пред ним, дразня его напевом
Рабочей песни боевой,
На берегу на том, на левом,
Советский ходит часовой.

Лукавый враг—стрелок искусный,
Послал он пулю, знал, куда;
Но не ушел убийца гнусный
От справедливого суда.

В кругу-ль убийц, ему подобных,
Наедине ли, все равно,
Под вихрь и чувств и мыслей злобных
Ему мерещится одно:

Там, над Днестром, во мгле туманной,
Все с той же песнью боевой,
Все той же поступью чеканной
Советский ходит часовой!

Демьян Бедный.

КУРСАНТЫ И МАТРОСЫ.

(Оборона Петрограда).

Еще в первые печальные дни нашего панического отступления, когда все бежало, красные курсанты сдерживали белых арьергардными боями. И чем ближе белые войска Юденича подходили к Питеру, тем решительнее и упорнее становились курсанты. Они поняли величие своей задачи и решили победить или умереть.

С бодрящими звуками „Интернационала“ и с криками „отдай Ямбург“, они бросались в атаку, как ураган.

Был случай, когда отряд в 500 курсантов, под деревней Т., пошел в атаку на лучший из юденичских полков, Табалский, и сбил его. Десять смельчаков с первых курсов бросились в атаку на Новую Деревню, где засели сотни белых с пулеметами.

Черкасским курсантам, прошедшим через огонь и воду в борьбе с уральскими бандами, с Петлюрой, Зеленым и Деникиным, выпала новая честь — защиты Петрограда. Под Красным Селом они проявили столько героизма, что все, до одного, были награждены орденами Красного Знамени. Московские курсанты дрались, как львы, неся неисчислимые жертвы. Но особенным, неслыханным героизмом отличались финские курсанты.

Из холодной снежной Финляндии они принесли горячий революционный жар.

Когда впервые появились на фронте белые танки, когда одно слово „танк“ вызывало паническое отступление, финские курсанты бросались на них в атаку.

Под г. Кошелево взвод финских курсантов захватил было уже танки в плен, но в это время подоспело два других и взвод почти весь был уничтожен.

Когда финские курсанты шли в атаку с страшными проклятьями, они напоминали гранитную массу, перед которой никакая сила не может устоять.

20-го октября белые обстреливали Лигово. Они заставили героически дравшихся курсантов отступить. Энтузиазм курсантов был так велик, что они в „открытый рост" шли против танков со штыками, а финские курсанты даже вырвали из одного танка пулемет. Они боролись со стальными чудовищами в рукопашную, крича „отдай танк!". Получив приказ отступить перед танками, дисциплинированные финские курсанты не могли ослушаться приказа, но отходили от танков, как от отнимаемой от них добычи, с проклятьями и бранью, беспрестанно озираясь на оставляемые танки, посылавшие на них дождь пулеметного огня. Неохотно оставили они поле боя.

Белые писали в своих газетах: „Курсанты бросались в атаку на пулемет и подошли к нему на 60 шагов, большая часть их легла. Курсанты идут в атаку, не сгибаясь. Финские курсанты с ружьями на руку бросались на танки. Это не храбрость, а безумие. Они бросаются с отчаянием самоубийц".

Даже эти буржуазные лжецы, которым недоступно понимание революционного энтузиазма, обманщики, писавшие в своих газетах, что „путиловцы [1]) восстали", что в Петрограде фунт хлеба стоит 15.000 руб.,—злобствуя, не могли не восхищаться самоотвержением курсантов.

Много жертв принесли курсанты в эти исторические дни. Трупами лучших из них была загорожена дорога в Красный Петроград.

Нечего и говорить о героизме матросов. Недаром главари белогвардейского восстания ставили своей первой задачей захват „Красной Горки", „Севастополя" и „Петропавловска" [2]).

Тяжелые дни переживали Красная Горка и форт Серая Лошадь. Англичане засыпали их 15-ти дюймовыми снарядами. Но ничего не могло поколебать их стойкости.

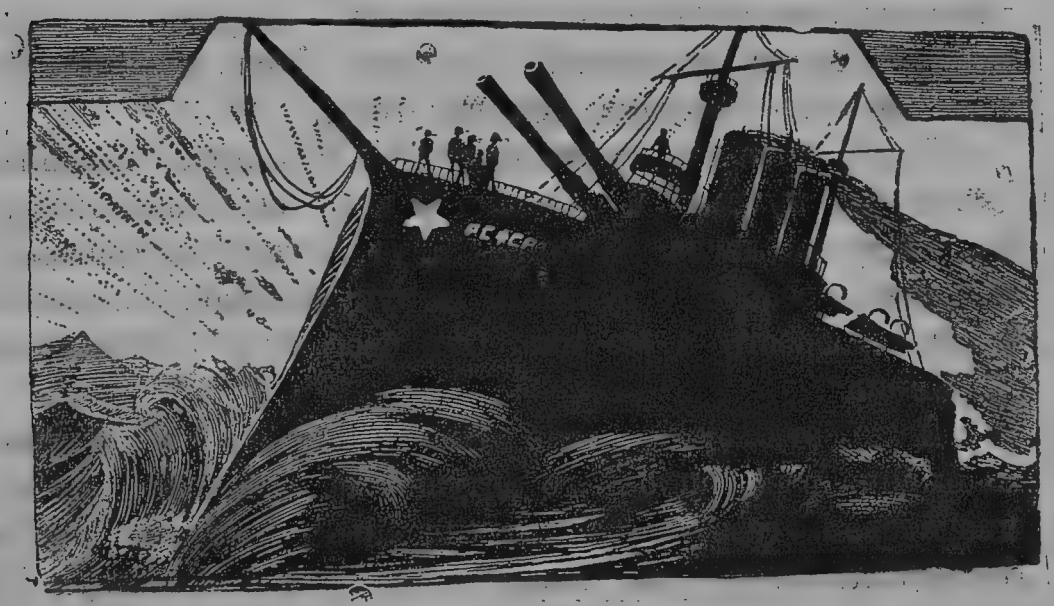
---

[1]) Путиловцы—рабочие Путиловского завода в Петрограде.

[2]) Военные судна.

В ночь на 21-е, когда белогвардейцы подошли почти вплотную к Петрограду, „Красная Горка“ и „Севастополь“ выполнили свою задачу,—тяжелыми снарядами они привели белых в замешательство.

Рядом с отрядами курсантов, сражались геройские отряды матросов. Много тысяч их было на фронте, и не мало из них погибло. Своими атаками они приводили в ужас, белых и белые мстили им: матросы, попавшие в плен к белым, уже не возвращались.



НА ПОСТУ.

Когда горниста слышен звонкий зов
И сумерки плывут у окон каземата,
Он знает, что сейчас он должен быть готов
Маячить от утра до алого заката.
Развод размеренно ведет его на пост.
И треплет ветер край его шинели.
Он станет, словно в землю врос,
А ночь в мозгу дремоту тихо стелет.
Приходит смена.—В карауле сизый дым.
Уснет, уткнувши в стол звезду пилотки,
Приснится девушка, которую любил,
С глазами светлыми, с улыбкой нежной, кроткой.

Курсант **Н. Мардерфельд.**

Ефрейтор в раю.

Тверд русский солдат, а ефрейтор и подавно крепок,— не даром лычку нашили. Болестью он не берется, в огне не горит и в воде не тонет... одна лишь шальная пуля берет.

И сразила ефрейтора в бою пуля бусурманская. Ангел часом подвернулся, душу живо хвать, просто ногой дрогнуть не успел, как очутился пред престолом господним.

Очухался, оглянулся—место незнакомое, но не расфедотился, недаром год в учебке тянул—образовался, не новобранец какой, и ступить может по-строевому и ответ может держать по-уставному.

Вмиг—руки по-швам, грудью вперед, каблуки вместе, носки—врозь.

— Честь имею явиться ваше... прство...

Голос—труба иерихонская, глазищами господа слопать готов.

Смотрит господь: эко диво... Трепещут святые—ручки сложили на груди.

Непривычна в раю смелая речь: все рабы господни...

Крикнул господь святого Петра-ключаря:

— Пристрой-ка, мол, в уготованное место... Небойсь, тоже, за веру православную живот положил?..

— Пойдем-ка, служивый...—поманил Петр.

Повернулся ефрейтор по ученому: через левое плечо, на левом каблуке, на правом носке, этак лихо, со щелчком—раз, два, и с левой—шагом марш... Такт так и выбивает: раз-два, раз-два, рукой вперед до бляхи, назад до отказа отмахивает. Облака под ним ходуном так и ходят: ногу дает правильно...

Идет Петр, идет за ним и ефрейтор.

Спросил ефрейтор Петра не из любопытства, а из военной вежливости:

— Вы не из фельдфебелей будете?..

Молчит—недоумевает Петр.

— Ну, а как у вас тут на счет службы... наряды в караул часто бывают?..

Молчит—недоумевает Петр.

— А начальство справедливо ли у вас?..

Понял Петр, заговорил—разбередил ефрейтор больное место.

— Какая справедливость... Это только на земле думают, что в раю живут по-райски... Всяк только и норовит лишь перед господом поюлить, а от дела отлынивает... Давид-царь—гуслярит, Иван-Златоуст - разговоры разговаривает, Касьян—форсит... вишь ты работать, так он ризу белоснежную запачкает...

— Никак, в ворота стучат... Иду... иду... Надоели... Эх-ма...—смахнул Петр непрошенную слезу-обиду, махнул рукой и засеменил к воротам.

Остался ефрейтор один, посидел, выкурил осторожно из рукава рожок махорочки,—не ровен час, еще начальство какое набредет: не было команды оправиться, закурить.

Бродит ефрейтор по раю день, два... а, может быть, и полтора... Смотрит и диву дается: столько всюду добра казенного и золото, и каменья самоцветные, а все без призору,—нет ни караула, ни дежурного, ни дневального?.. Народ постоянно зрячий болтается, долго ли до греха,—стянет кто, а ты отвечай. Почему по службе не радел... И решил ефрейтор, пока-коли что, стать хоть дневальным до смены. Оправился, обдернулся, ремень затянул—палец не подпустишь, бляху рукавом смахнул—горит.

Похаживает и порядок наблюдает: соринка где на глаз подвернется—приберет.

В послеобеденный час святые запели—хотели господа прославить—ефрейтор тут как тут: не полагается петь во время отдыха,—замолкли.

Прогуливается господь по раю. Ходит и думу думает. Ефрейтор с рапортом подлетел—за четыре шага под козырек, в двух—стал, чисто замер, да так отчеканил:

— Вашш... пр-ство, в роте небесного полка происшествий никаких не случилось...

А сам в сторону—скок: дорогу начальству дать. Просто молодец-молодцом.

Углубился господь в думу вечную,—не заметил.

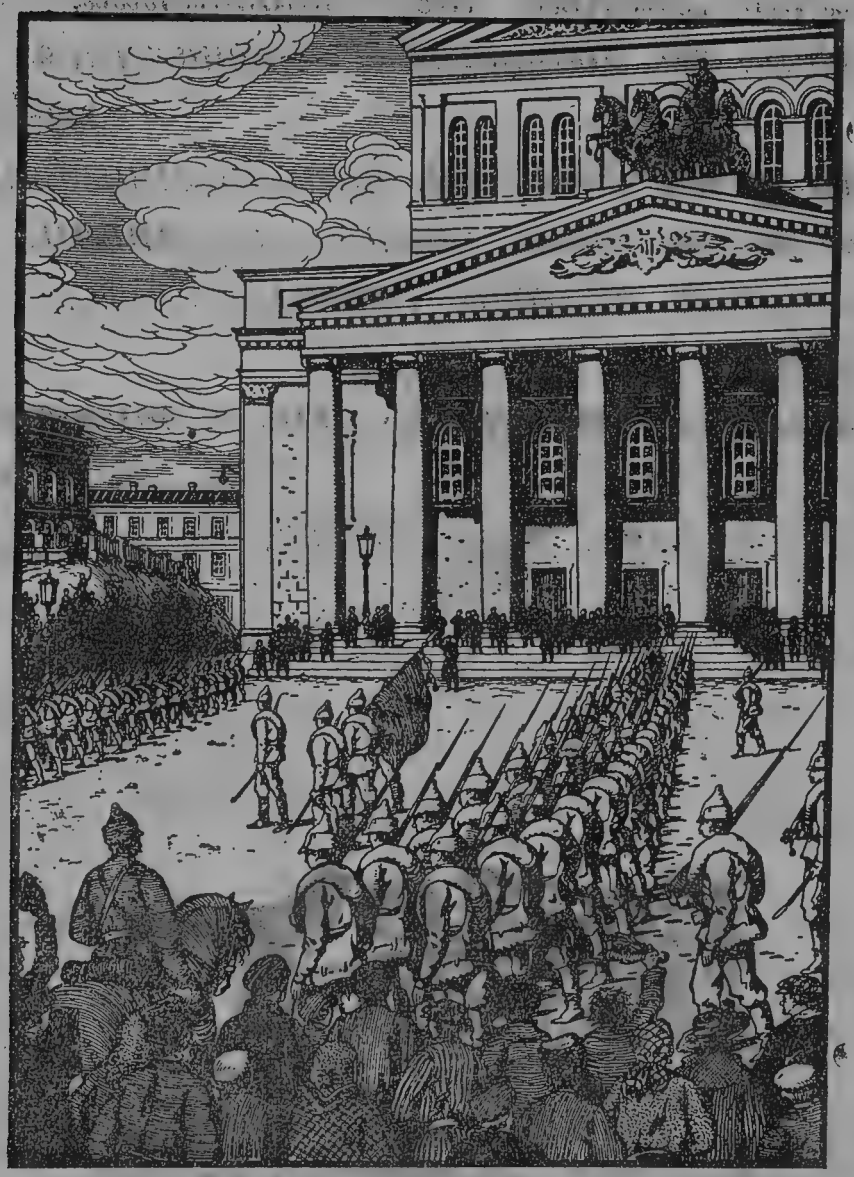
Обидно ефрейторскому сердцу: и „здорово“ господь не сказал. Да, ведь, начальство, судить не приходится.

Дневалит ефрейтор день, два, может и полтора—смены нет как нет. Он туда и сюда тронется—порядков толком никто не знает. Бросить дежурство, не сдав—опасно: еще, боже упаси, под суд попадешь.

Так и дневалит он...

Теперь, говорят, сменили...

Мих. Волков.



НА ПАРАДЕ.

„Ешь начальство глазами".
(Одна из основных заповедей царской армии).

У Красной площади, „любуясь" на парад
(Ох, не на царский,—на Советский),
Пришипились—облезлый бюрократ
И полинялый адвокат,

Когда-то „видный член“ кадетский.
— „Нет, вы подумайте“,—печалился ка-дет:
„Тому назад всего, ну, так-ли много лет,
Такие-ж молодцы, одетые в шинели,
Начальство прежнее глазами ели“...
— „Д-да“,
Прошамкал бюрократ: „вот в том-то и беда,
Что ели, ели... да и съели“.

Д. Бедный.

Пловучий маяк.

Безумству храбрых поем мы песню.
М. Горький.

Заметив что-то на горизонте, дежурный по вахте Сидоров вынул из кармана дубленого полушубка морской бинокль и, приставив к глазам, долго и пристально смотрел на север.

— Экая оказия. И кого опять несет. Неужели опять военные суда в бухте появились? Позвать Кучина.

Минуты через три он появился на палубе в сопровождении мужчины с окладистой русой бородой и густыми волосами, подстриженными в скобку.

Это Кучин, член губернского исполкома, заведующий пловучим маяком.

— Никак, знакомые гости жалуют к нам, Пахомыч?— проговорил он, торопливо беря из рук Сидорова бинокль.

В ответ на это старик Сидоров крякнул:

— Чтоб их там лихоманка всех перетрясла супостатов!

Весть о приближении английских крейсеров к бухте, куда они не имели права заплывать, проникла вниз и разбудила спящих. Они пренебрегали законами морского плавания, шли как враги советской власти[1]).

---

[1]) По существующим правилам, обязательным для всех государств, военные корабли одной державы не имеют права без согласия другой державы подплывать к ее берегам дальше определенной, установленной на море, линии. Переход за установленную линию означает нарушение интересов обороны другой державы, и против нарушителей морской закон разрешает принимать меры противодействия военного характера.

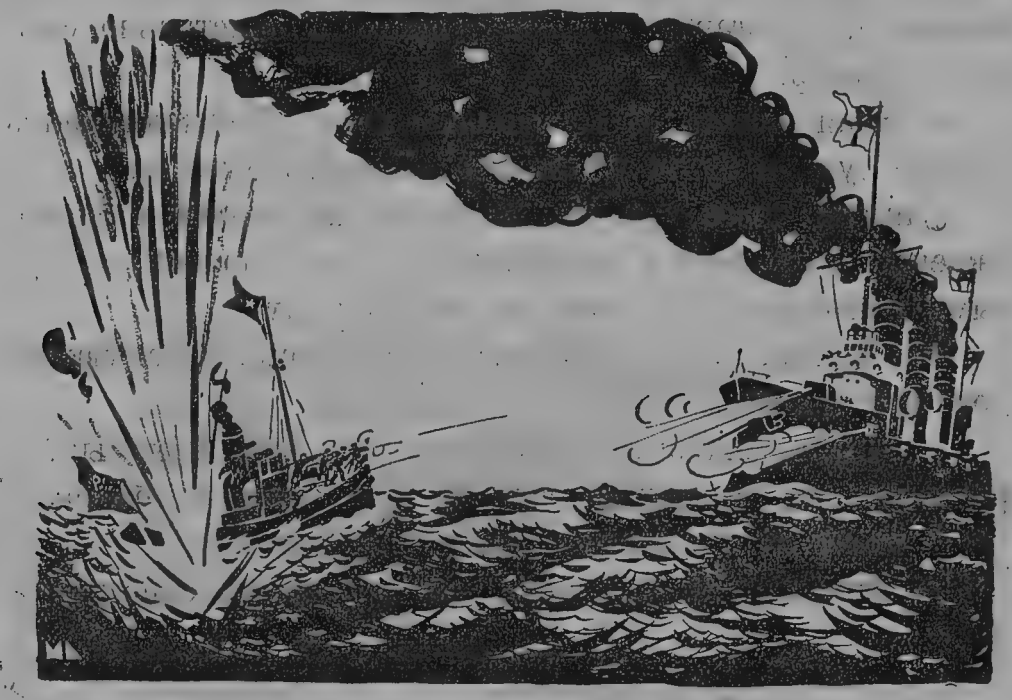
По рассказу, английские крейсера подплыли к берегам РСФСР и зашли дальше установленной линии и проявили таким образом враждебные действия против советской власти.

Вся маленькая, из восьми человек, команда пловучего маяка поднялась на палубу. Шестнадцать глаз устремились к северу. На темных обветренных лицах смешались в одно тревога и любопытство. Возгласы беспокойства перебивались бесшабашными шутками привычных к опасностям людей.

— Неужто по нас начнут жарить, братцы?

— Больно зазнался. Станут они палить из пушек по воробьям.

— Шибко идут разбойники...—сердился старик Сидоров, задетый за живое бесцеремонностью прибывающих гостей.



Но из пловучего маяка сигнала еще не подавали, хотя Сидоров уже достал из какой-то закутки на палубе два белых, обтрепанных флажка. Ждали распоряжений заведующего маяком—Кучина, который долго говорил по телефону с крепостным штабом, находившимся на острове.

Но вот он снова поднялся вверх. На лице его лежало торжественное и вместе упрямое и гордое выражение.

— Там уже орудия налаживают,—сказал он, приближаясь к флажкам, лежавшим у ног Сидорова.—А мы, товарищи, исполним наш долг. Подавай сигнал, Пахомыч.

Тогда Сидоров, опытный сигнальщик, взял в обе руки два белых флага и, обратившись лицом к северу, стал махать ими, то вверх, то вниз, то разводя руками, то скрещивая их.

— Стой. Куда идете?

Глаза всей команды напряженно вонзились в синеющий силуэт впереди идущего флагманского судна. Прошло минуты две. Но там продолжали вздрагивать мутно-желтыми языками пламени лишь национальные флаги Англии. Ответа на сигнал не было.

Сидоров по указу Кучина снова скрестил свои флажки, развел их.

— Стой. А то стрелять будем.

Четыре бронированных судна продолжали невозмутимо итти вперед.

На флагманском судие подплывающей эскадры тоже мелькнули белые флажки:

— Сдавайтесь.

На это с белой башни без задержки и, видимо, без колебаний отвечали:

— Стрелять будем.

После того сигнальные флаги уже не появлялись в воздухе.

Наступили минуты напряженного ожидания. Начиналась буря, какой еще никогда не видали чайки. Оглушительный гул потряс всю сокровенную глубь морскую. Волны, точно разъяренные кони, встали на дыбы.

От борта отделилась богатырская фигура Кучина.

— Ждать нечего, ребята. Надо итти. Кто не хочет живьем в плен сдаться, за мной...

Сотрясающий гул орудий пресек его звучный голос. Это ответила крепость на острове. Недалеко от флагманского судна поднялся высокий столб воды.

И вслед за тем точно дробные осколки понеслись со стороны острова.

Кучин хотел доказать англичанам, что начальник иловучего маяка с его командой умеют мстить врагам, издевающимся над Советской властью.

С головного английского крейсера с удивлением смотрели на маленькое речное суденышко, которое то взлегало в пене и в брызгах на вершину волны, то проваливалось, и тогда долго был виден над волнами только уносимый ветром дым.

На крейсере поняли, что идут сдаваться и стали давать сигналы остановиться.

С буксира, когда он вывернулся, на пенящийся гребень, теряясь в ветре и шуме волн, пачками раздались винтовочные выстрелы и слабо затютюкал пулемет. Два человека на крейсере упали. В ту же минуту, покрывая нечеловеческим громом бурю, длинным пламенем ахнуло с крейсера одно орудие, другое.

Высоченный пенящийся столб взмыл кверху на том месте, где был буксир. А, когда рассыпался, одни волны угрюмо бежали, заворачиваясь белыми гребнями.

Да вдали одинокий маяк качался, описывая концом мачты кривую по серому, низко бегущему над морем небом.

М. Борецкая.

Песня об отпускном солдате.

Батальонный встал и сухой рукой
Согнул пополам камыш:
— Так отпустить проститься с женой,—
Она умирает, говоришь?

Без тебя винтовкой меньше одной,
Не могу отпустить.—Погоди.
Сегодня ночью последний бой.
Налево кругом—иди.

. . . Пулемет задыхался, хрипел, бил,
И с флангов летел трезвон,
Одиннадцать раз в атаку ходил
Отчаянный батальон.

Под ногами утренних лип
Уложили сто двадцать в ряд.
И табак от крови прилип
К рукам усталых солдат.

У батальонного по лицу
Красные пятна горят,
Но каждому мертвецу—
Сказал он:—Спасибо, брат.

— Слушай, Денисов Иван,
Хоть ты уж не егерь мой,
Но приказ по роте дан—
Можешь итти домой.

Умолкли все,—под горой
Ветер, как пес бежал.
Сто девятнадцать держали строй,
А сто двадцатый стал.

Уже тот далеко ушел на восток,
Не оставив на льду и следа,
Сказал батальонный, коснувшись щек:
— Я, кажется, ранен. —Да.

Ник. Тихонов.

Человек за бортом.

Был десятый час на исходе. Вся команда корабля находилась на верху. Вахтенные стояли у своих снастей, а подвахтенные были разведены по работам. Всякий занимался каким-нибудь делом: кто оканчивал чистку меди, кто подскабливал шлюпку, кто вязал мат.

Вдруг со шканцев раздался отчаянный крик:

— „Человек за бортом".

Не прошло нескольких секунд, как снова зловещий крик:—„Еще человек за бортом".

На мгновенье все замерло на клипере.

Вахтенный, стоявший на мостике, видел, как мелькнула фигура сорвавшегося человека, видел, как бросился в море другой. Громовым, взволнованным голосом скомандовал:

— Фок и гроты на готове!

С первым окриком все выскочили наверх.

— Он, кажется, схватился за буек,—проговорил капитан, отрываясь от бинокля,—Сигнальщик... не спускай с них глаз...

— Есть... Вижу.

— Скорей... скорей ложитесь в дрейф, да спускайте баркас,—нервно, отрывисто торопил капитан.

Но торопить было нечего. Понимая, что каждая секунда дорога, матросы рвались, как бешеные. Через восемь минут клипер уже лежал в дрейфе, и баркас с людьми, под начальством мичмана Лесового, тихо спускался с боканцев.

— Упавших в море уже не было видно. В эти восемь минут клипер пробежал, по крайней мере, милю.

— Кто это упал?—спросил капитан.

— Шутиков. Сорвался, бросая лот... Лопнул пояс.

— А другой?

— Прошка Житин бросился за Шутиковым.

Между тем, все глаза были устремлены на баркас, который медленно удалялся от клипера, то скрываясь, то показываясь среди волн. Наконец, он совсем скрылся от глаз.

На клипере царила угрюмая тишина.

Так прошло долгих полчаса.

— Баркас идет назад,—доложил сигнальщик.

Ныряя в волнах, приближался баркас. Издали он казался крошечной скорлупкой. Казалось, вот-вот его сейчас захлестнет волной. Но он снова показывался на гребне и снова нырял.

— Оба в шлюпке,—весело крикнул сигнальщик.

Радостный вздох вырвался у всех. Клипер словно ожил. Снова пошли разговоры.

— Счастливо отделались,—проговорил капитан, и на его серьезном лице появилась радостная, хорошая улыбка.

Через десять минут баркас подошел к борту и благополучно был поднят на боканцы.

Мокрые, вспотевшие и красные, тяжело дыша от усталости, выходили гребцы из баркаса и направлялись на бак. Вышли Шутиков и Прошка, отряхиваясь, словно утки, от воды, оба бледные, взволнованные и счастливые.

Все с уважением смотрели теперь на Прошку, стоявшего перед подошедшим капитаном.

— Молодец, Житин,—сказал капитан, невольно недоумевая при виде этого неуклюжего, невзрачного матроса, рисковавшего жизнью за товарища.

А Прошка переминался с ноги на ногу, видимо робея.

— Ступай, переоденься скорее. За твой подвиг представляю тебя к награде.

— Ишь, ведь, ты какой, блоха тебя ешь,—остановил Лаврентьич Прошку, когда тот, переодетый и согревшийся, поднялся вслед за Шутиковым на палубу.—Портной,

портной, а какой отчаянный,—продолжал Лаврентьич, ласково трепля Прошку по плечу.

— Без Прохора, братцы, не видать бы мне свету. Как я этто окунулся, да вынырнул, ну, думаю,—шабаш... Богу отдавать душу придется,—рассказывал Шутиков...—Не продержусь, мол, долго на воде-то... Слышу,—Прохор голосом кричит... Плывет с кругом и мне буек подал... То-то обрадовал, братцы. Так мы вместе и держались доколь баркас не подошел.

— Ай, да молодец Прохор! С этого дня плюгавый Прошка стал Прохором.

Станюкович.

Сам погибай, товарища выручай; и товарищ тебя в беде выручит.

ДЖИММИ ХИГГИНС.

Срочный пакет.

— Слушайте,—прервал Джимми офицер не совсем с той вежливостью, какую обычно ожидают от французов.— В этом пакете находятся планы, которые мы сделали с фотографий, снятых с аэропланов,—понимаете? Это для артиллерийской стрельбы.

Офицер на мгновенье смолк; на дворе раздался оглушительный грохот, оконное стекло разлетелось вдребезги и что-то оцарапало Джимми лицо.

Ага,—заметил офицер,—враг подходит ближе. Наши телефонные линии перебиты. Мы посылаем курьеров, но они, вероятно, не прибывают на место. Необходимо посылать много копий. Вы понимаете.

— Разумеется,—сказал Джимми.

— Это весьма срочный пакет. Сражение зависит от него... Даже, может быть, вся война. Вы понимаете?

— Разумеется,—снова сказал Джимми.

— Я сделаю все, что смогу.

Джимми выбрался из штаба и вскочил на свою машину.

Доставить, во что бы то ни стало.

Воздух был полон визга и грохота взрывов. Это был адский шум, в котором Джимми с трудом мог уловить отдельные звуки.

Джимми въехал в лес.

Деревья падали под ударами снарядов, и Джимми решил, что будет благоразумнее сойти с машины, пробраться вперед и осторожно посмотреть, нет-ли германцев на открытом месте за лесом.

Джимми снова сел на машину и тихонько поехал вперед. Ему казалось, что он заблудился и едет не той дорогой. Он мог за один раз проехать всего лишь несколько десятков футов, так была испорчена дорога. Оставить ли ему машину здесь и бежать дальше пешком. Или же вернуться назад и сказать в штабе, что все их чертовы планы не верны, что дорога нигде не разветвляется. Наконец, он выехал на то место, на которое ему указали в штабе. Джимми проехал и пробежал еще с сотню сажен. Началось пшеничное поле, потянулась линия леса. На опушке леса четыре орудия изрыгали пламя, дым и грохот. Джимми поставил свою машину в ров и пошел пробираться по полям, чувствуя невероятное облегчение, так как он нашел французскую батарею, мог вручить драгоценный пакет и выбраться из этой каши.

Но, к своему огорчению, он нашел, что это не французская, а американская батарея. Французская батарея была еще дальше и немного правее. Офицер дал ему указания, считая совершенно неоспоримым, что Джимми намерен дойти до своей цели.

Сведения пригодились.

Но тут подошел другой офицер.—Что такое вы там получили?—И в ответ на слова Джимми, что это планы из штаба, он потребовал их. Офицер с такой же жадностью набросился на эти планы, как ребенок на подарки утром в первый день Рождества. Он вскрыл пакет, вытащил оттуда бумаги и начали диктовать числа другому офицеру, который сидел на походном стуле у небольшого складного столика с массой разложенных на нем листов,

покрытых цифрами. Этот офицер стал записывать полученные сведения о расстояниях для прицела орудий. Солдаты у орудий продолжали вставлять в них снаряды и отступали назад, когда снаряды пускались в свой путь; позади были другие солдаты, подвозившие патроны, разгружавшие один из тех больших фургонов, которые Джимми обгонял на дорогах. Это была настоящая фабрика, установленная здесь среди полей и посылающая гибель невидимому врагу.

— У нас сущий ад,—заметил офицер, складывая планы и вручая их Джимми.—Наши линии связи были перебиты три раза за последние полчаса и нам приходилось стрелять вслепую.

— Где германцы?—спросил Джимми.

— Где-то там впереди.

— Вы их видели?

— Слава богу, нет. Мы надеемся передвинуться раньше, чем они подойдут так близко.

Джимми почувствовал легкое успокоение при столь спокойном, деловом поведении всех людей на этой фабрике смерти. Если они могут выдерживать такую чертовщину, то, несомненно, и он сможет. Только они здесь все вместе, а ему приходится итти одному-одинешеньку.

Он сунул планы во внутренний карман мундира, побежал обратно к своей машине и тронулся в путь.

Уптон Синклер.

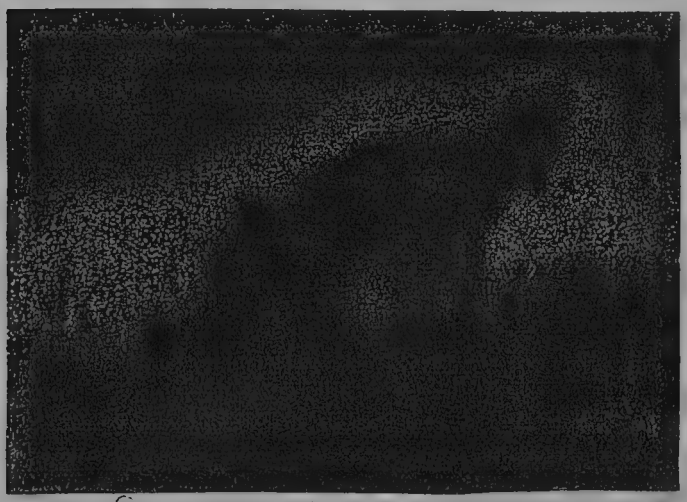
Порученное дело доводи до конца.

Помни, что от исполнения тобою приказа зависит судьба всей твоей части, а может быть, и всей армии.

Разведчик.

Он тихо полз меж мелкими кустами
В полночной тьме, к прогалине лесной.
За проволокой там, таинственно-большой,
Чернел окоп врага.
Порою в нем огнями
Сверкали выстрелы... Лежала ночь немая,
Мигали яркие созвездья в вышине.
Безмолвный лес дремал, как будто в страшном сне.
Ракеты, блестками окрестность озаряя,
Взлетали в небеса и гасли...
Он хотел
Узнать, где пулемет... Произвести тревогу
И указать своим кратчайшую дорогу
К позиции врага... Чуть слышный, долетал
Звук разговора вражьего, чужого.
Он чутко вслушался, боясь во тьме дышать.
Все смолко впереди... И он пополз опять,
Но „там“ заметили... Заговорили снова,
Потом во тьме блеснул вдруг близко, близко
Огонь от выстрела... Стал криком разговор.
И думал он, смеясь: „Нет, метите вы низко.
Вам не задеть меня за этим бугорком,
Его с утра я издали наметил“...
Как вдруг сребристый луч, туманно-смутно светел,
Ракеты вражеской блеснул над ним огнем.
Его заметили... Трещанье пулемета
Слилось с пальбой... Рой пуль взлетел над ним.
Но полн порывом радостным одним,
Забыл опасность он... влекла его забота.

„Уж наши вышли... Будут, верно, скоро.
Они ползут среди кустов в обход,
Их не достанет вражий пулемет“...
И полный радости и пьяного задора
От счастья подвига, средь мрачной мглы ночной,
Он приподнялся вдруг... Весь взглядом мир окинул
И, наклонясь вперед, спокойно бомбу кинул
В окоп врага уверенной рукой.
На миг замолкло все... Во тьме раздались стоны,
Потом опять рой пуль понесся в смельчака,
Но, раненый, он знал, что помощь уж близка,
Что с криками „ура“ летят вперед колонны,
Привыкшие в боях идти и побеждать,
И он шептал с блестящими глазами:
— „Я дело совершил, теперь черед за вами,
За власть Советскую не страшно умирать!“



Разведка—глаза и уши армии.
Где пройдет олень, там пройдет и солдат.

Лиза Грачева.

(По „Неделе" Ю. Лебединского).

Красноармейская учительница.

Лиза Грачева—красноармейская учительница. Маленькая, худенькая, всегда грустная и молчаливая. Она боится всего на свете. Родители умерли давно, и она выросла у чужих, где ее попрекали каждым куском хлеба. Боязнь стала ее привычкой. Эта же боязнь заставляла ее каждый вечер на коленях молиться неведомому, страшному богу.

Красноармейцев она тоже в начале боялась. На уроках краснела перед ними. Голос ее дрожал и прерывался. Она боялась спрашивать своих учеников и с тоской ждала конца урока. Однажды в холодный февральский день замерзшими руками она тащила домой паек. По дороге к ней подошли два красноармейца—это были ее ученики. Она испугалась, покраснела, а один из красноармейцев, голубоглазый великан, приветливо предложил помочь и, не дожидаясь ее позволения, легко взметнул мешок на плечо и понес.

С тех пор привязалась она к своим ученикам, разглядела каждого из них, полюбила свою работу и старалась получше учить красноармейцев.

Раньше боялась она революции, как боялась всего громкого, сильного. Но потом, поняв и полюбив своих учеников-красноармейцев, она поняла и революцию.

Жила Лиза в доме у аптекаря, у которого Советская власть отняла аптеку. Комната ее была длинная, узкая, как спичечная коробка. В комнате нет мебели, только кровать из досок, покрытых одеялом.

У больного товарища.

Рядом с ее комнатой жил член партийного комитета коммунистов тов. Робейко. У Робейко была горловая чахотка и он кашлял кровью. Он не выходил из своей комнаты вот уже несколько дней и лежал совершенно разбитый и больной в постели. Вот сейчас Лиза из своей комнаты слышала его мучительный кашель и ей хотелось помочь чем-нибудь Робейко.

Она подошла к дверям его комнаты и постучала.

— Войдите,—отвечал ей из-за двери Робейко.

Лиза Грачева вошла.

— Вы так сильно кашляете, тов. Робейко, что в моей комнате слышно. Я, ведь, тут рядом живу за стеной. Я вам молока принесла кружечку.

— Спасибо за участие,—ласково сказал Робейко.

— Зажгите электричество, будем чай пить.

Она щелкнула кнопкой выключателя и ахнула. Наволочка его подушки была вся в крови, которая шла из горла Робейко во время кашля.

— Вам, верно, очень плохо... Я вам переменю наволочку. И зачем вы столько работаете? Вы ведь так больны.

Робейко улыбнулся ласково и смущенно. Ему приятны были ее заботы.

— Вы где работаете?—спросил он.

— Я учительница красноармейская. Но уже три дня не работаю. Наш батальон ушел за город на заготовку дров.

— Ушел уже?—переспросил Робейко оживленно... Значит, дрова заготовим во время.

Робейко рассказал Лизе о том, что их город и весь край находится в тяжелом положении. Прошлый год был неурожайный, и если не подать теперь к началу посева семян по железной дороге, то во всем крае будет голод. А между тем железная дорога стоит, нет топлива. Необходимо заготовить дрова. Поэтому и пришлось пойти на крайнее: вывести батальон из города. А это не так про-

сто. Есть сведения, что в уезде готовится восстание и на город могут напасть бандиты. Кроме батальона в городе никаких красноармейских частей больше нет.

Нападение бандитов.

Поздно вечером ушла Лиза в свою комнату. Ее разбудил стук сапог и громкий говор. Лиза сразу встревоживалась. Дрожащими руками она обулась. Подошла к двери и тихо приоткрыла ее. В корридоре и в кухне она увидела каких-то людей в солдатских шинелях, с ружьями, топорами и пиками в руках. Среди них стоял Робейко со связанными руками, босиком на холодном полу. На лице его чернел кровавый шрам от нагайки.

Бандиты вывели Робейко во двор. Раздался выстрел. Лиза поняла, что стреляли в Робейко. Она вскрикнула и выбежала на темный двор. У крыльца она увидела, как билось человеческое тело. Лиза узнала Робейко. Она со стоном кинулась со двора на улицу. Ей в догонку прогрохотали два выстрела. На улице была темень. Откуда-то издалека четко слышались выстрелы. Порой мерно стучал пулемет. Лиза бежала вперед. Она тихо плакала. Слезы катились по щекам и падали на снег. Вдруг она содрогнулась и остановилась, как вкопаная. На голубом снегу, возле самого забора, она увидела чей-то труп. Лиза узнала коммунистку Симкову, которая была начальницей культпросвета в Подиве. Не кричала теперь Лиза и не плакала. Ей казалось, что жизнь человеческая пришла к концу.

Рассвет.

Стало. светать Над городом носился пасхальный трезвон колоколов. Звон колоколов сплетался со стуком пулеметов и гулом перестрелки, которая грохотала уже в двух концах города.

Этот пасхальный звон напомнил Лизе о боге... Бог, где он? В себе она его больше не чувствовала. Стук пулемета и звон колоколов. Труп недавно радостной, красивой и умной девушки. Где бог?

Лиза приподнялась со снега. Стала на колени. Прикрыла тело Симковой, поцеловала ее холодный лоб. С трудом приподнялась на ноги и, как могла, быстро пошла в ту сторону, откуда близко-близко доносились звуки стрельбы.

На бандитов.

В батальоне, который находился за городом на заготовке дров, было получено такое сообщение. Бандиты, воспользовавшись тем, что в городе не было красноармейских частей, ворвались в город. Батальон двинулся в наступление на бандитов.

Первая рота шла с левого фланга. Двигалась темная куча людей, но в этой куче была внутренняя связь... Каждый знал своего соседа, своего начальника, каждый слушал тихую команду. Шли до тех пор, пока от человека к человеку, из отделения в отделение, из взвода во взвод пробежало приказание:

— Стоп... Равнять цепь направо!

— Ложись, к бою!

И не дошло еще приказание до левого фланга, как на правом—ток, ток... застучал пулемет. Это стреляли бандиты.

Первая рота медленно, перебежками, надвигалась к городу. Много потеряли убитыми и ранеными.

Военком Данилов шел сзади в цепи. Порой выбирал около заборов темную фигуру врага и стрелял из нагана. Ласково и бодро здоровался с красноармейцами.

Вдруг в стороне он увидел быстро приближавшееся темное пятно. Вгляделся острым, зорким взглядом. Остановился на месте. Несколько пуль просвистало над его головой. А военком все вглядывался и вдруг зычно крикнул:

— Товарищи, баба какая-то бежит. Осторожней стреляйте.

Ее уже видели все. Волосы развевались по ветру. Она порой проваливалась в снег, пронзительно вскрикивала и опять бежала. Вдогонку ей, со стороны неприятельской цепи, сыпались выстрелы.

— Ребята, ведь это учительница наша. Ведь это тов. Грачева!—крикнул красноармеец Фидеин.

Другие поддержали:

— Она самая и есть.

Спасли учительницу.

Данилов с наганом выбежал вперед.

— Товарищи, а ну-ка, выручим свою учительницу. Айда ей навстречу, вперед!

— Ложитесь, тов. Грачева! Ложитесь на снег!—кричал ей Фидеин.

Лиза Грачева увидела знакомые лица.

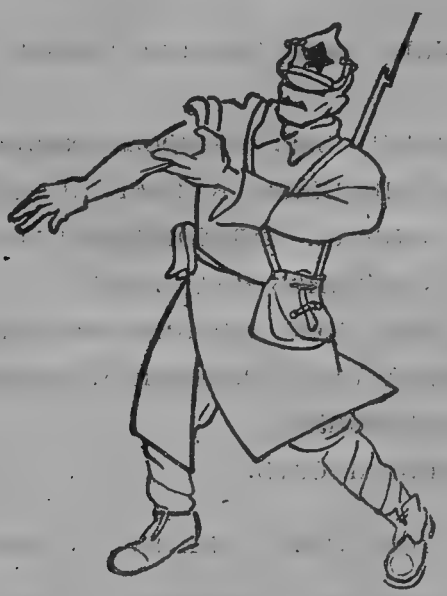
Вот они все, дорогие, родные, больше, чем родные, красноармейцы, которых она в школе учила таблице умножения, идут. Вооруженные страшными винтовками, они кажутся Лизе могучей карающей силой—силой торжествующей справедливости.

Упала в снег.

— Как вы сюда попали?—услышала она резкий голос. И, приподняв голову, она узнала военкомбрига Караулова.

Плача, стала Лиза рассказывать о пережитом за сегодняшнюю ночь. Караулов, не переспрашивая, выслушал подробности смерти Робейко. Молча слушал рассказ о трупе Симковой.

— Данилов, слышал? Робейко убили. Иди в штыки. Круши их, сукиных сынов. Начинай с левого фланга. Пленных не брать!—отрывисто скомандовал Караулов.



Политрук.

Еще не влез на подоконник
Луч солнца рано поутру,
Когда походкою спокойной
Проходит ротой политрук.

Пробьет двенадцать. Поскорей-ка
Собраться запросто в кругу,
Заулыбается статейка
Из „Бедноты“ углами?

Про наше все и про чужое,
Про достиженья и урон...
Забьется, видно, ретивое,
Когда дойдет до „Правды“ он.

Читает часто целой ночью,
Чтоб после нам же передать
О единении рабочих
И что в Германии беда..

Еще не влез на подоконник
Луч солнца рано поутру,
Когда походкою спокойной
Проходит ротой политрук.

Наврозов.

Передовые пролетарии в качестве комиссаров, агитаторов, политических руководителей просвещают, сплачивают и вдохновляют Красную армию. Неиссякаемую силу Красной армии составляет вера ее в свое высокое назначение. Каждый красноармеец знал и знает, что в отличие от всех армий, бывших до сего времени, наша имеет своей задачей борьбу за благо трудящихся против их эксплоататоров.

Ротная школа.

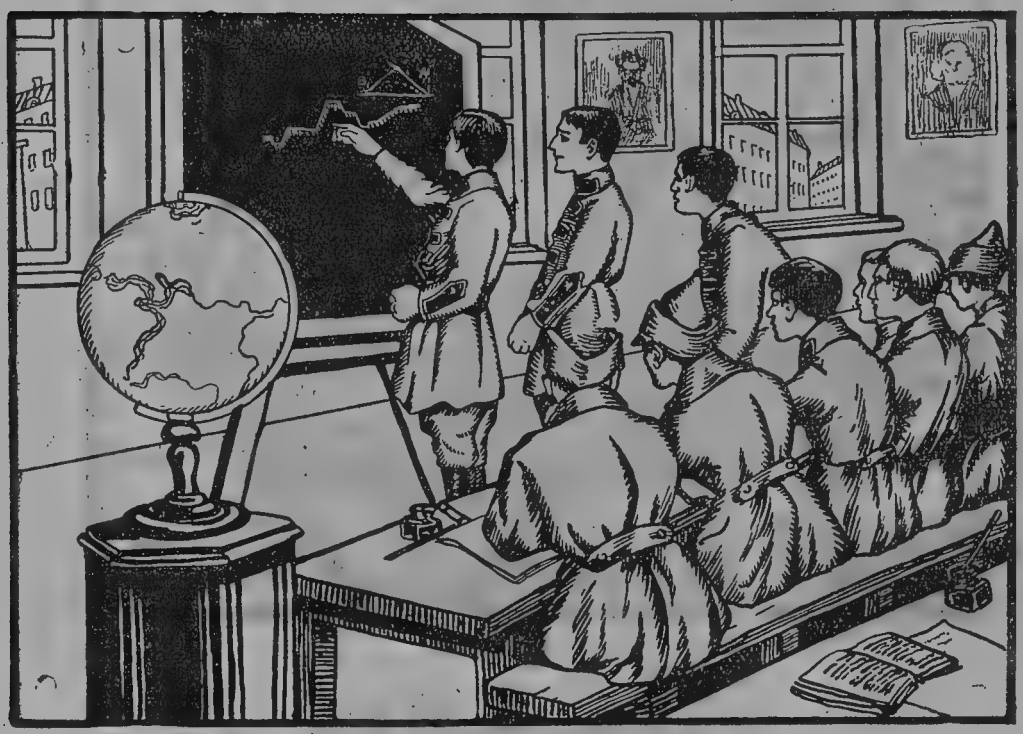
Школа—поденка, школа—вихрь
В перемежку с громами боев огневых.
А какой покой шесть лет назад
В сельской школе в кругу ребят!
Но Сергея Иваныча увлек поток:
Тишина не впрок, когда ал восток.
Работа в школе ему легка
В первой роте второго полка.
Бумагой и перьями едва снабдив,
Боевое задание дал Подив:
Чтоб к первому весеннему ветерку
Неграмотных не было в полку,
Чтоб каждый боец прочитать был готов
Про Антанту, про трактор, про Межсовпроф.

За сутками сутки, за часом час
Сергей Иваныч выполняет приказ.
Ему не впервой. Ведь еще под Орлом
Он в полку держался совсем орлом.
Ведь давно забыв о болотной тропе,
Он записался в РКП.
В холодной халупе, где нальцы – лед,
Он в ротной школе занятья ведет.

Два дня занятия – неделя бои.
Два дня карандаш—неделя штыки.
Два дня халупа—неделя окоп.
Карандаш из руки, а пуля в лоб.
Начнешь объяснять, а горнист зовет:
— Пора выступить в опасный поход.
От урока к уроку итог таков:
Похоронена треть учеников.

Сергей Иваныч—хоть школу брось,
Да во время полк барона разнес.
В Севастополе дело быстрей пошло.
Поход окончен. В школе тепло.
И когда благодарность пришла бойцам,
Каждый боец прочитал ее сам.
Окончен успешно последний урок:
Заданье Подива исполнено в срок.

Г. Лелевич.



ПЕРЕДЫШКА.

(Из гражданской войны).

Краснов, Каледин Скоропадский, Колчак. Деникин, Петлюра, Юденич, поляк, Махно, Балахович и Врангель... Не счесть. Все биты, всем отдана должная честь.

— Газеты привезли! Газеты и письма тоже!
— Лобову письмо. А ты?
— Везет же человеку. Мне ничего нету.

— Давай, товарищ, газетину сюда. Что про нас написали?

— Эй, кто грамотей побойчей, выходи-ка.

— А моя-то что пишет: в Уфимской губернии у нас заморозки. Никогда того не было, чтобы в сентябре заморозки.

Кашевары возятся у котлов и завистливо косятся на сбившихся в кучки красноармейцев, читающих вслух свои письма.

Бесконечные поклоны свояков, соседей, кумовьев, сообщения о том, что „наша бурая ожеребилась, а жеребеночек дошлый вышел", и что „у Ваньки-то нашего зубы прорезались",—все эти чужие, далекие радости и печали из уфимских, вятских, калужских деревень, залетевшие сюда, на фронт, за тысячу верст, глубоко волнуют и трогают всех.

Где-то далеко гудят орудия. Там и тут взрыта бугрями земля, вспаханы ее желтые подпочвенные слои снарядами, которыми вчера белые осыпали позицию. Кругом чистое синее небо, такое веселое и такое свежее, и пахнет землей и свежесрубленной березой.

Грамотей Максютов держит в своих жестких, точно покрытых корою руках газету.

— Читай все по порядку,—говорят красноармейцы, облепившие его, как мухи сахар.

Максютов прочитывает заголовок газеты, адрес редакции, номера телефонов. Красноармейцы слушают внимательно.

— Эка. Живут. Варится дело.

— Помалкивай, сорока, не мешай.

Максютов принимается за чтение. Читает со смаком. Сбегаются суровые морщинки на лицах красноармейцев, гаснут улыбки, слушают с раскрытыми ртами сухие сжатые телеграммы о боях, и когда прозвучит название знакомого места, радостно говорят:

— Это про нас. Читай-ка еще раз.

Максютов читает еще раз, и красноармейцы одобрительно восклицают:

— Как есть правильно. Точка в точку.

И бородатые и усатые, обносившиеся, оборванные красноармейцы, каждую минуту ожидающие нового боя, на виду у смерти, смеются без всякой причины.

Канонада все ближе. Невдалеке идет большое сражение, разворачиваясь все шире. Заходящее солнце бьет в глаза золотыми спицами лучей, а на западе всплывают белые грибы дыма.

— На заре быть нам в бою,—говорит кто-то.

— Ладно. Айда бороться.

— А ну-тя. Свалю, ведь.

Как два быка, нагнув головы и глядя друг на друга исподлобья, стоят плечом к плечу Треньков и Федосеев.

А недалеко от них отплясывает мудреный танец певун и плясун Зубалов, высоко вскидывая ноги в развалившихся сапогах и тоненько вскрикивая:

— И-эх вот этак, и-их вот так.

Уже свечерело. Уже громче и сочнее голоса. Два красноармейца, Сопонько и Киреев, присев на карточки, сочиняют „стих".

Мы, рабочие и крестьяне,
Дали белым ноне баню...

— Ловко вышло, — восхищается Сопонько.—Ну-ка дальше.

Киреев шевелит бровями, шепчет про себя, а потом говорит вслух:

С семнадцатого года,
Бьемся с ними за свободу.

— Здорово-хорошо,—радуется Сопонько.

— Б-бум,—врывается в мирную беседу неожиданный грохот одинокой пушки.

— Бум, бум,—просыпаются другие пушки.

И скоро впереди, над темной степью зажигаются ярко-красные сполохи.

— Начал,—тихо говорят красноармейцы.

— Б-бум. Бум.

Очарование развеяно, но в душе бодро.

—Эх-эх, и накладем мы ему в загривок. Я бы таперь... э-эх.

Только что плясали, боролись, смеялись, а теперь рассыпались по степи, прилегли с винтовками.

— Тах-тах-тах,—крикнули винтовки.

Ставшие вдруг ловкими, корявые пальцы проворно нащупывали затворы винтовок...

Як. Окунев.

КУЛАЦКИЙ СЫНОК

Молодой моряк Федя Горшков в казарме не только людей—тени своей боялся. А неартельный в артели все равно, что собака в волчьей стае: разорвут.

Тошнехонько. Мелкими издевками доняли озорники, засмеяли Федьку, проходу не давали. И торчал он среди людей, как пугало в горохе.

Выдали робу (обмундирование) казенную, и ей не обрадовался: лучше бы голым ходить, только дома. Совсем от рук отбился парень, хоть в петлю в пору. Товарищи, бывало, на занятиях, а он норовит унырнуть в темный угол, или перекосит рожу—в госпиталь забьется. А то домой писульку начнет царапать:

... „А ищо любезный родитель да единоутробный братец. Желаю Вам всего хорошего на белом свете, а также в Вашей жизни. Сообщаю, что сделался я матросом. Каждый день по морю плаваю, а также выдали нам щеблеты и суконной одежи по сундуку, а жизнь мне все-таки не кажится, и тятя, не сможешь ли там как меня отсюда со службы выцарапать, в смысле крайней незаменимости, ведь собака и та по дому жалкует".

Дома-то за могучим отцовским горбом да за масляной матушкиной лаской сладко жилось Федьке. Горя да нужды не видал. Рожа то была как клюква, а глаза как лукошки. Забрили парня. Вся родня за деревню провожать выходила, как покойника. Угнали, не спросили...

Днем, когда рота уходила на занятия, Федька, оставшись в опустевшей казарме, ложился на жесткую казенную перинку, кулак под голову, раздумается о доме, сердце в груди заворачивается.

В один злополучный денек отпросился парень в госпиталь, а сам на базар шмыгнул... Ходил по сладким рядам, калачи да разные съедобья любовно оглядывал. Колбасами жареными, да пирожками масляными, шипучими воняло. Соблазнился малый.

После недолгого раздумья завернул за какую-то лавчонку, дрожащими руками стащил с себя казенную фланелевку, клешь, перекинул на руки и пошел по базару.

Загнал Федька барахло, денег полны руки. Тыкался от палатки к палатке и ел все, что на глаза попадется. Ел, ел, икать начал, душа пузыри пускает, значит—сыт... От сытости сердце чесалось.

Подкатил день выпуска. Утро выдалось красное, ядреное. Горячее майское солнце билось в окна трепещущими, золотыми крыльями. В казарме спозаранку радостное возбуждение. Без рубашек, с засученными штанами ребята шароварами скребли каюту и палубу [1]).

К завтраку все было безукоризненно чисто. Не успело еще солнце разогреть воздух, как батальон молодых моряков, вытянувшись в повзводные колонны, начал извилистой дорогой спускаться вниз по городу. Одетые в черное, как ночь, сукно ребята выглядели молодцами.

Батальон выпустили и распределили по морским школам. А Федьку после месячной отсидки в карцере выпустили и сунули в батальонную канцелярию рассыльным.

Своей новой должностью он вполне доволен—все лучше, чем за решеткой сидеть, да и на ученье не гоняют. Так канцелярской затычкой, должно быть, и останется. Видно птицу по полету, сокола по спуску, добра молодца по зеленым соплям.

Артем Веселый.

---

[1]) В морской казарме каютами называются спальные помещения, а палубой—средний широкий зал, проходящий во всю длину корпуса.

Береги народное добро, как зеницу ока.

СУББОТНИК.

Ночь, как салазки с горы, скатилась. Небо порастеряло звезды. Слепое утро милостыньку в окнах просить пришло.

Проснулся Ванька, вытянулся во весь свой рост молодецкий.

— Будет... вдоволь поспал...

Поглядел по сторонам: уныние, грязь в казарме. Гимнастерка на сапоге, сапог на шапке... Пауки по углам телеграфную сеть растянули. Крысы полы погрызли. Ржавые винтовки, как пьянчужки, в стену уперлись.

Поднялся Ванька, оделся в три счета, обулся, да как гаркнет:

— Подымайсь... хватит вам дрыхнуть...

Ребята с переполоху как повскакают,—сами не заметили, как ноги в сапоги въехали. Головами мотают, уши прочищают.

— Ну и голосина. Жерло орудийное.

— У Ваньки глотка луженая.

— На тульском заводе лудили.

— Пошли...—махнул рукой Ванька,—раскачались языки звоном пасхальным.

— Надо ручки свои холеные в ход пустить... вот оно что.

— Мы не отказываемся,—сказал Гудаков, задавай работу.

— Вали, командуй!—поддержали ребята.

— Ну, и ладно... принимайтесь. Перво-на-перво—боевая задача: все койки с матрацами наружу. Пусть-ка на свежем воздухе паразит погуляет, а ежели его морозом не прошибет, тогда мы его с другого конца: баню ему кипяточную... вот.

Закипела, забурлила работа.

Один ухватил доски под микитки, к двери поволок да на белый снежок выбросил; другой с койкой по полу маневры производит; третий согнулся под матрацом и верблюдом прыгает.

Ванька угрем мечется.

Мигом помещение выпростали.

— Дальше что?

— Бери метлы—паутину сметать.

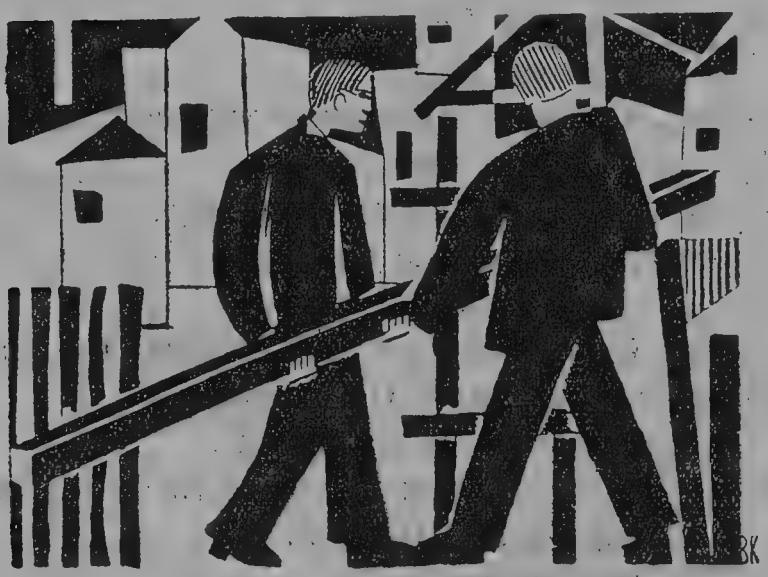
— А копоти-то, копоти сколько. Сметай ее, сдувай проклятую!

— Готово...

Хорошо стало в помещении—и дышать веселее, и глазам отрада.

Помылись сами, почистились и засели чаи распивать, благо куб шипит-клокочет.

Л. Митницкий.



ЧИСТОТА—ЗДОРОВЬЕ.

ВОШЬ [1]).

К сожалению, не басня.

Вошь, что заемный грош, спать не дает. Блошка, да мошка, да третья вошка—а упокою нет. Никто горя не вкусит, пока своя вошь не укусит.

В углу на стареньком бурнусе
Ломала в горе лапки Вошь:
— За что ж меня? За что ж?
За здорово живешь?!.
Ох, господи Исусе!
Ох, господи Исусе!
— Ба!.. Слезы!..—рядышком уселася Блоха:—
Чем стала жизнь твоя плоха?
— Ох!—Вошь тут пуще завздыхала:—
Ты разве, Блошка, не слыхала?..
— Про что? Скорее. Я спешу.
— Про большевистские... злодейские их планы...
От вошегубства их... Ох, я едва дышу!..
На Вшей готовятся арканы...
— Шу-шу!..—из всех щелей полезли Тараканы:—
— Шу-шу!..—Шу-шу!..
— Что тут за шум?
— Ох!—Вошь захныкала в ответ:—
Ох, братцы Таракашки!
С Блохой держали мы совет!..

---

[1]) Перепечатано из листовки Н. К. З., изд. 1920 г.

— А мы-то думали... Так что же вы, милашки,
Тут шум затеяли такой?
С чего ты слезы льешь рекой?
— На большевистские я плажала замашки,
Об'явлен...
— Слушайте!
— Шу-шу!—Шу-шу!—Шу-шу!
— Об'явлен нонеча у них поход на Вшу!
Сам Ленин об'явил—их главный воевода!—
Что Вшам пощады нет: Вошь—злейший враг народа!
Друзья, Вошь есть не просто Вошь, а некий злой символ:
Былых властителей жестокий произвол,
Все издевательства господ над людом „черным“,
Вся грязь российская—грязь тела и души,
Все, что губило Русь дыханием тлетворным,
Все воплощение свое нашло... во Вши.
Помещик, телеса омыв душистым мылом
И накрахмаленным гордясь воротником,
Глумился походя над „неумытым рылом“,
Над „обовшивевшим и грязным мужиком“.
Помещик—ширился. Мужик—в хлеву теснился,
Он с грязью свыкся и сроднился,—
Вошь ближе всех ему была и всех родней,
Он вспоминал о ней и в радости, и в горе,
В площадной ругани, в душевном разговоре—
Слагал пословицы и песни пел о ней.
Живя в грязи, мужик твердил, что „грязь
Помял—она отстала“,
Корой покрылся—горя мало.
И темен и убог,
Откуда знать он мог,
Что там где грязь, там Вошь, а Вошь—зараза,
Разгул горячек и корост.
Когда случалося, что полдеревни сразу
Переселялося от мора на погост,
Мужик—он все сносил, он все сносил покорно
И, сам ложась до срока в гроб,
Рукой холодною крестя холодный лоб,

В суд божий веровал упорно:
„Господь... карает... за грехи!“
А утром, выпивши с помещиком две фляги,
Поп слушал исповедь предсмертную бедняги:
— Грехи, мой сын, грехи! А сам в кулак: „хи-хи!“
Попу с помещиком мужицкий „грех“—потеха.
Нам нынче не до смеха.
Мы с шеи сбросили народных кровопийц,
Сановных палачей, потомственных убийц—
Мы добиваем их остатки.
Но потруднее этой схватки
Нам будет долгий, долгий бой
Вот с этой „божьею рабой“,
Вот с этой Вошью серой, грязной,
С наследьем жизни безобразной,
Той жизни, что теперь,—где наспех, наугад,
Где по продуманному плану,—
Все язвы выводя, леча за раной рану,
Мы общей силою на новый строим лад,
И наша ли вина, что в деле новой стройки
Не обошлось... без Вошебойки?!.

Демьян Бедный.

Дайко-ся, и я помоюсь.

(Рассказ из русско-японской войны).

Передо мною сидел на табуретке пожилой солдат с простреленною мякотью бедра. Солдат был в серой, неуклюжей шинели, лицо заросло лохматою бородою. Когда я обращался к нему с вопросом, он почтительно вытягивался и пытался встать.

— Сколько тебе лет?

— Сорок, говорят... А там, кто его знает.

— Давно на войне?

— С Покрова. Нас в Красноярск пригнали на обмундирование, там стояли. Значит, стали вызывать охотников на войну, я пошел.

Посмотрел я на него,—совсем старик, с смирными мужицкими глазами.

— Не жалеешь, что пошел?

— Не... Вот ногу бы залечить, опять бы пойти,— задумчиво ответил он.

В это время в палату ввели невысокого человека в чуждой, странной форме. Раненые зашевелились, взгляды направились на вошедшего.

— Японец... Японец...

Невысокий человек медленно подвигался, опираясь на плечо санитара и волоча левую ногу; он внимательно смотрел кругом исподлобья блестящими, черными глазами.

Пуля засела у японца в пояснице. Я показал знаком, чтобы он разделся. Солдаты молчали и следили за японцем.

Японец стал раздеваться. Снял широкую верблюжью шинель с козьим воротником, под нею был меховой полушубок-безрукавка. Солдаты засмеялись. Японец взглянул на них и тоже засмеялся. За полушубком следовал черный мундир с сорванными погонами (чтоб не узнали, какого полка), за мундиром—жилетка, за жилеткой—еще жилетка.

Смех усиливался, перешел в хохот. Хохотали солдаты, хохотал японец. И оттого, что он так весело и добродушно хохотал со всеми, в смехе солдат пропала враждебность, и милый, дружный, соединяющий смех стоял в фанзе.

Японец снял еще фуфайку и коленкоровую рубаху. Пулевая ранка в пояснице уже запеклась. Японец вопросительно кивнул мне головой, потер руки и потом стал тереть свою круглую, стриженную голову с жесткими черными волосами.

— Помыться просит,—догадался фельдшер.

Я велел принести таз теплой воды и мыла. Глаза японца радостно заблестели. Он стал мыться.

Как он мылся! С блаженством, с вдохновением... Он вымыл голову, шею, туловище; разулся и стал мыть ноги.

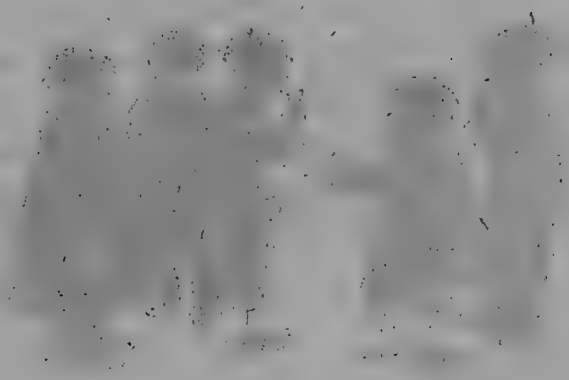
Капли сверкали на крепком, бронзовом теле, тело сверкало и молодело от охватывающей его чистоты. Всех кругом захватило это умывание. Палатный служитель сбегал к баку и принес еще воды.

Японец благодарно взглянул на него и радостно засмеялся. Служитель поглядел кругом и тоже засмеялся. Японец опять принялся тереть мылом грудь, шею и щетинистую голову. Скатывалась мыльная пена, брызгала вода, японец фыркал и встряхивался.

В углу на нарах лежал раненый в бедро пожилой солдат, которого я только что перевязал. Смотрел он, смотрел на японца, как тепло сверкало под водой его чистое, крепкое тело. Вдруг вздохнул, почесал в голове, решительно приподнялся и сказал:

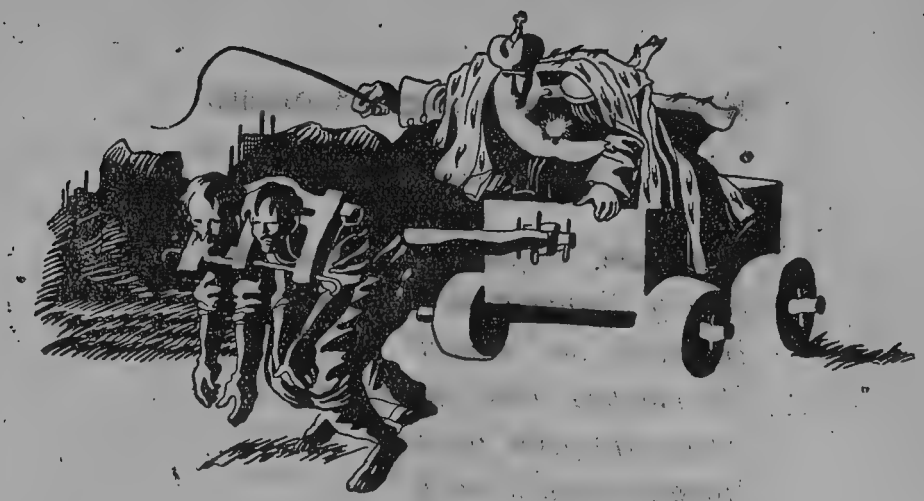
— Ну-ка. Дайко-ся, и я помоюсь...

Вересаев.



ЧАСТЬ II.

В НЕВОЛЕ.



Из песни крепостного.

Ах, тошно мне
И в родной стороне!
Все в неволе,
В тяжкой доле.
Видно, век вековать?
Долго ль русский народ
Будет рухлядь господ?
И людями,
Как скотами,
Долго ль будут торговать?

А. Бестужев.

Кому на Руси жить хорошо.

(Рассказ помещика).

Так вот, друзья, и жили мы,
Как у Христа за пазухой,
И знали мы почет.
Не только люди русские,—
Сама природа русская
Покорствовала нам.
Бывало, ты в окружности
Один, как солнце на небе:
Твои деревни скромные,
Твои леса дремучие,
Твои поля кругом.
Пойдешь ли деревенькою —
Крестьяне в ноги валятся;
Пойдешь лесными дачами —
Столетними деревьями
Преклонятся леса.
Пойдешь ли пашней, нивою,
Вся нива спелым колосом
К ногам господским стелется,
Ласкает слух и взор.
Там рыба в речке плещется:
„Жирей—жирей до времени“.
Там заяц лугом крадется:
„Гуляй—гуляй до осени“.
Все веселило барина.
Любовно травка каждая
Шептала: „я твоя“.

Краса и гордость русская,
Белели церкви божии,
По горкам, по холмам,
И с ними в славе спорили
Дворянские дома.

Дома с оранжереями,
С китайскими беседками
И с английскими парками;
Французу не привидятся
Во сне—такие праздники,
Не день, не два—по месяцу
Мы задавали праздники.
Свои индейки жирные,
Свои наливки сочные,
Свои актеры, музыка,
Прислуги целый полк.

Пять поваров, два пекаря,
Двух кузнецов, обойщика,
Семнадцать музыкантиков
И двадцать два охотника
Держал я... Боже мой!..
Летело время соколом,
Дышала грудь помещичья
Свободно и легко.
Во времена боярские,
В порядки древне-русские
Переносился дух.
Ни в ком противоречия:
Кого хочу—помилую,
Кого хочу—казню.
Закон—мое желание.
Кулак—моя полиция.
Удар искросыпительный,
Удар зубодробительный,
Удар скуловорррот...“

Некрасов.

Уж всходит солнце земледельца!
Забитый, он на месть не скор,
Но знай, на своего владельца
Давно уж точит он топор.

И. С. Никитин.

Крепостной человек и барская собака.

— Про барина Панкратова слыхали? — спросил ямщик своего седока.

— Слыхал. Он, говорят, очень любил животных,— ответил седок ямщику.

— Вот, вот. Удивительное дело: животную тварь любил, а людей крепостных своих тиранил. „Мне мужики хуже собак", говорил Панкратов. Ну, и верно, что он мужиков хуже собак сделал. Псарню построил. Были у него любимые десять сук. Принесут они, например, щенят, сейчас он раздает их по крепостным женщинам. Которая, понимаешь, родила ребеночка, и имеет в грудях молоко,— сейчас ей собачары помещичьи щененка, стало быть, приносят для воспитания.

Вот был у этого барина крепостной человек, Алексеем звали. Красивый да удачливый, по всей вотчине молодец первейший. И имел у себя молодую жену. Он-то красив и пригож, а она и того лучше. Вот приходит ему, Алексею, в дальний извоз иттить, а жена у него на сносях. Делать нечего. Идет он с извозом по степи. Все молчит, что туча. Вот у него другие и спрашивают:

— Ты это что же, молодец, в товарищах идешь, а с нами разговаривать не хочешь? Али нами брезгуешь?

— Нет, говорит, товарищи милые, вами я не брезгую, а то я, говорит, не весел, что дома жену оставил, а помещик у нас больно лют. Бьют, колотят, только душу не вынимают. Ну, да это все ничего, а вот что завел дурную моду — щенят женскими грудями воспитывать.

Вот и говорят те люди Алексею:

— Дураки, видно, в вашей деревне живут. Этого и закону-то, покель свет стоит, не бывало, чтобы животную тварь женским молоком воспитывать. Этого и господь не может терпеть, так может ли барский закон стать выше божьего?

— Вот и запади опять те речи Алексею. Идет с обозом, дорога под ним горит, а сам все думает: нет закону, да и нет закону. Хорошо. Приезжает, ночное дело, домой. Жена его не встречает, огня не вздувает, темно в избе, как в могиле. Входит в избу, младенец у него в зыбке плачет, а в углу щенята скучат.

— Эт-то что такое?

— А это, жена говорит, сына бог дал.

— А в углу что?

— А в углу щенята, сам понимаешь...

— Ты-то понимаешь ли сама? Я этого терпеть не могу. Давай собачат сюда.

— Взял одного в руку, другого в другую, примял, да опять положил на место.

— Ну, говорит, отвечай богу за свой грех великий, да бери младенца. Вишь, он у тебя в зыбке кричит.

А на утро нарядчики приходят, собачары:

— Анна, показывай щенят, здоровы ли они у тебя?

— Да они, мол, с чегой-то поколели.

— Как, оба?

— Оба, мол, и поколели.

— Что за причина? Ну, дело не наше, барину доложим.

А тут Алексей в избу входит:

— Что вам надо? Зачем пришли? Где закон? Ребенок в зыбке кричит, а щенята у женщины груди сосут. Прочь из избы, чтобы мне вас, собачаров, и не видать!

— А ты, Алексей, собачар ему говорит, больно-то не кричи. Не от себя пришли, барину доложим.

Ну, конечно, пошли, господину и обсказали. Что же ты думаешь: велит он сейчас тех щенят на холсты положить, как упокойников. Принесли их на холстах, ощупал.

— Убиты, говорит, злодеем твари невинные.

— И заплакал. Потом позвал собачьих поваров, велел для псарни овсянку готовить покруче. Все, бывало, так: овсянку готовили для всей псарни, ведер на сорок и более. Овсянку сготовят, станут собак кормить, а он тут же в стулу сидит, смотрит, да из своих рук подкармливает. Вот и на тот раз, сел у котла, щенят на холстах рядом положил.

— Позвать Алексея.

Пришел Алексей.

— Видишь, говорит, невинно-убиенных?

— Вижу, мол. Да что же, барин, на человека и то причина бывает, не то что на тварь животную.

— Ты им конец сделал, варвар?

— Я им конца не делал, а вот вы не по закону поступаете. Ребенок, хоть и мужицкое дите, все у бога человеческая душа считается. И должен он в зыбке лежать, а вы у бабы груди псиной пакостите... Передохни они все у вас. И то народ глуп: всех бы передавить надо.

Как он эти слова сказал, снялся, милая ты моя, барин Панкратов со стула, да ка-ак толкнет Алексея в грудь. ...Упал тот навзничь, да прямо... прямо головой-те... в котел...

Пикнуть не успел... Кинулись собачары, вытащили... Весь обварился... Пошел по собачарам шум, пошла по дворне булга. А один собачар тому Алексею брат был... Кинулся в хоромы, схватил ружье... Не стерпело холопье сердце...

В. Г. Короленко.

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.

(Времена крепостные).

Во дни царя и великого князя Ивана Васильевича жил крестьянин, именем Степан, прозвищем Безукладица. Был он крестьянин, и своей земли у него не было, а жил он на земле помещика, сына боярского Афанасья Буйносова. Порядился он с кумом, с Михайлом, прозвищем Сучко, во крестьяне у Буйносова помещика на пустошь, на деревню Воробьеву. Подмоги они взяли у помещика Афанасья Буйносова по осьмине ржи, да по осьмине овса, да по осьмине жита, и на том порядились, чтобы, живучи, им тягло всякое помещичье тянуть, и государевы подати платить, и помещику хлебный оброк всякий платить, и изделье помещичье всякое делать.

На том Безукладица и Сучок порядились и стали у помещика на деревне жить. Год живут и другой, и третий... И привязалось тут к ним горе-злосчастное, привязалось и никак от них не отстает.

По всей Руси хлеб не родился, и был год весьма скуден и скорбен; и во многих волостях и весях люди разошлись Христовым именем питаться, а которые остались, те от голода ослабели, и иные из них умирали голодною горькою смертью... А потом нашла на людей хворь—лихое поветрие. И от того хлебного недорода и от лихого того поветрия запустели города, и села, и деревни, и малые починки, запустела и деревня Воробьевка: Сучка Михалки и жены его в животе не стало, и стоит его изба заколочена, малые сиротки кричмя-кричат, горькими слезами разливаются.

Шум и гам стоит на улице сельца Юрьевца: собрались туда мужики со всей волости; тут и Федя Густень и

Трепка Гостев, Третьяк Епифанов и Шумило, Тимофеев сын, и Данилко Мураш и Неклюдко мельник, тут и земский староста, и окладчики, что сидят на мирском размете, государевы подати промеж мужиков разметывают, указывают, кому сколько платить в государеву казну. Шум и гам стоит на улице и пуще всех кричит Безукладица: за великую, видишь, ему обиду стало, что указал ему староста за других платить.

„Отощали,—кричит,—обнищали мы и от недороду, и от поветрия, и от насильства, и от податей, и оттого платить с пуста нам немочно". Шумит Степан, кричит Степан, да староста его не слушает: „Не мое, говорит, это дело. Безо всякой пощады и понаровки мне подати государевы собирать указано, все сполна без недобору. А тягло несем мы всем миром, друг за друга его тянем; тебя, Степан, не станет, и за тебя тягло потянем".

Идет Степан домой, повеся голову: ползет у него все хозяйство вкривь да вкось; наготы, босоты изувешены у него шесты; холоду, голоду амбары полны; не с чего ему государево тягло тянуть...

По весне становилось лето красное, по красном лете осень богатая, а там зима идет. Прошла зима, Юрьев день идет... Чует сердце мужика себе свободушку, знает он, когда наступит Юрьев день,—иди куда хочешь только с помещиком расплатись.

Так и тянет Степана свое старое житье бросить, опостылела ему жизнь у помещик Буйносова: совсем его с ног свалили беды да напасти; уйти бы ему куда на новое место, авось горе-злосчастное от него отвяжется.

Поутру раным-ранехонько, по всходе красного солнышка, встал Степан, вскочил, встряхнулся, встрепенулся и пошел к помещику Буйносову во двор отказываться.

Буйносов в ту пору дома случился, на крыльце стоял. Увидал он Безукладицу, догадался: „Здорово, говорит, Степанушка. Аль отказываться пришел?". Стоит Степан молчит, а Буйносов ему слова так и нижет, так и нижет.

— А помнишь говорит он, как ты родился-то? Как осьмину взял ты ржи, да овса осьмину, да осьмину жита?

Не отдал ты, Степанушка, а есть ли тебе, Степанушка, чем пожилое заплатить?

Так и нижет слова Буйносов, а Степан стоит, помалкивает. Видит Степан, не уйти ему,—привязала его к Буйносову нужда тяжкая, горе горькое... И думает:

„Вот тебе, бабушка, и Юрьев день“.

Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил.

Жили-были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове.

Проснулись—и видят: оба под одним одеялом лежат.

Да вдруг как вскочат.

— Господи! Да что же это такое? Где мы?—воскликнули оба не своим голосом.

И стали друг-друга ощупывать, точно ли не во сне, а на яву с ними случилась такая штука.

Перед ними с одной стороны расстилалось море, с другой стороны лежал небольшой клочок земли, за которым стлалось все то же безграничное море. Заплакали генералы.

Поникли головами. Все, на что бы они не обратили взоры, все свидетельствовало о беде. Как они ни старались отгонять представления о бифштексах, но представления эти пробивали себе путь насильственным образом.

И вдруг одного генерала озарило вдохновение...

— А что, ваше превосходительство,—сказал он радостно,—если бы нам найти мужика?

— То есть как же... мужика?

— Ну, да, просто мужика... какие обыкновенно бывают мужики! Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков наловил, и рыбы!

— Гм... Мужика... но где же его взять, этого мужика, когда его нет?

— Как нет мужика? Мужик везде есть,—стоит только поискать его! Наверно, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает!

Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили, как встрепанные, и пустились отыскивать мужика.

Долго они бродили по острову без всякого успеха, но, наконец, острый запах мякинного хлеба и кислой овчины навел их на след. Под деревом, брюхом кверху и положив под голову кулак, спал громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от работы. Негодованию генералов предела не было.

— Спишь, лежебока!—накинулись они на него:—небось, и ухом не ведешь, что тут два генерала вторые сутки с голоду умирают! Сейчас марш работать!

Встал мужичина: видит, что генералы строгие. Хотел было дать от них стречка, но они так и закоченели, вцепившись в него.

И зачал мужик действовать.

Полез сперва-на-перво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблок, а себе взял одно кислое. Потом покопался в земле и добыл оттуда картофелю; потом взял два куска дерева, потер друг о дружку и извлек огонь. Потом из собственных волос сделал силок и поймал рябчика. Наконец, развел огонь и напек столько разной провизии, что генералам пришло даже на мысль: не дать ли тунеядцу частичку?

Смотрели генералы на эти мужицкие старания, и сердца у них весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть не умерли с голоду, а думали: „Вот как оно хорошо быть генералом—нигде не пропадешь!“

Прошел день, прошел другой; мужичина до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить. Сделались наши генералы веселые, рыхлые, сытые, белые.

Долго ли, коротко ли, однако генералы соскучились... и начали нудить мужика: представь да представь их домой в Петербург.

И начал мужик на бобах разводить, как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его, тунеядца,

жаловали и мужицким его трудом не гнушались. И выстроил он корабль не корабль, а такую посудину, что можно было океан-море переплыть вплоть до самого Петербурга.

Набрал мужик пуху лебяжьего, мягкого, и устлал им дно лодочки. Устлавши, уложил на дно генералов и, перекрестившись, поплыл. Сколько набрались страху генералы во время пути от бурь и ветров разных, сколько они ругали мужичину за его тунеядство—этого ни пером описать, ни в сказке сказать. А мужик все гребет да гребет, да кормит генералов селедками.

Вот, наконец, и Нева-матушка, вот и Екатерининский славный канал, вот и Большая Подъяческая! Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег-пенсии загребли—того ни в сказке сказать, ни пером описать!

Однако, и об мужике не забыли: выслали ему рюмку водки да пятак серебра—веселись, мужичина!

Один с сошкой, семеро с ложкой.

Назови мне такую обитель...

Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал!
Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках, на железной цепи.
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой, ночуя в степи;
Стонет в собственном бедном домишке,
Свету божьего солнца не рад;
Стонет в каждом глухом городишке,
У подъездов судов и палат.
Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется—
То бурлаки идут бичевой!..
Волга! Волга! Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля!
Где народ, там и стон... Эх, сердечный!
Что же значит твой стон бесконечный?
Ты проснешься ль исполненный сил,
Иль, судеб повинуясь закону,
Все, что мог, ты уже совершил,—
Создал песню, подобную стону,
И духовно на веки почил?

Н. Некрасов.

ЧЕЙ САД?

Пришлось мне побывать в Тамбовской губернии.

Попал в деревню на сход.

Возле старенькой церкви собрались крестьяне.

Пришла барыня, соседняя помещица, стала плакаться.

— Вот, старики, обираете вы меня — весь сад ваши ребята да бабы оборвали, яблочка покушать не оставили. А за что? За что вы меня мучаете, тираните?

— Знамо, нехорошо, — загудели старики, — это ни к чему.

— Ну, вот, вот, как же можно. Вот, говорят, сад теперь не мой... Да как же не мой? Кто же о нем заботился? Кто его хранил? Бывало, и веточку подвяжу, и червяка сниму, и все думаю, все думаю о саде, голова разболится, просто от бессонницы пропала. Нет, он мой, мой сад. Никто не смеет отнять его у меня. Никого не послушаюсь.

— Знамо, забота, — послышалось в толпе, — каждое утро видим, как кофею попьешь, зараз в сад. Забота твоя, а мы, бывало, деревья окапывали, во наломаешься, по полтиннику с рыла, насилу к вечеру до избы доползешь.

— Чего ж вы хотите, старики, ведь я и лопаты не подыму.

— Куда тебе? Не сдюжаешь... — послышалось кругом, — у тебя, чай, мозоли не растут на руках.

— Ну, вот. А вы говорите, — сад не мой.

— А как мы по осени яблоки сымаем, — голосисто закричала солдатка Матрена, — на лестнице тянешься-тянешься до веток за пятнадцать копеек в день.

— Господи! — закричала барыня, — да я и на лестницу не подымусь. А вот все-таки сад мой. Ведь я каждое деревцо знаю, как сына своего родного.

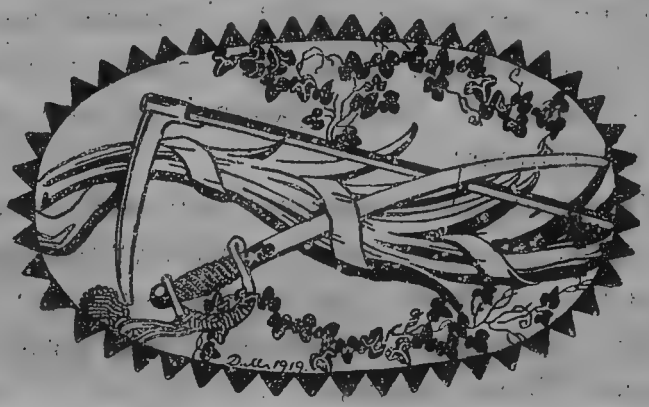
Вышел из толпы дед Созонт, старый, борода белая, согнулся. Подвигал заросшим волосатым ртом и сказал, глядя на барыню слезящимися глазами:

— Слышь, барыня, дедушка-то твой, упокойничек, царство небесное... Бывалыча, сам везде, — не то што там управляющего али прикащика, везде сам, ну суетный был, ну заботливый...

— В него, стало, барыня-то наша,—послышалось из толпы.

— Сад этот самый садил своими руками, никому не доверял. Бывалыча, выгонит нас староста, — крепостными были мы-то у него, я парнем о ту пору был, — выгонит нас, поставят человек тридцать ямы рыть под яблоньки, сажать, стало-быть, древа; ну роем, а дедушка твой ходит взад-вперед и плеть у него. Зараз обмеряет яму, мало, не дорыл, — „становись, такой-сякой, на корачки“. Ну, куда же деваться, станешь на корачки, он и зачнет охаживать плетью, и зачнет охаживать, все портки плетью сымет, один голый зад. Да, и все сам. Не то штоб там на конюшню отослать, штоб отпороли, а собственноручно, — трудолюбивый был.

А. Серафимович.



В БАТРАКИ.

В марте месяце приехал к нам Созонт Максимович Шаров, скотопромышленник и богатый человек из Мокрых Выселок.

— Хозяин дома? - постучал он в двери и вошел в избу.

Созонт Максимович сказал отцу:

— Я насчет должку, Лаврентьич. С тебя там что приходится?

— Четыре пятишницы,—кряхтит отец.

— Пеньку не измял еще? — Шаров зевает, крестя рот. Ему надо узнать, цела ли у нас пенька, которая обещана за долг. А отец продал ее, не мявши, еще осенью, и отвиливает.

— Кабы достатки,—говорит моя мать,—весной-то по три рубля шла, а то по два с четью ухайдакали.

— Разве с бабами сговоришь?—кричит отец.—Прода-ай, продай. Подати, Христово Рождество-о, говорят. Черти драные. Так и продал.

— Значит, та-ак,—гладит бороду Шаров.—Поторопились. Слушай, Лаврентьич, у тебя мальчонка-то пустопорожний, а? Отдай-ка, братец, в пастушонки, правое слово. Денег-то, чай, в доме мало—самому нужны, а я в цене не обижу...

Отец смотрит на меня и говорит:

— Денег, Созонушка, если по правде, совсем нету ни гроша.

— То-то вот и дело,—разводит руками гость.

Отец вздохнул:

— Уж, видно, тому делу быть.

А через неделю мать уложила мне в мешок две смены рубах, суконные онучи, дала теплые варежки и, благословив, заплакала.

— Слушайся, детенычек, хозяина, не озоруй,—причитала она.

— С этаких-то пор—в чужие люди.

И. В. Вольнов.

В чужих людях.

Была молотьба. В час или два ночи нас разбудил хозяин, отправив сзывать народ на помочь. На гумне, с фонарями в руках, уже копались машинист с работниками, прилаживая привод молотилки.

— Стучите всем соседям под ряд, — крикнул нам хозяин. — Вина, мол, много будет. А кто не пойдет или ругаться станет, мне скажите.

Машинист взялся за ремень. Барабан зашелестел, захлопал подшипниками, лошади дернули и попятились, скрипя водилами.

За столом, в обед, Созонт Максимыч обносил всех вином. Зиновея, соседка, крикнула:

— Максимыч, не давай Петьке (молодому работнику) вина: он пьяный нехорош.

Машинист сказал:

— Дай, дай ему, Созонт Максимович, чибарушечку, пускай промочит глотку.

С возней и песнями шла работа после обеда. Гумно уставилось лохматыми ометами свежей соломы.

— Эй, бабы, живее! Эй, девки, проворнее!—покрикивал машинист.

И вдруг ужаснейший, животный крик прорезал воздух:

— Ма-ама...

Все сразу выпрямились и замерли. Лошади испуганно шарахнулись и понеслись.

А с круга снова:

— Ма-ма-а...

Мужики, как дикие, метнулись к приводу. Машинист, схватив неразвязанный сноп, со всей силой ткнул его гузовкой в визжащий барабан.

Работник Петрушка, с искаженным от страха лицом, дергал ногой, стараясь вытащить размотавшуюся онучу из шестерни молотилки. Лошади храпя рванули во второй раз, а Петруша закружился и замахал руками. Машинист со снопом подбежал к жужжащему маховику, прижимая его к ободу. Сорвавшийся ремень ударил машиниста кромкой по лицу, и он как цыпленок отлетел к те-

легам. Послышался отвратительный вой барабана, как соринку, проглотившего сноп, и последний отчаянный вопль падавшего на веретено товарища.

Кругом выли бабы, бестолково бегая по току; у веретена же, раскинув руки, в луже свежей, густой крови, белый, как мел, лежал мой товарищ Петя, с оторванной по колено ногою...

В кутнике, на пучке соломы, покрытой рядном, окруженный толпою заплаканных баб, лежал Петя в забытьи.

Неожиданно Петя застонал. Все насторожились и притихли. Петя медленно открыл глаза.

— Во-дицы,—чуть слышно прошептал он, облизывая синие, потрескавшиеся губы. Напившись, пролежал несколько минут не шевелясь, потом опять открыл глаза и слабо, робко, виновато улыбнулся. Увидев свою мать, тоскливо застонал, забился, протянул к ней руки:

— Мамочка... Мамуля...

Тонкопряха, мать Пети, молча поцеловала его руку, пригладила волосы, смахнула выступивший на лице пот.

— Бежала, небось... притомилась... Больно мне, родная... Ох, как больно...

— Лежи смирно, детка,—подошла Федосья Китовна.—Не разговаривай.

Петя опять тихо улыбнулся.

— Ваня... Васе Пазухину... поклон от меня... передай... Скажи--горе вышло... сплоховался я...Обойми меня в последний раз...

Петя дотронулся ледяными пальцами до Ваниной щеки, погладил ее, хотел улыбнуться, но губы его задрожали и из-под ресниц, как две жемчужины, скатились светлые слезинки.

— При... ди... ко мне... когда-нибудь на кладбище... Не плачь... мне хорошо... не плачь... не плачь...

Всю ночь и следующий день Петруша то терял сознание, то плакал, то кричал, метаясь по постели. Остановившаяся-было кровь опять прорвала пленку и засочилась—водянистая, липкая, похожая на сыворотку. Перед заходом солнца он примолкнул, будто уснул, но не успели отойти от него, как Петя широко открыл глаза, полуприподнявшись и вцепившись восковыми пальцами в рядно, протяжно застонал:

— Ох, тошно... Тошно. Ваня, мама. Ох то-ошно мне...

Схватив себя за шею, опрокинулся навзничь и медленно стал дергаться в предсмертной муке...

Спускалась ночь. Выл ветер. Ветка ивы надоедливо царапала стекло...

Ив. Вольнов.

Сон бедняка.

Милый, проснись... Я с дурными вестями.
Власти наехали в наше село,
Требуют подати,—время пришло...
Как разбужу его? Что будет с нами?..
Встань, мой кормилец, родной мой, пора.
Подать в селе собирают с утра.

* * *

Ах, не к добру ты заспался так долго.
Видишь, уж день... Все до нитки, чуть свет,
В доме соседа, на старости лет,
Взяли в зачет неоплатного долга...
Встань, мой кормилец, родной мой, пора.
Подать в селе собирают с утра.

* * *

Слышишь: ворота никак заскрипели.
Он на дворе уж... Проси у него
Сроку хоть месяц... хоть месяц всего.
Ах, если б ждать эти люди умели!..
Встань, мой кормилец, родной мой, пора.
Подать в селе собирают с утра.

* * *

Бедные. Бедные. Весь наш излишек—
Мужа лопата да прялка жены;
Жить ими, подать платить мы должны
И прокормить шестерых ребятишек....
Встань, мой кормилец, родной мой, пора.
Подать в селе собирают с утра.

* *
*

Нет ничего у нас. Раньше все взято.
Даже с кормилицы—нивы родной,
Вспаханной горькою нашей нуждой,
Собран весь хлеб для корысти проклятой.
Встань, мой кормилец, родной мой, пора.
Подать в селе собирают с утра.

* *
*

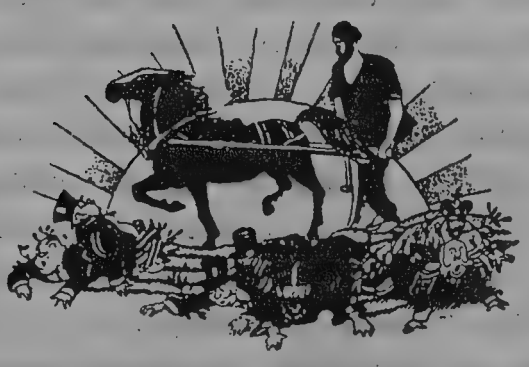
. . . . . .

Господи! Входят... Но ты без участья
Смотришь... Ты бледен... Как страшен твой взор!
Боже! Не даром стонал он вечор,—
Он не стонал весь свой век от несчастья.
Встань, мой кормилец, родной мой, пора.
Подать в селе собирают с утра.

* *
*

Бедная. Спит он, и сон его кроток.
Смерть—для того, кто нуждой удручен,—
Первый спокойный и радостный сон.
Братья, молитесь за мать и сироток...
Встань, мой кормилец, родной мой, пора.
Подать в селе собирают с утра.

Беранже.



„ФАБРИЧНЫЙ“.

Петька, выросший на задворках пролетарских окраин, очень смутно вспоминал свою родину.

С четырехлетнего возраста мать его—старая прачка—брала с собой помогать полоскать белье на речке, развозить к заказчикам и за это одевала Петьку в старые сапоги, ношенное платьишко и старый, с чужой головы, картуз.

После смерти матери сердобольными жильцами Петька был отдан учиться грамоте. Помнит Петька, как однажды в зимний вечер, когда он на корточках у железной печки одолевал заданные уроки, в комнату вошла Анисья—старая торговка булками, и сказала ему:

— Ну, Петька, бросай свои книги, нечего баклуши-то зря бить, собирайся завтра на фабрику!

Утром аккуратная тетка Анисья в первый раз не разносила своим покупателям горячих булок и, завернувшись в старый темный платок, повела Петьку на фабрику.

Утро было морозное, но ясное. В небесах еще золотились звездочки. Петька, в худом и рваном платьишке, покорно, как собака, бежал сзади за озябшей Анисьей.

У ворот кирпичного здания Анисья остановилась, взяла Петьку за руку и, поднявшись на каменное крыльцо, отворила дверь и вошла в контору.

В конторе за зелеными столами звонко щелкали на счетах конторщики. В самом углу конторы, за отдельным столом, сидел сам хозяин—толстый старик с большою белою бородою и с острыми маленькими глазами.

Анисья, застывшая на минуту, очнулась, выставила Петьку вперед и, подойдя к первому столу, с поклоном обратилась с просьбой о Петьке.

Старый конторщик, не отрываясь от работы, смерил Петьку испытующим взглядом и отрывисто произнес:

— Взять-то можно, да маловат еще...

— Иван Афанасьевич,—обратился он к хозяину,—ведь нам мальчики-то нужны, а она тут просит.

Старик-хозяин заворочался на кресле, поправляя золотые очки на носу, и, впиваясь в оробевшего Петьку глазами, резко спросил:

— А годов сколько?

— Десятый пошел уже, кормилец,—кланяясь, ответила Анисья.

— Нельзя, не проси, двенадцати нет... по фабричным законам нельзя...

Анисья вздрогнула испуганно и еще униженнее стала просить о Петьке, заставляя его упасть в ноги хозяину, но конторщик настаивал:

— Вы, Иван Афанасьевич, не беспокойтесь за лета, двенадцать мы ему сделаем, не впервой, а мальчонка здоровый.

Хозяин ухмыльнулся и, погрозив толстым пальцем Петьке, сказал, обращаясь к Анисье:

— Встань, старуха, пускай остается. Алексеич, сведи-ка его!

К Петьке подошел старый конторщик, толкнул его к Анисье:

— Прощайся с теткой и пойдем.

Петька, словно онемелый, подошел к Анисье.

Она поцеловала его, обняла в последний раз и, дав тихонько в руки медный пятак, быстро удалилась из конторы. Только когда она ушла, Петька почувствовал себя одиноким, и ему стало грустно.

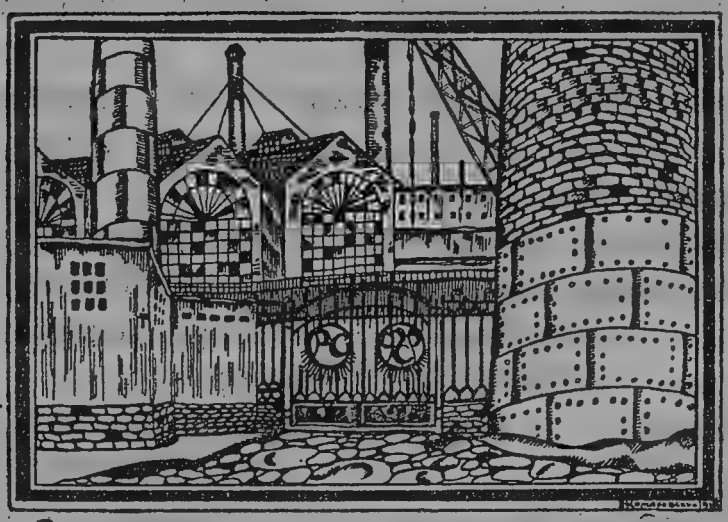
Петька, глухо вздрагивая, с плачем пошел за Алексеичем. Идя по коридору, Петька чувствовал, как что-то грохочущее, гремящее и тяжелое приближается к нему, как поезд, и не успел он опомниться, как тысячи звуков оглушили его.

Кругом стучали, визжали, свистели какие-то машины, глухо ворочая стальными рычагами.

Кверху протягивался целый дождь ремней, которые, ударяясь, всплескивали и скользили, как змеи.

Алексеич подошел к седому рабочему в кожаном фартуке и, отдавая ему Петьку, строго произнес:

— Возьми мальчонка-то, да не порти! Потачки-то ему не давай!



Граф Строганов и рабочий Демид.

Завод капиталиста.

Уж давно в лощине среди гор завод на Урале дымил. Работали в нем по двенадцати, по пятнадцати, по восемнадцати часов в сутки. И не знали ни отдыху, ни сроку. Не знали, что есть Москва, Питер, что там тоже дымят трубы заводов и работают, не покладая рук.

Такой жизнью жил и Демид Векшин.

Здоровенный был парень — пермский медведь. Получал в обрез—только-только жить. Ходил грязно, в лохмотьях. И об одном только думал Демид: как проработать, чтобы заслужить к старости пенсию. Видел он стариков, которые издыхали под плетнями, как облезлые кобели.

Чужим трудом живет.

Хорошо жил хозяин завода граф Строганов. Благородно, чисто и по-ученому.

Когда, бывало, пиры задавал, — а задавал он их, почитай, каждый день—чего, чего только не было на блистающем серебром и хрусталем столе! Разве что птичьего молока, да и то, говорят, было.

Сядут вокруг стола гости в шелках, в кружевах, в бархате. А перед каждым прибор, а на приборе для каждого золотой подарок в несколько тысяч рублей.

А попы и архиереи в шелковых рясах, с осыпанными бриллиантами крестами, благословляют питья и яства, чтоб легче проходило в утробу.

Вот она, жизнь-то рабочего.

Женился Демид. Пошли дети. Жена и дети, так же как и он, ходили во вшах и лохмотьях.

А тут пришло горе. За пятнадцать лет прогулял он один день, и за этот прогул вычли из срока на пенсию все его пят-

надцатилетие. Хлопнул об полы руками, избил жену, разогнал детей, да никуда не денешься. Опять запрегся в хомут. Опять потянул лямку на тридцать лет, чтоб под старость не сдохнуть под плетнем.

Да оно и то сказать, до старости мало кто и доживал—все раньше сдыхали: лет тридцать пять—сорок стукнет, и протягивай ноги. Завод шутить не любит. Впрочем, податься некуда, кругом Демида стеной стояли: урядники, становой пристав, исправник, губернатор.

Так туго, так туго Демиду, что и не сказать. Да привык, тянет лямку, нагнув голову, глядя в землю.

Но заводские ребята иной раз зашумят, забунтуют, выбьют окна в конторе, а то и к директорскому дому подступят.

Демид, нагнувшись, тянет лямку, не прерывая, и рычит по-медвежьи:

— Ну, чего расходились? Все одно, один конец. Пригонят казаков и всыплют. А тут тянешь, тянешь, хоть бы дотянуть до пенсии...

И верно: приходят казаки и всыпают всласть. И опять все, как быки, тянут постылую жизнь, глядя в землю.

Раз только граф Строганов заглянул на свой завод; все по заграницам ездил, а заводом правил директор и управляющий. Но раз собрался и приехал с губернатором.

Батюшки, как засуетились на заводе! Выскребли, вычистили, посыпали песком, рабочим велели надеть чистые рубахи, головы причесать и помазать салом. Чисты-то чистые надели; да они сейчас же хлюща хлющей от пота обвисли, а сало потекло с волос—жарища на заводе.

Демид, замирая, ждал графа. Вот приедет, скажет: воротить Демиду пятнадцать годов в счет пенсии, что за совесть работал. Граф вошел на минутку с губернатором, морщась от жары, и сейчас же вышел и уехал.

Улыбнулись Демидовы пятнадцать годов...

И опять пошли год за годом. Двадцать пять лет отбарабанил сызнова на пенсию, осталось пяток годков. „Как-нибудь дотяну".

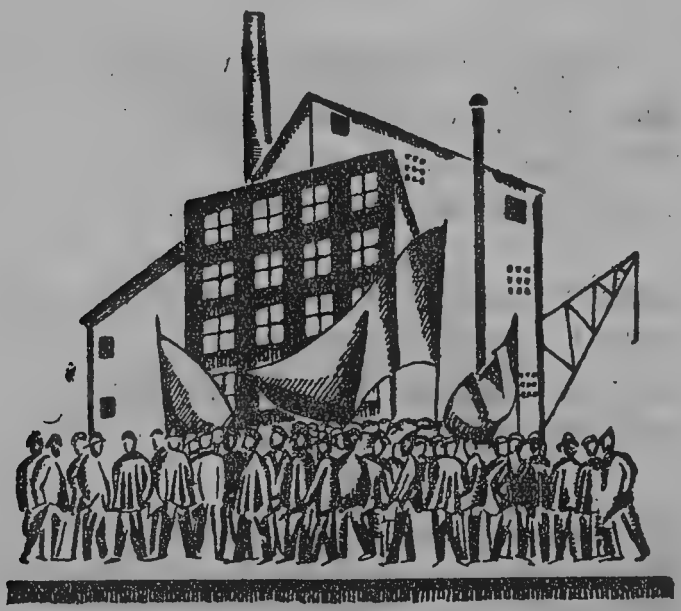
А старость тут как тут. Она и медведя сломит. Ноги слабей стали. Тяжело нес тигель с расплавленным металлом, споткнулся, плеснуло на него светящейся жижей и выжгло всю грудь и живот.

Стал на его место старший сын—и опять то же, опять потянулись сумрачные годы.

Э-эх... Да оступился однажды сын Демида—попал в турбину, измолотило его и выбросило красный кусище мяса с обрывками одежды.

Пришла старуха за сына, за мужа просить пенсию. Вместе их работа была шестьдесят два года. Голова у старухи трясется, сама от ветра качается. Полезли в конторе в книги, щелкнули счетами,—выдали ей пенсии рубль семьдесят пять копеек на год.

Поклонилась, взяла и ушла, тряся головой... А старшего сына заступил младший Иван.



При своем безмерном стремлении к наживе, при своей волчьей жадности к барышам, капиталист лишает рабочего воздуха, солнечного света, сна. Капиталист не заботится о жизни рабочего. Он стремится заставить рабочего побольше работать. И он достигает этой цели, сокращая жизнь рабочего, как хищный сельский хозяин, добиваясь побольше доходов от своей земли, истощает плодородие почвы.

(МАРКС).

Орина, мать солдатская.

— Восемь лет сынка не видела,
Жив ли, нет—не откликается,
Уж и свидеться не чаяла,
Вдруг сыночек возвращается.

Вышло молодцу в бессрочные...
Истопила жарко банюшку,
Напекла блинов Оринушка,
Не насмотрится на Ванюшку.

Да не долги были радости:
Воротился сын больнехонек,
Ночью кашель бьет солдатика,
Белый плат в крови мокрехонек.

Говорит: „Поправлюсь, матушка“,
Да ошибся —не поправился,
Девять дней хворал Иванушка,
На десятый день преставился...

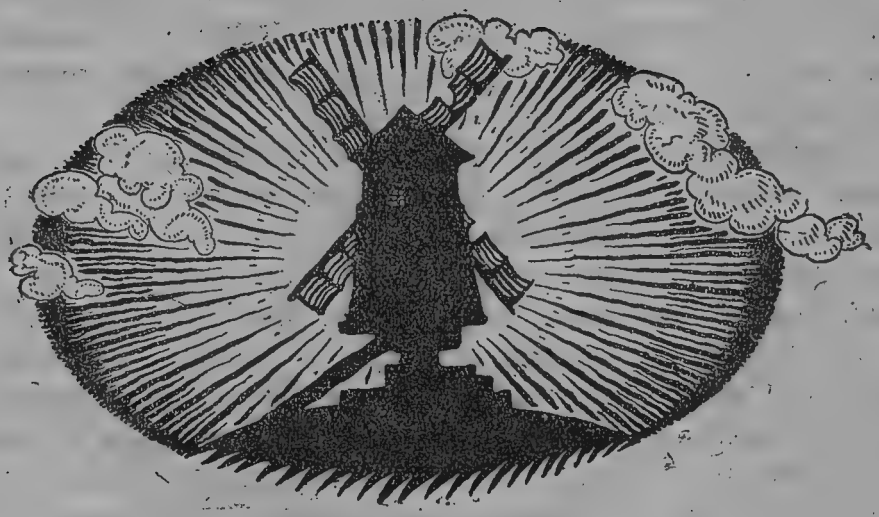
Замолчала—не прибавила
Ни словечка, бесталанная.
— Да с чего же привязалася
К парню хворость окаянная?

— Хилый, что ли, был с рождения?
Встрепенулася Оринушка:
Богатырского сложения,
Здоровенный был детинушка.

Страшно в эту ночь последнюю
Было: память потерялася,
Все ему перед кончиною
Служба эта представлялася.

И погас он, словно свеченька
Восковая, пред-иконная...
Мало слов, а горя реченька,
Горя реченька бездонная...

Н. Некрасов.



ПОРКА.

(Из жизни старой армии).

К батальонному командиру подбежал сбоку фельдфебель и вполголоса доложил:

— Ваше высокоблагородие, ведут этого самого татарченка.

Все обернулись назад. Живой четырехугольник вдруг зашевелился без всякой команды и затих. Офицеры поспешно пошли к ротам, застегивая на ходу перчатки.

Байгузину—солдату приказали раздеться. Татарин не сразу понял, и только когда ему повторили еще раз и показали знаками, что надо делать, он медленно, неумелыми движениями расстегнул шинель и мундир.

Татарин стал снимать шинель, но делал это очень медленно, так что выскочившие люди принуждены были помочь ему. Некоторое время он колебался, не зная, что делать с этой шинелью, наконец, постлал ее аккуратно на землю и начал раздеваться. Тело у него было черное и до страшного худое.

Татарин стоял неподвижно. Он не понимал, за что его хотят сечь. Хлопотавшие вокруг него солдаты стали ему показывать, что надо ложиться. Он медленно, неловко опустился на колени, касаясь руками земли, и лег на разостланную шинель. Один солдат, присев на корточки, стал держать его голову, другой сел ему на ноги. Третий, унтер-офицер, стал в стороне, чтобы считать удары. На земле у ног остальных двух, которые стали по бокам Байгузина, лежали связки красных гибких прутьев.

Батальонный командир кивнул головою, и барабанщик громко и часто забил дробь. Два солдата, стоявшие по бокам Байгузина, нерешительно глядели друг на друга; ни один из них не хотел нанести первый удара. Унтер-офицер подошел к ним и что-то сказал... Раз! Тогда стоявший по правую сторону, стиснув зубы, сделал ожесточенное лицо, взмахнул быстро розгами и так же быстро опустил их, нагнувшись всем телом вперед. Татарин слабо, точно удивленно, вскрикнул. Унтер-офицер скомандовал „два“. Стоявший слева солдат так же быстро взмах-

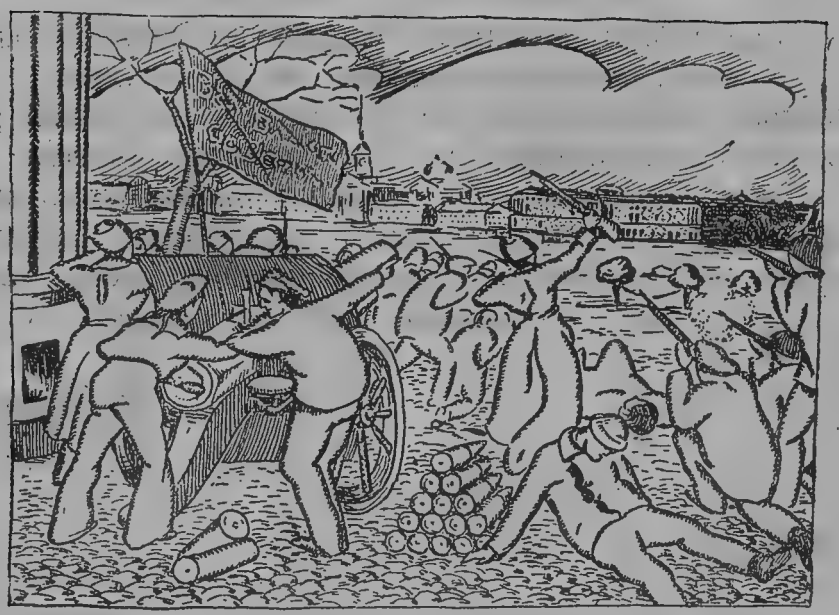
нул розгами и нагнулся. Татарин опять закричал, на этот раз громче, и в голосе отозвалось страдание истязуемого молодого тела.

Сто ударов были отсчитаны, барабанщик перестал бить, и вокруг Байгузина опять закопошились те же солдатики.

Четырехугольник дрогнул, и его серые стены начали расходиться. Офицеры шли вместе все к казарменным воротам.

— Що-ж,—говорил рыжий офицер в капоте, делая руками широкие, несуразные жесты, — разве это называется выдрать? У нас в бурсе, когда драли, так раньше розги в уксусе выпаривали... Отдали б мне того татарина, я б ему показал. А то не дерут, а щекочут.

А. Куприн.



Взятие Зимнего дворца.

Из окон Зимнего дворца
Глядели грозно пулеметы.
От пляски пьяного свинца
Редели огненные роты.

В дыму смеялся алый цвет
Знамен, простреленных врагами,
И на камнях багряный след
Застыл, затоптанный ногами.

Темнело. Ухали с Невы
Орудья с крейсера „Авроры“.
С бездонной неба синевы
Глядели звезд червонных взоры.

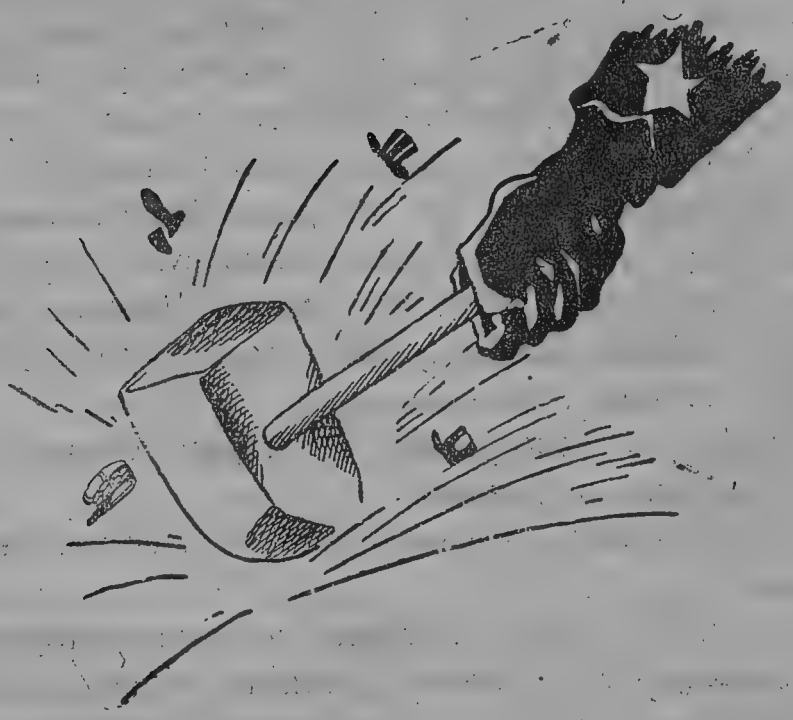
Матросы, гордые орлы,
Дворец в тисках железных сжали,
Винтовок черные стволы
По окнам грозным направляли.

И славный „смерти батальон“
В смятеньи прятался, метался,
Когда дворец со всех сторон
Кольцом пурпурным замыкался.

Враги, сраженные свинцом,
У пулеметных лент застыли,
Бойцы с сияющим лицом
По царским лестницам входили.

И перепуганных вождей
Они нашли в светлице царской,
И пал дворец под гром мечей
И стал он храмом пролетарским.

Н. С. Тихонов.



На царской службе.

В ротной школе занимались „словесностью“. В тесной комнате, на скамейках, составленных четыреугольником, сидели лицами внутрь солдаты третьего взвода. В середине этого четыреугольника ходил взад и вперед ефрейтор Сероштан. Рядом, в таком же четыреугольнике, так же ходил взад и вперед унтер-офицер полуроты—Шаповаленко.

— Бондаренко!—выкрикнул зычным голосом Сероштан.

Бондаренко, ударившись обеими ногами об пол, вскочил прямо и быстро, как деревянная кукла с заводом.

— Если ты, примерно, Бондаренко, стоишь у строю с ружьем, а к тебе подходит начальство и спрашивает: „Что у тебя в руках, Бондаренко“. Что ты должен отвечать?

— Ружо, дяденька,—догадывается Бондаренко.

— Брешешь. Разве же это ружо? Ты бы еще сказал по-деревенски: ружница. То дома было ружо, а на службе зовется просто: малокалиберная, скорострельная, пехотная винтовка, системы Бердана, номер второй, со скользящим затвором. Повтори, сукин сын.

Бондаренко скороговоркой повторяет слова, которые он знал, конечно, и раньше.

— Теперь скажи, Овечкин: кого мы называем врагами унешними?

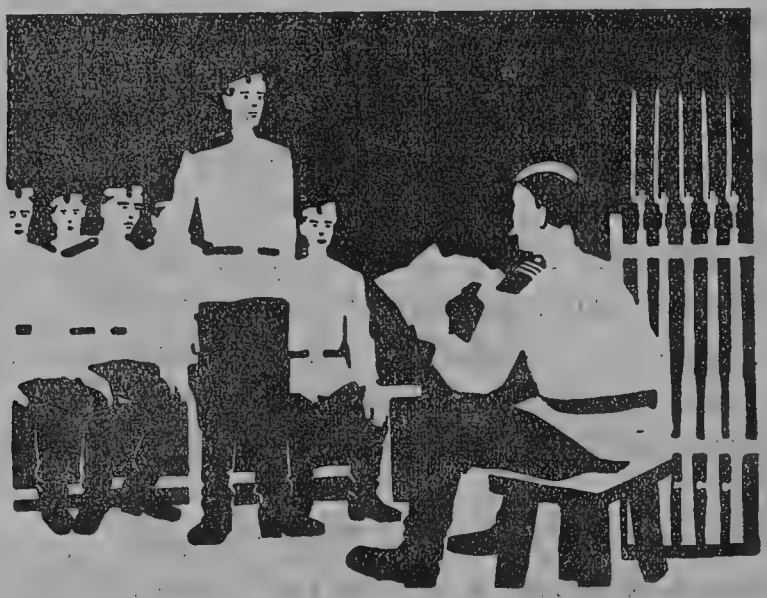
Разбитной орловец Овечкин, в голосе которого слышится слащавая скороговорка бывшего мелочного приказчика, отвечает быстро и щеголевато, захлебываясь от удовольствия:

— Внешними врагами мы называем все те самые государствия, с которыми нам приходится вести войну. Француэы, немцы, атальянцы, турки, европейцы, инди...

— Годи,—обрывает его Сероштан: этого уж в уставе не значится.

А теперь скажет мне... Архипов. Кого мы называем врагами у-ну-трен-ни-ми?.

Последние слова он произносит особенно громко и веско, точно подчеркивая их, и бросает многозначительный взгляд в сторону вольноопределяющегося Маркусона.



Неуклюжий, рябой Архипов упорно молчит, глядя в окно ротной школы. Дельный, умный и ловкий парень вне службы, он держит себя на занятиях совершенным идиотом. Очевидно, это происходит потому, что его здоровый ум, привыкший наблюдать и обдумывать простые и ясные явления деревенского обихода, никак не может уловить связи между преподаваемой ему словесностью и действительной жизнью. Поэтому он не понимает и не может заучить самых простых вещей, к великому удивлению и негодованию своего взводного начальника.

— Н-ну. Долго я тебя ждать, пока ты соберешься?— начинает сердиться Сероштан.

— Нутренними врагами... врагами...

— Не знаешь!—грозно воскликнул Сероштан и двинулся-было на Архипова, но, покосившись на офицера, только затряс головой и сделал Архипову страшные глаза.

—Ну, слухай. Унутренними врагами мы называем усех, сопротивляющихся закону. Например, кого...

Он встречает искательные глаза Овечкина.

— Скажи хоть ты, Овечкин.

Овечкин вскакивает и радостно кричит:

— Так что бунтовщики, студенты, жиды и поляки!

— А для чего ты поставлен на пост, Пахоруков?

— Чтобы не спал, не дремал, не курил и ни от кого не принимал никаких вещей и подарков.

— А честь?

— И чтобы отдавать установленную честь господам проезжающим офицерам.

— Так, садись.

— Хлебников! Кто у нас командир корпуса?

Хлебников растерянными глазами глядит на унтер-офицера. Из его раскрытого рта вырывается, точно у осипшей вороны, одинокий шипящий звук.

— Раскачивайся!—злобно кричит на него унтер-офицер.

— Его...

— Ну, его... Ну, что же будет дальше?

Ромашов, который в эту минуту отвернулся в сторону, слышит, как Шаповаленко прибавляет пониженным тоном, хрипло:

— Вот погоди, я тебе после ученья-то разглажу морду-то.

И так как Ромашов в эту секунду поворачивается к нему, он произносит громко и равнодушно:

— Его высокопревосходительство... Ну, что же ты, Хлебников, дальше!

— Его... инфантерия... лентинант,—испуганно и отрывисто бормочет Хлебников.

— А-а-а,—хрипит, стиснув зубы, Шаповаленко.

— Ну, что с тобой, Хлебников, буду делать! Бьюсь, бьюсь я с тобой, а ты совсем, как верблюд, только рогов у тебя нема. Никакого старанья. Стой так до конца словесности столбом. А после обеда явишься ко мне, буду отдельно с тобой заниматься...

А. Куприн.

Ученье в царской армии.

— „Всяк солдат слуга престола
И защитник от врагов“...
Повтори! Молчишь, фефела?
Не упомнишь восемь слов?
Ну, к отхожему дневальным
После ужина в наряд...
Махин тоном погребальным
Отвечает: „Виноват!“
—„Ну-ка, кто у вас бригадный?“—
Дальше унтер говорит
И, как ястреб кровожадный,
Все глазами шевелит.
—„Что молчишь? Собачья морда,
Простокваша, идиот!
Ну, так помни, помни ж твердо!“
И рукою в ухо бьет.
Что же Махин? Слезы льются,
Тихо тянет: „Виноват!“
Весь дрожит, колена гнутся
И предательски дрожат...
„Всех солдат почетно званье,
Пост ли... знамя... караул...
Махин! Чучело баранье,
Что ты ногу развернул?
Ноги вместе, выше харю!
И не так еще ударю“.
Так вчера еще учили
И семеновцев-солдат.

Александров.

Русскому солдату.

Русскому солдату
Тяжело служить,
Хоть какому хвату
Тошно станет жить!
Бедность одолела,
Командир гнетет,
Он сечет без дела
И без дела бьет.
Палочной науки
Школу проходя,
Много всякой муки
Примешь на себя!
И хоть будь начальства
В десять раз умней—
Ихнего начальства
Осуждать не смей.
Половину века
В службе загубя,
В ней за человека
Не считай себя!
А дотянешь, с богом,
Лямки царский срок,
Клянчи по дорогам
Да иди в острог.
До могилы дружбы
Не забудь с сумой,
Ежели со службы
Не прошел „сквозь строй“!

Пожар на шахте.

Пожар произошел поздно ночью, когда, за исключением работавших в шахтах углекопов, все давно уже спали. По темной, безлюдной равнине пронесся протяжный, жалобный гудок. За первым последовал второй, третий... И вскоре острые, сверлящие крики превратились в потрясающий вопль.

Грушевка проснулась, и в кромешней тьме задвигались люди. Гонимые страхом и надеждой, эти люди бежали прямо на огненный столб. Этот столб, красный и живой, дрожал, вытягивался и кровавым знаменем развевался над рудником братьев Глебовых. Бежавшие обгоняли друг друга и слышно было, как они выли на бегу. Тут были и мужчины, и женщины, и дети. Но вот они уже близко, и пожар глядит им в глаза. Они видят машинное здание. Огонь ярким, горячим кольцом обхватил его со всех сторон. Прибежавшие на пожар знают, что в этом здании находятся вход и выход из шахт, и потому, что это они знают, им становится холодно, хотя они и стоят вблизи огня.

Толпа между тем растет и ширится. Люди прибегают из Александровска, из соседних рудников и сливаются в одну темную, плотную массу.

Пламя шипит, клокочет и золотыми фонтанами выле тает из машинного здания, а бездонная мгла пугливо сторонится, и светлый круг пожара увеличивается. Огонь, поднявшись вверх, рассыпается дождем светлых искр. Брызги пламени, точно золотые пчелы, жужжат, кружатся и, умирая, черным песком падают на землю.

Многоустая толпа молчит. Она в оцепенении. Ужас сковал сознание, мозг и язык. Единственно, что толпа знает и помнит,—это то, что под ее ногами в глубоких,

темных и душных недрах земли теперь копошатся люди. И воображение рисует картины, от которых волосы на голове шевелятся.

„Что они там теперь делают, наши углекопы? Сколько их?“

И не успеет кто-нибудь из толпы задать себе эти вопросы, как воображение быстро и ясно отвечает: „Шахтеры гибнут. Их много, слишком много. Лампочки погасли. В смертельном страхе ползают они по мокрым каменным коридорам. Смерть глядит им в глаза и смеется над их бессилием. Показалась вода. Шумные, говорливые водопады врываются в шахты и обвивают ноги углекопов. Спасения нет. Все должны погибнуть. А кругом плотная, черная мгла и нигде ни одной светлой точки, ни одного намека на освобождение. Еще минута—и шахты превратятся в громадную могилу“...

Вот что говорит воображение. А бессильная толпа стоит на земле, под открытым небом и ничем, решительно ничем не может помочь погибающим под землею братьям.

Пламя продолжает разрушать здание. Вот упала и утонула крыша. Огонь вздохнул и свободнее поднялся верх. Отблески пожара золотыми змеями корчатся и ползают по влажной земле...

Вдруг сверкнула надежда. Кто-то прибежал и крикнул:

— Шахтеры нашли выход. Их поднимают на руднике Ахтырова...

Будто ток электрический коснулся толпы, и она мгновенно ожила и заговорила. Только теперь многие плакали..

И когда показалась первая группа спасенных, толпой овладел бешеный восторг.

Изнуренные, черные люди медленно подходили к пожару. То были спасенные.

Свирский.

Пробуждение

В субботу, после получки, литейщики останавливаются за воротами. Запевала зовет меня вспрыснуть и шепчет на ухо:

— И песню про ткача споем...

— После водки и медведи поют,—громко говорю я,— хотите, пойдемте в степь, там споем...

— Не с руки,—бормочет один из литейщиков.—И без шлянья кости болят. Пойдем в трактир.

— Скучно там, душно... Да и не пью я...

— Как не пьешь?

Литейщики обступают меня, оглядывают и удивляются.

— Ни-ни-ни? И не пил?

— Пил, да бросил.

— Зарок дал?

— Нет.

— А как же?

— Опротивело: напьешься, будто в мешок упадешь... И барахтаешься там бараном.

— И не тянет?

— Нет.

— А если скучно, тогда как?

— Читаю.

— Чита-аешь?

— Ну, да.

Литейщики усмехаются и подмигивают друг другу. Запевало смеется и говорит:

— Ну, ты и не пей: посидишь с нами, а мы за твое здоровье пропустим.

— Я и так здоров, не тысячу лет жить.

— Ну, давай деньги, мы и без тебя выпьем.

— Не стоит... Я лучше нищим подам.

— Что? Мы, по-твоему, нищие, значит? Чего же ты зубы заговаривал нам. Еще собирался петь. Идем, ребята. Фордыбачит он.

Литейщики гурьбой идут за запевалой, на ходу переговариваются и громко хохочут.

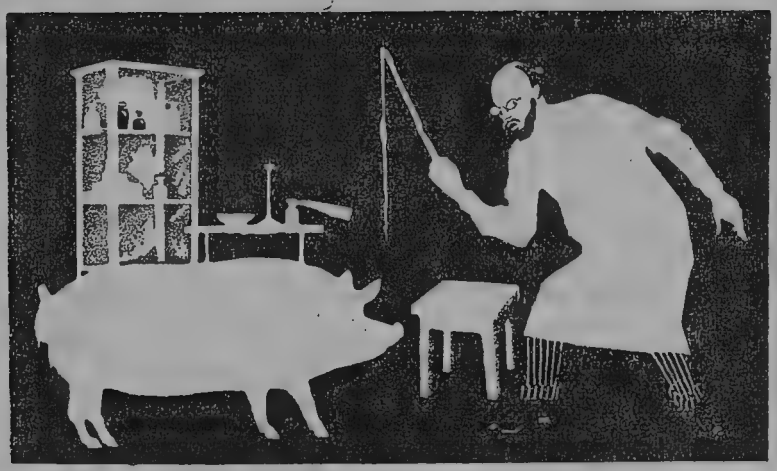
На заводике меня с этого дня зовут:

— Фордыбач Непьющий...

„Пусть, пусть", — бьется во мне.

Бродить по трактирам? Будет, бродил, валялся в грязи.. Хватит на всю жизнь.

И. Ляшко.



Про свинью жирную.

(Из «Мужиковских сказок").

Толста свинья стала, вся пошла в сало, пищать—так и то перестала. А гулять ей охота пуще прежнего.

Пошла свинья к доктору—„так и так". говорит.

А доктор ей и велел травами лечиться. „Трава", говорит, „против сала здорова"...

Стала свинья травами лечиться. С утра до ночи травы жрет, только сало растет...

Пошла свинья опять к доктору—„так и так", говорит.

А доктор ей и велел водой лечиться. „Сплывет", говорит, „сало водицей"...

Стала свинья воды пить, не выходит дело: от воды еще разжирела.

Пошла свинья опять к доктору—„так и так", говорит.

А доктор ей и велел на солнышке лежать. „Стопит", говорит, „тебе солнышко сало с мясца"...

Пролежни пролежала, еще жирнее стала.

Что делать, как быть?

И пошла свинья тогда к знахарю.

А тот ей и говорит:—„Чтобы стала ты, свинья, здорова, не вода тебе, не трава, не на солнышке лежанка, а кнут да палка, да работа до поту,—вот сало-то бы и спало“...

С. Федорченко.

Кто не работает, тот не должен есть.

Нам надо не только „запугать“ капиталистов... Нам надо заставить их работать... Рабочая книжка перестанет быть признаком „черной кости“, свидетельством наемного рабства. Она превратится в свидетельство того, что в новом обществе нет никого, кто бы не был работником.

Ленин.

Фабрикант самоваров Баташев.

(Воспоминания рабочего).

Самого фабриканта Баташева, „короля“, „поставщика двора его высочества“ царских конюхов, на фабрике не было. Он был больше помещик, чем фабрикант, и большую часть времени проводил в имении.

Типичный дворянин „Николаевских времен“, высокий, сухой, прямой, как палка, старик с бородой в обе стороны, а в середине бритый коренник-подбородок. Его занимали больше гончие, оранжереи, охота, помещичьи пирушки, а фабрика, как баловство. Когда-то говорили, он месяцами просиживал в механической мастерской, но в мое время он приезжал не больше двух раз из поместья. Непосредственно он отношения к рабочим не имел (все дело вели наемные люди), но отношение его к рабочим было такое.

В один из жарких летних дней кто-то из рабочих вышел на двор и в тени подъезда на ступеньках хозяйского дома расположился пообедать.

В это время как раз подъехал „сам“ и обратил внимание на обедающего.

— Как твоя фамилия?—обратился он вдруг к нему.

Рабочий был из самых что ни на есть забитых — кранщик Морозов.

Видя перед собой высокого, здорового, холеного старика—хозяина, он страшно перепугался и, держа на отлете в одной руке „тычек“[1]) (копеечную булку), а в другой синюю картофельную колбасу, еле проговорил:

— Морозов.

— Ты что это ешь?

— Да вот, Николай Иванович, огурчиков взял парочку, колбаски синенькой и...

— А сколько ты зарабатываешь?—перебил его „сам“.

— Мало, очень мало, Николай Иванович, еле концы свожу, жена, дети...

---

[1]) Времен царя Николая первого.

— Да как же ты, растудыть твою мать, мерзавец эдакий, зарабатывая мало, еще колбасу ешь. А?... Ступай сейчас же в контору и скажи, чтобы тебе рубль штрафу записали. Слышишь?

— Слушаюсь, Николай Иванович.

И побежал, и сказал, и всю жизнь потом рассказывал о своей встрече с хозяином.

— Сурьезный хозяин, сурьезный.

А. С. Фролов.

Чего левая нога захочет.

Нефтепромышленник Тагиев был самым богатым, самым „знаменитым“ и самым влиятельным человеком на Кавказе.

„У себя“ в Баку он жил, как король, и как король повелевал „своими“ бакинцами.

— Второй наместник царя на Кавказе.

Как нажил Тагиев свое королевское состояние, это всем известно:

— Около нефти.

Но не всем известно, как далеко простиралось влияние Тагиева на местные дела и местных людей.

— Ваше превосходительство,—сказал однажды Тагиев тифлисскому губернатору Быкову,—хочешь место дам. Бросай казну—иди к Тагиеву.

И Быков послушался.

В другой раз Тагиев задумал сделать „подарок“ русской казне и, как умный человек, построил с этой целью... тюрьму.

— Ваше превосходительство! Хочешь тюрьму — совсем новенькая и совсем даром. Возьми, пожалуйста, возьми на память.

И тюрьму взяли и наградили Тагиева чином действительного статского советника.

Наконец, бакинцы выбирали депутатов в Государственную думу. Тагиев сказал:

— Наш сын Измаил ничего дома не делает—пускай в депутаты идет. Наш капитал, наш город, наш депутат.

И оба раза город не прекословил Тагиеву: в Государственную думу избрали сначала Тончибашева, а потом Измаила Тагиева.

А. Я.

БЕЗРАБОТНЫЕ.

(Рассказ рабочего).

Итак, я выброшен на улицу безработным, с клеймом забастовщика.

Я без сожаления вышел из ворот фабрики, ни одной минуты не сомневаясь в том, чтобы я, человек рабочий, хоть один день был без дела.

Еще старики говорили: рабочий тем и хорош, что у него руки золотые.

И вот я, рабочий—золоторучка, самоуверенный и смелый, в первый же день, когда вышел искать работу, натолкнулся на следующий вопрос:

— Куда же все-таки идти?

Фабрик много. Какой из них продать себя?

Наметил одну, пришел, попросился на работу. Не глядя, ответили: не надо.

Ну, думаю, не надо и не надо. Пойду дальше.

В другом месте: не надо.

Задумался. Сжался немного. Самоуверенность сбежала, тише стал. Дома начали коситься.

— Что, нашел что-нибудь?—спрашивают.

— Нет,—говорю.

За стол садиться неловко стало. Ложку несешь в рот, а сам думаешь: дармоедом считают тебя. День поешь, а на другой стараешься попозже прийти, чтобы все уже спать полегли и ни о чем тебя не спрашивали.

Целую неделю прошатался без дела. Надоело по фабрикам ходить. Другой день выйдешь, бывало, из дому и вместо того, чтобы к фабрике идти, возьмешь да и повернешь в сад. Сядешь в глуши, чтобы тебя люди не видели, и сидишь—грызешь себя, как дурак подсолнухи. И свет не мил и сам бы себя бил,—потому олух.

Только и на душе легко, когда подобного себе встретишь,—безработного. Не один, думаешь, ты на свете такой, и другие есть. Разговоришься. Горе с горем поделится—веселей станет. Сговоришься—на другой день идти вместе работу искать.

Смелей в паре.

Опять: не надо.

Думал-думал, что дальше делать, и решил на оружейный завод поступить. Завод был большой, двенадцать тысяч рабочих работало, в три смены: днем и ночью.

Поступали на завод через классных начальников и браковщиков.

У меня связей никаких не было.

Дорога была одна—к воротам завода. Ровно в семь я был уже на месте. И не один я стоял у ворот, а много нас таких, разные. Иные ходили к заводу месяцами и были там как бы уж свои люди. Они знали не только классных мастеров всех мастерских, но их имена, фамилии, характер, кто где живет и у кого какая кухарка.

Кухарками оружейного начальства интересовались безработные больше, чем самими классными. Суметь подделаться к кухарке классного начальника, это значило наверняка быть в заводе. Многие так и делали.

Неспособные к этому другой исход находили. Заводили знакомство с браковщиком, кормили его у „Соборного“ поросенком с кашей и тоже попадали в завод.

Недогадливые просто целыми месяцами стояли у ворот завода, каждое утро и вечер ловили какого-нибудь классного начальника и, сняв шапку, клянчили, просясь на работу. Другой до того унижается, молит и чуть не плачет, что начальник крепится-крепится, а потом, чтобы отвязаться, возьмет и поставит его на завод.

Всю дорогу, пока он идет до ворот, безработный, как собака, бежит за ним, держа в руках шапку, а классный мастер упорно молчит и только, когда уже входит в ворота, бросает:

— Идем.

Точно громом прогремит это слово над безработным; он сразу замолкает и до самой мастерской идет молча, без шапки, не зная, как благодарить своего спасителя.

А. С. Фролов.

„Человек без отдыха".

(В Донецком бассейне).

Узкие и необыкновенно длинные, в несколько сот саженей, круглые приземистые кирпичные печи для обжигания кокса. От них струится горячий воздух. Внутри заложен каменный уголь, который накаляется без доступа воздуха, превращаясь таким образом в кокс. Вдоль этих печей тянутся узенькие рельсы.

Я подхожу к маленькому паровозику, поперек которого, упираясь в стенку коксовальной печи, лежит огромный металлический брус с железной головой. На площадке паровоза сидит рабочий. Сквозь сажу, грязь и угольную пыль сквозят бледность и желтизна его лица. Щеки впалые, грудь вдавлена, а в угрюмых глазах знакомое выражение печали.

— Здравствуйте!

— Доброго здоровья.

— Давно служите здесь?

— Одиннадцатый год.

— Тяжелая служба?

— Чижелести в ней нет, ну только что жарко: все нутро в тебе высушит. А зимой опять спереди от опечи жгет, а сзади мороз с ветром леденит, на спине сосульки.

— Сколько часов работаете в день?

— От шести до шести.

— А отдых как?

— А вот после шести и отдыхаем.

— Нет, не то, я хочу спросить: совсем перестаете работать когда, по воскресеньям или в середине недели!

— Нет, и по воскресеньям работаем, потому что печи горят.

— Ну, а по большим праздникам?

— Все одно и по большим праздникам, хучь светло христово воскресение, хучь рождество.

— Да неужели же? Неужели каждый день без перерыва круглый год?

— Без перерыва,—с спокойной и печальной улыбкой проговорил рабочий,—потому, печи неугасаемо горят, все одно днем али ночью, зимою али летом. Оставить их так нельзя.

— Да у вас нет смены, что ль?

— Как нету, есть; двое нас: один ночью работает, другой днем.

Я, не спуская глаз, глядел на этого удивительного „человека без отдыха".

Ведь это триста шестьдесят пять дней стоять на одной и той же площадке, поворачивать одни и те же рукоятки, ездить из конца в конец вдоль одних и тех же печей, и это не год и не два, а целых одиннадцать лет. Но ведь есть же у него какие-нибудь потребности, есть же семья, дети, знакомые, родственники, есть же желание пойти в трактир или выехать хоть на несколько часов из этого опостылевшего места куда-нибудь? Я сказал ему об этом.

— Двое нас: я да жена, а детей у нас нету. А только что насчет отдыха, так мы отдыхаем каждый день: как придешь со смены, ложись и отдыхай. На работу-то в шесть часов являться. Выпить хочешь иной раз,—придешь с работы, да и надрызгаешься с устатку; всего бывает. Кокс—это такая шутка, что его безустанно выжигать надо: пропасть требуется для завода. Ну как же от печей отойти, никак нельзя: не скажешь ей—подожди; и завод не ждет. Ишь сколько его, коксу-то, домны жрут,—страсть!

— А если вы заболеете?

— Ну, что ж, без этого нельзя; захворал, так пока поставят машиниста из какого-нибудь отделения. Долго только болеть нельзя; день, два проваляешься, ну неделю, там, другую, а там уж ступай, работай, ждать не станут, другого замест тебя возьмут... Потому, не остановить же печь.

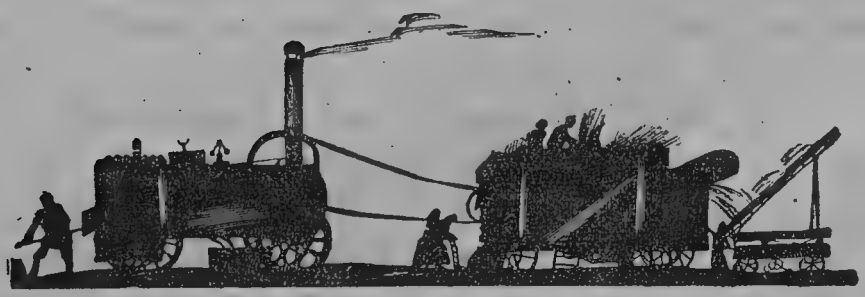
— Сколько же вы получаете?

— Слава богу, получаем хорошо: по рублю в день, а как праздников нету, оно и выходит тридцать в месяц.

Меня поражает не только отсутствие отдыха у этого человека, но и отсутствие сознания необходимости этого отдыха и естественного на него права. Непрерывность этой грандиозной работы завода порабощает его мысль, сознание. Ему не приходит в голову, что ведь завод мог и должен был поставить у определенного количества печей не двух, а трех человек, и тогда у каждого бы был недельный отдых.

И в то же время он находит совершенно естественным, что болеть ему не полагается, а если и разрешается, так очень умеренно, потому что ведь „печи не ждут".

А. Серафимович.



Восемь часов работы, восемь часов разумного отдыха, восемь часов сна.

ПАУКИ и МУХИ.

(В царстве капиталистов).

Муха, которую, высосав, убивают и губят, чьей кровью живут пауки—это вы, городские и сельские бедняки. Это ты, угнетенный народ, вы, фабричные рабочие, вы, трепетные девушки, вы, слабые женщины, все те, кто не смеет добиваться своего права, вы, несчастные жертвы солдатчины,—одним словом, все вы, обездоленные, обокраденные, кого выбрасывают прочь, как только исчезает возможность далее сосать кровь из ваших жил.

Вы—живая творческая сила, сердце и разум своей страны. Вам дано только право тихо, без ропота умирать жалкой смертью в вонючем углу, в награду за то, что вы и одни только вы—выкормили и укрепили своих властелинов, гнусных пауков, своею кровью, своим потом, своими чувствами—всей жизнью своей.

Пауки—это господа, сребролюбцы, эксплоататоры, дворяне, богачи, попы, сводники, дармоеды всех народов.

Пауки—это рабство, под которым мы стонем, это законы, гнетущие нас, это тираны, держащие нас в неволе. Это все те, кто живет на счет нашего народа, все те, кто топчет нас ногами, те, кто злобно смеется над нашими муками, нашими бесплодными усилиями.

Муха—это несчастный рабочий, который должен подчиняться всем законам, какие только вздумают создать капиталисты,—должен подчиняться, ибо у бедняги нет и куска хлеба.

Паук—это фабрикант, зарабатывающий на каждом своем рабочем ежедневно 5—6 рублей, а дерзко дающий, как бы из милости, ничтожную плату: около 80 коп. за десять и двенадцать часов каторжного труда.

Муха—это чернорабочий, гибнущий в отравленном воздухе шахт, чтобы извлечь из земли сокровища, воспользоваться которыми ему не суждено.

Муха—это неопытная дочь простолюдина, желающая честно зарабатывать свой кусок хлеба, но сплошь и рядом вынужденная уступать сластолюбивому фабриканту, управителю и его присным, лишь бы только ее приняли на работу. Воспользовавшись тем, что несчастная не имела работы, мерзавцы затем, чтобы избавиться от хлопот, выгоняют ее, часто беременной.

Паук—это молодой гуляка из богатой семьи, который, смеясь, соблазняет невинных девушек и вовлекает их в разврат, который считает делом чести обесчестить как можно больше беззащитных женщин.

Муха—это ты, покорный хлебопашец. В поте лица твоего ты обрабатываешь поля богачей, сеешь хлеб, которого не жнешь, растишь плоды, которые забирает ненасытный помещик.

Пауки—это те богатые землевладельцы, которые, увеличивая каждый год аренду и понижая плату за непосильный труд, заставляют своих арендаторов, половинщиков, забитых батраков и поденных рабочих работать до изнеможения, а все это для того, чтобы самим вести веселую и роскошную жизнь и гордиться ею.

Мухи—это все убогие, простые люди, привыкшие с малых лет дрожать перед церковным алтарем, склоняться перед попами, верить их лжи и трепетать, когда они грозят адскими муками; это люди, враждующие с людьми иной веры, на утеху черной братии.

Пауки—это попы и монахи, которые затемняют ум и отравляют душу робких людей, прикрываясь верой, проповедывая рабскую покорность богачам сего мира и проклиная всякую попытку бедных тружеников улучшить свое положение путем борьбы с кровопийцами рабочего люда.

В. Либкнехт.

КАМЕНЩИК.

— Каменщик, каменщик в фартуке белом,
Что ты там строишь? Кому?
— Эй, не мешай нам, мы заняты делом,
Строим мы, строим тюрьму.
— Каменщик, каменщик с верной лопатой,
Кто же в ней будет рыдать?
— Верно, не ты и не брат твой богатый,
Незачем вам воровать.
— Каменщик, каменщик, долгие ночи
Кто-ж проведет в ней без сна?
— Может быть, сын мой, такой же рабочий,—
Тем наша доля полна.
— Каменщик, каменщик, вспомнит, пожалуй,
Тех он, кто нес кирпичи.
— Эй, берегись! Под лесами не балуй...
Знаем все сами, молчи.

В. Брюсов.

Как при царе иноверцев в православие обращали.

Сидит калмык Сагоног на пороге юрты. Солнышко греет.

— Русский едет,—увидел Сагоног, и сердце как-то болезненно сжалось.

— Русский едет,—худо будет.

Не любит Сагоног, когда русский приезжает. Всегда либо обманет, либо что-нибудь увезет. Русский зря не ездит.

К юртам подъехало трое.

— Поп, Иван Степаныч,—узнал Сагоног, сидя на пороге.

Иван Степаныч слез с коня.

— Здорово, Сагоног.

— Язень.

— Не тауш бар? (ничего нового нет?)

— Зек (нет),—также спокойно ответил Сагоног.

— Ничего, говоришь... А где же твоя дочь, Сагоног?

— Девка помер.

— Так, так. А, может, не померла девка-то?

— Девка—помер,—спокойно повторил Сагоног, продолжая курить.

— А не ты ли ее погубил Сагоног?—уставился на него Иван Степаныч.

— Девка сам помер. Сам веревка надел. Моя ничего не знает. Моя утром стал, нет девка. Где девка? А девка помер, висит веревке.

— Так, так, так...—поддакивал Иван Степаныч.—Ловко говоришь... А мы знаем вот с Михаилом Васильевичем,—он указал на одного из спутников,—другое знаем.

— А ну-ка, Михаил Васильевич, достань-ка, что у тебя в мешочке есть.

Михаил Васильевич вытащил сверток бумаги и протянул Ивану Степановичу.

— Читай.

— Слушай, Сагоног, что белый царь пишет: „Стало мне известно, что Сагоног погубил свою дочь... А потому Сагонога надо поместить в тюрьму".

— Девка сам помер, сам веревка лез. Моя не хочет в тюрьму.

— Ну, Михаил Васильевич, приступай к делу. Надо Сагоногa в тюрьму вести.

Михаил Васильевич достал золотую цепь, надел на себя и громко возгласил:

— Белый царь велел тебя, Сагоног, сгноить в тюрьме, а богатства твои отобрать.

Сагоног заплакал. Старческие слезы скупо лились из глаз. Он не вытирал их.

— Слушай, Сагоног,—ласково сказал Иван Степаныч.—Белый царь милостив. Он все может простить, надо только уметь прощенье получить.

— Крестись, и белый царь простит тебя...

Сагоног смолк и долго глядел на Ивана Степаныча.

— Ну да, крестись, и вся недолга. Крещеному все простится. Хочешь креститься?

— Креститься?—полуспросил Сагоног, плохо представляя, что собственно от него требуют.

— Креститься—можно.

— Ну вот, так давно бы так... Зови всех своих... Крестить будем...

Часа через два на берегу озера собрался весь аул. Тут были и старые, и малые, мужчины и женщины, которые с любопытством разглядывали разложенные Иваном Степанычем на столе золотые и серебряные вещи.

— Всех этим крестить будешь?—спросил молодой калмык Ивана Степановича, указывая на золоченые вещи.

— Всех...

— Тогда можно. Крести...

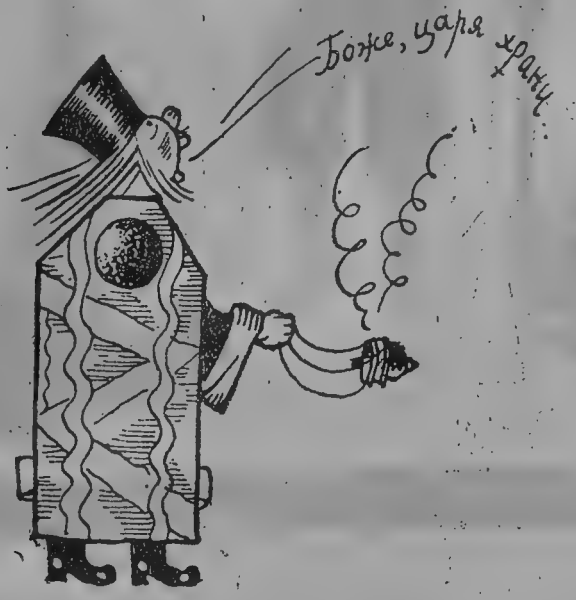
Спускался вечер. Солнце зашло за скалу и вдруг из-за расселины осветило яркой полосой крестящихся.

Иван Степанович, облаченный в золотую рясу, читал молитву, помахивая кадилом. Спутники подтягивали ему.

Люди стояли молча, спокойно.

В руках Сагонога курилась трубка.

Г. Пушкарев.



Царь с кнутом, поп с крестом.

Обманом и насилием.

Зимой из волости пришла бумага: прислать доверенных—ходатаев о земле в волость.

Собрали калмыки доверенных, велели землю защищать и отправили к русским.

Встретили их русские с почетом: на столе в волости закуска, водка.

— Садитесь, други, гулять будем, водку пить будем.

Пили доверенные, пили русские, потом спорили, бумагу писали, опять водку пили...

На утро доверенных по домам в телегах развезли...

. . . . . .

Пришла весна.

Приехали русские, привезли сохи и загорелась работа. Полоса за полосой, почернела земля, взъерошилась, зазеленела легкой щетинкой хлебов.

Пришли калмыки, пригнали свой скот, но нет: русские там с вилами, цепами:

— Земля наша, делать вам тут нечего.

— Наша земля,—спорили калмыки.—Чиновник сказал.

Но русские гнали их.

Вызвали чиновников.

Приехали чиновники. Вызвали русских, калмыков. Читали, что земля калмыков. Но русские на своем:

— Земля наша. Доверенные от земли отказались и приговор подписали. Земля наша, русская.

Вызвали доверенных:

— От земли отказывались?

— Ни, бачка, не отказывались. Наша земля.

Русские бумаги принесли. Верно: все доверенные отказались от земли в пользу русских. И руку приложили.

— Писали бумагу?—допытывался чиновник.

— Ни, бачка, не писали. Наша земля.

Русские свое: зимой были здесь, отказ писали сами.

— Были здесь зимой?—спрашивает чиновник.

— Были.

— Что делали?

— Вотка пили. Русский домой телега увозил.

— Подписывали бумагу?

— Не знаем, бачка. Пьян был, ничего не знаем.

— Да ведь от земли-то вы сами отказались, их земля-то теперь.

— Не знаем, бачка. Ты грамотный, тебе лучше знать. А земля наша. Чиновник большой сказывал.

Русские смеялись.

— Яман дело, шибко яман,—говорят калмыки, забирая свой скарбишко.

— Русский пришел, русскому все подай: землю подай, поля подай, реку отдай, жену отдай, все отдай... нельзя так, надо в горы...

Г. Пушкарев.

Не может быть свободным народ, угнетающий другие народы.

К. Маркс. Фр. Энгельс.

ГЕТМАНУ БОГДАНУ.

Эй, Богдан, царям московским
Отдал ты в неволю
Украину. И за это
Выпала на долю
По делам твоим и слава.
Да за что и славить?
Что любовников царицы [1])
Налетела сила,
И родимую Украйну
Свора задавила?
Все любовники забрали
И нужды им нету.
Говорят: „И прежде было
Все, ведь, наше это,
Лишь татарам и полякам
Мы внаймы сдавали".
Говорят, и пусть же будет
Так, как вы сказали.
Пусть смеются над Украйной,
Но пора настанет
И Богдана дело рухнет,
И Украйна встанет,
И развеет тьму неволи.
Правды свет засветит
И порадуются воле
Невольничьи дети.

[1]) Царица Екатерина дарила своим любимцам, слугам и приближенным огромные площади земли, в особенности на Украине. Вместе с землей она дарила крестьян, живших на этих землях и превращавшихся, благодаря этому в крепостных.

„Проклятый царизм превращал великороссов в палачей украинского народа... Надо разорвать на деле, бесповоротно, до конца, с проклятым царистским прошлым, которое все сделало для взаимоотчуждения народов, столь близких и по языку, и по месту жительства, и по характеру, и по истории".

Ленин.

Д О М № 13.

(Рассказ о погроме в Кишиневе).

— Здесь убивали Гринштуна...—сказал кто-то около нас странным, глухим голосом.

Когда мы входили в этот двор, все было здесь мертво и пусто. Теперь рядом с нами стояла девочка лет 10—12. Впрочем, это казалось по росту и фигуре. По выражению лица можно было дать гораздо больше, глаза глядели не по-детски... Этот ребенок видел все, что здесь делалось еще так недавно. Для нее вся эта картина разрушения на молчаливом дворе под знойными лучами солнца была полна незабываемого ужаса. Голос у нее был как бы придушенный, а речь ее было тяжело слушать: звуки этой речи выходили с усилием и не производили впечатления живой речи.

— Он вот тут... бежал...—говорила она, тяжело переводя дыхание, показывая рукой по направлению к навесу и луже крови.

— Кто здесь был убит? Стекольщик?—спросил мой спутник.

— Да-а... стекольщик. Он бежал сюда... и он упал вот здесь... и тут они его убивали...

С невольным ощущением дрожи мы отошли от этого пятна, в котором кровь перемешалась с известкой, грязью и пухом.

В доме все было разрушено с таким же старанием, как и во дворе: сорваны обои, выломаны двери, разломаны печи, стены пробивались насквозь.

Один из видных жильцов был мелкий лавочник, Навтула Серебрянник. Лавка его была в самом углу. Теперь ее можно узнать по обломкам деревянных ларей, составлявших прилавок и валяющихся на грязном полу среди ободранных стен.

Затем в доме жили еще: приказчик галантерейной лавки Берлацкий, с женой и четырьмя детьми. Он зарабатывал 48 руб. в месяц. Мовша Паскар служил приказчиком, получал рублей 35. У него была жена Ита и двое детей. Ицек Гревиц был служителем больницы, но в последнее время, кажется, бедствовал, оставшись без места. Наконец, стекольщик Гриншпун ежедневно отправлялся с оконными стеклами и возвращался вечером домой со своим заработком.

Так мирно и тихо жил дом до 6-го апреля. Берлацкий и Мовша Паскар продавали товары в чужих лавках. Навтула Серебрянник отпускал соседям евреям, молдаванам и русским свечи, мыло, спички, керосин, дешевый ситец и дешевые конфекты, Ицек Гревич искал места, а стекольщик Гриншпун вставлял разбитые стекла... И никто не предчувствовал, что́ должно было случиться.

6-го апреля, в первый день величайшего из христианских праздников, в городе начались погромы.

Толпа явилась около 11 часов. Она состояла человек из пятидесяти—шестидесяти.

Налево у ворот, в углу, около которого сохранилась лужа крови, до сих пор есть несколько небольших деревянных сараев. В один из них спрятались от толпы громил стекольщик Гриншпун, его жена с двумя детьми, Ита Паскар тоже с двумя детьми и еще девочка 14 лет, служанка. Изнутри сарай не запирался, и, вообще, все эти сараи напоминают карточные ящики. Преимущество их было только то, что в них нечего было ломать и грабить, и евреи рассчитывали, что здесь они не будут на виду. О защите нечего было и думать: в доме было только восемь мужчин; городовой № 148, не получив никаких приказаний, что делать в связи с погромом, спокойно сидел на тумбе, а два патруля стояли в переулках, выше и ниже разрушенного дома.

Прежде всего бросились в сарай. Здесь был только один мужчина, стекольщик Гриншпун. Сосед Гриншпуна с молдаванской фамилией, которого вдова Гриншпуна назвала по имени, как хорошего знакомого, первый ударил стеколь-

щика ножом в шею... Несчастный кинулся из сарая, но его схватили, поволокли под навес и здесь докончили дубинами именно на том месте, где теперь сохранилось кровавое пятно.

Берлацкого первого ранил тот же сосед, который нанес удар Гриншпуну. А один из громил кидал под ноги бегавших синий умывальный таз, который лежал на крыше еще два месяца спустя после погрома... Таз ударялся о крышу и звенел. И, вероятно, толпа смеялась...

Наконец, всех трех кинули с крыши. Раненые Маклин и Берлацкий ушиблись при падении, а затем подлая толпа охочих палачей добила их дрючками и со смехом закидала горой пуха... Потом на это место вылили несколько бочек вина, и несчастные жертвы задыхались в этой грязной луже из уличной пыли, вина и пуха.

Последним убили Нисензона. Он с женой спрятался в погреб, но, услышав крики убиваемых и поняв, что в дом № 13 уже вошли убийство и смерть, они выбежали на улицу. Нисензон успел убежать во двор напротив и мог бы спастись, но за женой погнались громилы. Он кинулся к ней и стал ее звать. Это обратило на него внимание. Жену оставили и погнались за мужем; он успел добежать до дома № 7 по Азиатскому переулку. Здесь его настигли и убили.

После этого толпа как бы удовлетворилась и уже только громила дома, но не убивала. Евреи из ближайших домов вышли, чтобы посмотреть несчастного Нисензона. Он был еще жив, очнулся и попросил воды. Руки и ноги были у него переломаны... Они вытащили его из лужи, дали воды и стали омывать от грязи. В это время кто-то из громил оглянулся и крикнул своим. Евреи скрылись. Нисензон остался один. Тогда опять тот же человек, который убил Гриншпуна и первый ранил Берлацкого, ударил несчастного ломом по голове и покончил его страдания...

Затем толпа продолжала работать дальше. Площадь была загромождена обломками мебели, обрывками всякого старья и выломанными рамами до такой степени, что проходить по ней было очень трудно. Одна еврейка рассказы-

вала мне, что ей нужно было пробраться на другой конец, где остались ее дети; на руках у нее был грудной ребенок, и она напрасно дважды пыталась пройти. Наконец, знакомый христианин взял у нее ребенка, и только тогда она кое-как прошла через эти беспорядочные баррикады...

В пять часов этого дня стало известно, что „приказ", которого с такой надеждой ждали евреи с первого дня, наконец, получен...

В час или полтора во всем городе водворилось спокойствие.

В. Г. Короленко.

Одна Сибирь у нас без края,
А сколько тюрьм кругом стоит!
От молдаванина до финна
На всех языках все молчит.

Тарас Шевченко.

„Рабочему классу нужно не разделение, а единение. Нет для него горшего врага, как дикие предрассудки и суеверия, которые в темной массе сеют его враги... И школа, и печать, и государственная дума—все, все используется для того, чтобы посеять темную, дикую, злобную ненависть к евреям. Миллионы и миллиарды рублей тратятся царским правительством на то, чтобы отравить сознание народа... Угнетение „инородца"—палка о двух концах. Одним она бьет „инородцев", другим—русский народ. Рабочий класс должен решительнейшим образом бороться против какого бы то ни было угнетения национальностей".

Ленин.

Убийцы и защитники.

Я живу у вокзала, я русская, но была за евреем замужем. Погромное настроение у нас в Елисаветграде началось вместе с приходом григорьевских войск [1]).

Еще когда, в конце апреля, григорьевский полк был впервые в городе, настроение его уже было определенное. Однажды один обыватель, чтобы отделаться от своего квартиранта, тоже русского, привел солдат и указал им на него, как на коммуниста.

Тот вырвался и побежал в штаб григорьевцев.

— Ваш хозяин жид?—спросили там его.

— Нет, русский.

— Жаль, если бы жид, немедленно расправились бы.

Потом полк этот был отозван, и в городе остался небольшой отряд, но коммунисты разоружили его.

И вот в половине мая, после жестокой орудийной канонады, масса войск и разного люда в шинелях, с винтовками, револьверами и бомбами ворвалась в город. Тотчас же начался разгром Вокзальной улицы.

Я оделась сестрой милосердия.

С подругой, беспокоясь за участь близких, побежала в город, стараясь опередить солдат, звавших друг друга на Большую и Дворцовую улицы. Мы забегали в дома знакомых, но там, видно, все спрятались,—всюду было пусто. Подбежали к дому, где жили наши друзья-евреи. Мы стали у ворот дома и, как сестры милосердия, отводили банды.

Всю ночь дежурили у ворот.

С нами дежурили и два крестьянина, не допустившие убить артистов-евреев, живших неподалеку в гостинице. Их втащили во двор и хотели расстрелять, но, благодаря заступничеству крестьян, лишь заставили петь и плясать, потом отпустили.

---

[1]) Войска атамана Григорьева, восставшие в 1919 г. против советской власти на Украине.

Два дня под ряд бандиты грабили и убивали евреев. В домах шли убийства, слышались мольбы, душу раздирающие крики, стоны убиваемых и недобитых людей.

Трое суток мы продежурили с подругой у ворот, принимая всевозможные меры, чтобы отвадить погромщиков. Потом решили отправиться в Красный Крест за площадкой для уборки трупов.

По дороге мы зашли во двор.

Пять трупов в лужах крови лежали на дворе.

Следом за нами вошел матрос.

Он утирал пот, лившийся с него ручьями, и вид у него был озверелый.

— Что вам нужно? — спросил он.

Мы ответили, что пришли убирать трупы.

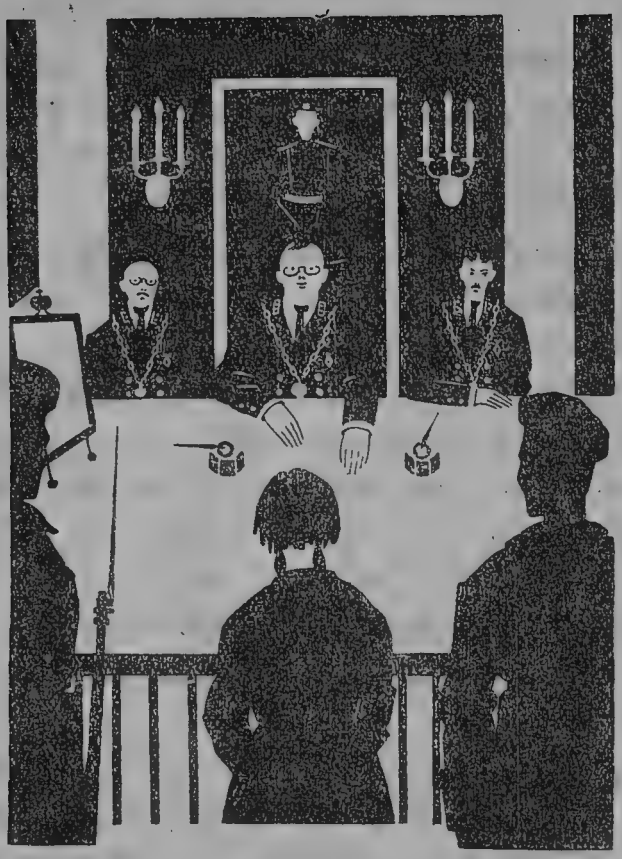
— Идите в штаб, возьмите разрешение.

Исчез.

Тут нам сообщили, что этот матрос расстреливал лежавших во дворе, а потом приканчивал их шашкой.

В субботу появился, наконец, приказ о прекращении погрома.

С. Гусев-Оренбургский.



ЦАРСКИЙ СУД.

В Бахмуте в суде слушалось маленькое дело. Мужиченко Уветайло украл курицу. Приговорили его на три месяца в тюрьму. Уветайлу бил и истязал надзиратель Жишков. После истязаний Уветайло помер. Потом судили надзирателя Жишкова и вынесли приговор:

— Шесть месяцев тюрьмы.

Я не знаю, как на этот приговор смотрят другие. Но для меня скрывается в этом деле один недоуменный вопрос:

— Позвольте, как это так? За украденную курицу мужика на три месяца осудили, а за убитого мужиченка— его убийцу, надзирателя только на шесть месяцев. Значит, две курицы все равно, что один Уветайло? Значит, две курицы - это и есть цена человеческой жизни.

Не правда ли, странно, очень странно.

А. Я.

„Суд правый, скорый и милостивый“.

Не для бедных школа.

В Мокрых Выселках через девять от нас дворов жил мужик Егор Пазухин, человек необыкновенно бедный. Он имел двух дочерей на выданьи и сына.

Подати, малоземелье, старые долги богатею Шаврову, расход по хозяйству вечно держали семейство Егора в тенетах. Частые неурожаи, жизнь впроголодь, мордобития от грозного начальства шаг за шагом обессиливали мужика, незаметно стирая жадность и задор к работе. Егор постепенно опускался, махнув в конце-концов рукой на возможность выбиться из крепких лап нужды.

К сорока годам жизни Егор не осилил даже того, чтобы переменить полусгнившую избенку.

Год от году он становился угрюмее.

— Сына мне роди,—кричал он пьяный на жену,—пошто ты мне таскаешь пакостниц?—Егор презрительно указал на трех белоголовых девочек, печально жавшихся друг к другу.—Мне кормилец нужен.

Жена плакала, забившись головой в тряпье.

— Ты бога умоляй,—покорно шептала она.—Что ты ко мне пристаешь?

Егор больно бил ее за это и трясущимися от жалости губами позорил и клял ее.

Наконец, лет в сорок пять мужик таки дождался сына.

И вот, вырос сын—Василий. Егор попрежнему терпел нужду, получал тумаки и оплеухи за недоимку, сидел в чижовке, голодал, ходил оборванным, самовара так и не завел, но жизнь ему уже не представлялась мрачной.

После того, как мальчик на восьмом году стал бегать в школу, для Егора открылся новый источник гордости и необычайной радости.

Вася был понятлив и умен: грамота, над которой большинство детишек проливают столько слез, далась ему легко, и сын чуть ли не самого бедного мужика шел по ученью первым.

Зимними вечерами, сидя возле мальчика, Егор волновался и горел, следя за тем, как тот свободно и толково одолевал склады.

На тяжелом склоне серых дней жизнь принесла Егору неиспытанную радость в сыне.

Вася рос, учился, летом помогал в работе.

— Беспременно надо до делов парнишку довести,— говорил Егор жене.—Пускай добром помянет, когда вырастет. По нашему жить—смерть.

Баба молчаливо соглашалась.

Весною, на одиннадцатом году, Вася окончил школу первым.

Прибежав домой, он закричал с порога:

— Меня все хвалили... Набольший из города гостинец дал.

— Важно. На-ко вот и от меня.—Егор развязал тряпицу и подал сыну двугривенный, деньги для мальчика невиданные.

— Это тебе за труды,—улыбнулся он и, не говоря больше с домашними ни слова, побежал в училище.

Экзамены кончились. Инспектор, батюшка, учитель и еще какой-то человек в очках закусывали.

— Степан Васильич, к вашей милости,—робко отворил старик дверь.

Все подняли от тарелок головы.

— Это ты, Егор?—спросил Степан Васильич—учитель, вытирая платком рот и поднимаясь из-за стола.

— Я... с докукой к вам... с нуждой...—бормотал мужик.

— Хочу еще сына учить... еще... чтоб дальше...

Все насторожились.

— Чтоб выше, — пояснил он, взмахивая грубыми руками. — Вы учили хорошо, покорно благодарим, но только я хочу, чтобы Басю кто-нибудь дальше учил...

Господские ребята учатся до двадцати годов, и я хочу до двадцати. Чем я хуже? Что мужик? Хочу до двадцати.

— Работником до гроба буду, помогите,—прохрипел он, опускаясь на колени.—Черви мы... Нужда заела... Пускай выбьется мальчишка!

Старик с тоской глядел в глаза инспектору и батюшке.

— Все отдам, что есть, до дела б только довести... Причалу у нас в жизни нету никакого; собаками, которых все пинают в морду, маемся на свете. Так нельзя.

Вскочивший на ноги учитель подхватил его под мышки.

— Встань же, экий право. Ну, зачем это? Ты говори, а на колени... Ну, к чему это?

Сбитый с толку, Егор долго и скучно жаловался на свою жизнь, божился, что жил только сыном, для которого готов на все...

Вольнов.

Судьи—жандармы, школы—казармы.

Как фабриканты в Америке расправляются с революционными рабочими.

Мотор глухо гудел, когда они пронеслись, как на крыльях, по окраинам и по открытому полю.

Они достигли еловой рощи, огромные стволы возвышались подобно колоннам, по земле стлался мягкий ковер травы.

Это было местом обычной прогулки буржуазии, остановки автомобилей.

Все было предусмотрено с точностью, составляющей гордость всякого истого американца.

Замаскированный человек в черном стоял среди рощи и отдавал распоряжения.

Автомобили все прибывали и прибывали, пока не осталось больше места. В автомобилях находились арестованные члены революционного союза американских рабочих—промышленных рабочих мира.

Их привезли в рощу сынки капиталистов, наемные сыщики для того, чтобы здесь „проучить“ красных бунтовщиков.

— Номер первый!—прозвучало угрожающе в воздухе. Несколько мужчин сошли с автомобиля и вытащили связанного пленника.

Это был Михаил Дубин—портной.

Он кричал и стонал, когда ему развязывали руки и срывали пиджак и сорочку.

Замаскированные люди потащили его к дереву, стоявшему посередине круга, к которому его и привязали.

Там он стоял, залитый ослепительным светом тридцати автомобильных фонарей, оборачивался и вопил, пока один из замаскированных сбрасывал пиджак, приготовляясь к делу.

Он вытащил длинный крепкий хлыст и выжидательно оглянулся.

— Начинай!

Хлыст свистнул и, опустившись на плечи Михаила, вырвал кусок мяса, так что кровь брызнула струей.

Раздался болезненный крик, жертва стала рваться, пытаясь освободиться.

Хлыст снова свистнул, прозвучал глухой удар, отрывающий мясо, кровавая струя увеличилась.

Буржуазная молодежь была великолепно подготовлена к занятиям этого вечера. Уж они-то не были ни худы, ни истощены, ни измучены работой, как их пленники.

Они блистали своим цветущим видом, точно их отцы, заранее готовясь к борьбе с красной опасностью, предусмотрели необходимость вытренировать таких молодцов.

Молодой буржуа бил, бил, пока потерял счет рубцам и спина Михаила превратилась в одну кровавую массу. Он постепенно перестал стонать, голова его упала на грудь, и он повис на веревках, привязывавших его к дереву.

Человек с хлыстом утер вспотевший лоб, двое других отвязали Михаила, оттащили его несколько в сторону и бросили ничком в траву.

— Номер второй! — крикнул распорядитель избиения повелительным голосом, точно он руководил танцами на балу.

Из второго автомобиля вышли люди, волоча за собой связанного пленника.

Это был Берт Гликан — крестьянин-поденщик, член исполнительного комитета союза промышленных рабочих мира.

Ему удалось высвободить одну руку в то время, когда с него стаскивали пиджак. Он погрозил сжатым кулаком в сторону автомобилей.

— Будьте вы прокляты,—прорычал он.

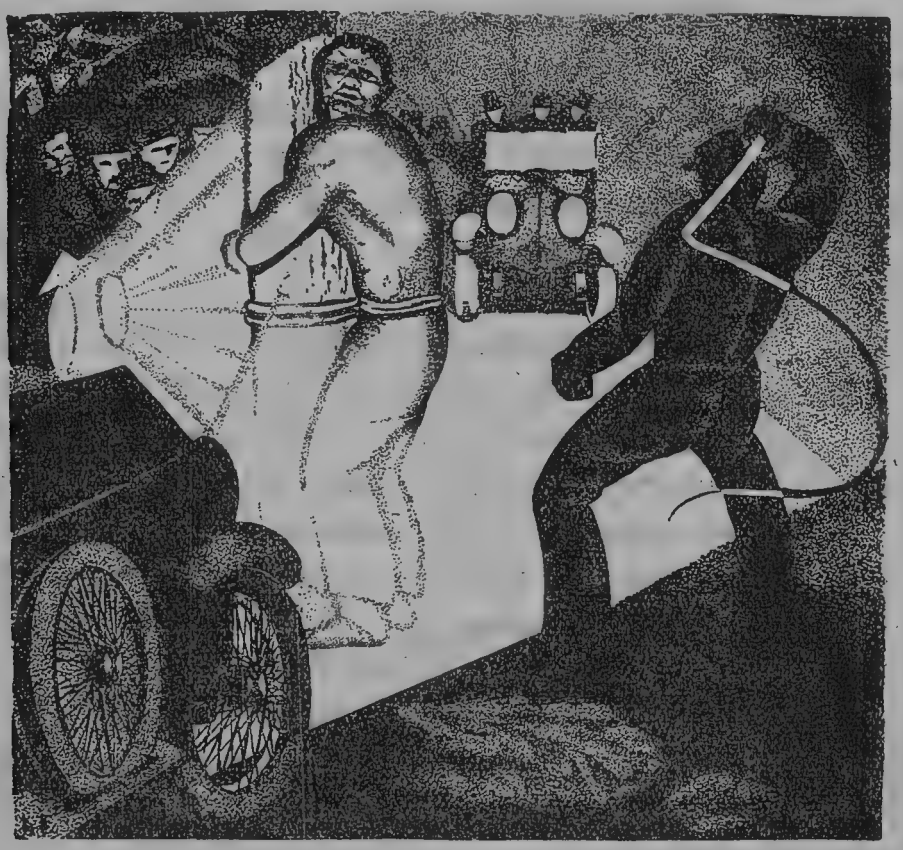
Они привязали его крепко, новый человек выступил из толпы и, поплевав себе на руки, приступил к избиению.

При каждом ударе Гликан изрыгал новое проклятие, сначала по английски, а потом, начав терять сознание, на своем родном языке.

Постепенно проклятия замерли, он бессильно опустился, его отвязали и бросили рядом с первой жертвой.

— Номер третий!—крикнул распорядитель избиения рабочих.

Следующим был Грэди, секретарь союза, и тут произошло что-то ужасное.



Грэди, наблюдавший зрелище избиения из автомобиля, где он лежал связанный, пришел в бешенство. Когда ему освободили руки, чтобы раздеть его, он вырвался и расшвырял тех, кто стоял поблизости. Грэди обладал исключительной силой. Прежде чем толпа успела опомниться, он бросился между двух автомобилей. Десяток людей бросился за ним в разных направлениях. В дикой схватке он упал на землю. Они связали его. Все лицо его было залито кровью и грязью.

Толпа издала рев, подобный тому, какой ночью слышится в зверинце.

— Повесить его! Повесить его!

Кто-то достал веревку и дико орал: „Повесить его".

Кто-то влез на елку и перебросил веревку через сук.

Вдруг все вскрикнули — Грэди появился в воздухе с веревкой на шее, отбиваясь ногами от мучителей.

Толпа под ним ревела, плясала, подбрасывала шляпы, кто-то подпрыгнул и повис на судорожно дергающихся ногах повешенного.

Тут прозвучал голос распорядителя: „Спустите его вниз. Я хочу до него добраться".

Еще трепещущее тело опустили на землю, к нему подошел мужчина, вытащил нож и, раскрыв платье повешенного, оскопил его. Толпа снова заревела, люди в автомобиле восторженно били себя по коленам.

У. Синклер.

Буржуазия нигде не сдается без жестокого боя. Она сокрушит скорее весь мир, чем откажется от своих барышей.

„Одна из главных организаций в Америке, наиболее боевых, наиболее революционных—это союз индустриальных (промышленных) рабочих мира. И американское правительство поэтому раньше всего стало преследовать именно эту организацию. 5 июля 1918 г. правительство обрушилось на различные секции индустриальных рабочих мира... Вожди их были осуждены на долгие сроки заключения в крепости... Немало социалистов стало жертвой ненависти и мести американского буржуазного правительства... но организация не только не оказалась разгромленной, но разрослась и окрепла".

Американский коммунист РАЙТ.

„В Коммунистический Интернационал входит все, что есть честного в мировом рабочем движении... Мы ждали прихода американского рабочего. И он пришел. Когда в Америке, не взирая на все, создалась коммунистическая партия, присылающая к нам своего представителя, то это значит—наше дело обеспечено, победа нам обеспечена в Америке".

Г. ЗИНОВЬЕВ.

КИТАЙСКИЙ КУЛИ.

А-Чо было двадцать два года. Он был жизнерадостен и добродушен, и ему легко было улыбаться. Хотя по сложению, как азиат, он был худ и строен, лицо у него было круглое. Оно было кругло как луна и сияло тихой покорностью и нежным благорасположением духа.

Скверные были времена в его прибрежной деревушке, и когда он обязался перед французской компанией, нанимавшей китайских кули для работы в хлопковых плантациях, проработать пять лет за вознаграждение по 50 центов в день, он считал себя счастливым. В его деревушке были люди, которые работали круглый год, и были женщины, которые за пять долларов круглый год плели сети, а в домах торговцев служанки получали четыре доллара за год служения. А он вот будет получать пятьдесят центов в день, за один день, только один день, он будет получать это царское вознаграждение. Что в том, что работа тяжела? По окончании пяти лет он мечтал вернуться домой.

Но то беда—их не разберешь, этих белых чертей. Он навидался их. Они были все одинаковы—офицеры, французские чиновники, те немногие белые люди на плантации, включая и надсмотрщика Шеммера. Они сердились без всякого видимого повода, и гнев их был всегда опасен. В такие минуты они становились похожими на диких зверей. Они волновались из-за пустяков, и при случае могли даже изнурить работой китайца. Они не были так трезвы, как китайцы, они были обжорами, они ели и пили невероятно много. Да, белые люди были странны и удивительны и они были—черти. Взять, например, надсмотрщика над рабочими плантаций Шеммера.

Шеммер, Карл Шеммер, был негодяй, жестокий негодяй. Но он не даром получал жалованье. Он выбивал последнюю капельку силы из пяти сотен рабов: ибо рабами были китайцы, пока не кончится срок их службы. И Шеммеру приходилось тяжело работать, чтобы извлечь все силы из этих пятисот потеющих человек и претворить их силу в тюки пушистого хлопка, готового для вывоза в Европу. И его железная, властная грубость помогала ему. Ему еще помогал толстый кожаный пояс, в три дюйма ширины и в аршин длины, с которым он не расставался, и который, при случае, опускался на голую спину нагнувшегося кули с треском, похожим на звук револьверного

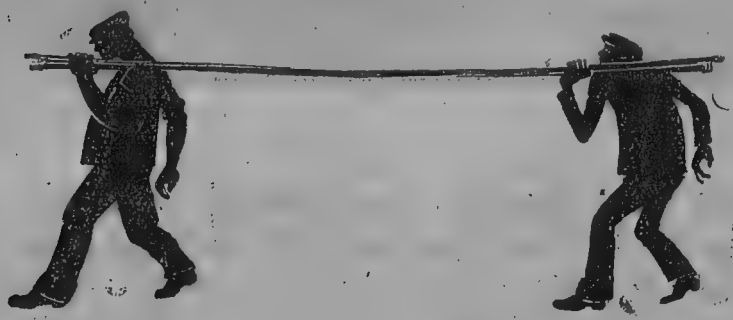
выстрела. Эти выстрелы были очень часты, когда Шеммер проезжал верхом по полям во время работ.

Однажды, в первый год службы китайцев, Шеммер убил одного кули ударом кулака. Правда, он не раздавил ему голову, как яичную скорлупку, но удар был достаточным для того, чтобы попортить все внутренности головы; и, проболев неделю—другую, кули умер. Но китайцы и не подумали жаловаться на Шеммера французским чертям. Они должны были избегать гнева Шеммера, как они избегали ядовитого жала стоножек, которые таятся в траве или выползают в казармы по дождливым ночам. Китайцы сами следили за тем, чтобы не очень причинять неудовольствие Шеммеру. Это значило сдавать ему полную меру добросовестной работы. Этот удар кулака принес тысячи долларов компании и не причинил никаких неприятностей Шеммеру.

А что китаец умер, так ведь он только китаец. Кроме того, он умер от солнечного удара, как гласило докторское свидетельство. Правда, на острове не было случая, чтобы кто-нибудь умер от солнечного удара. Но это именно и делало неожиданную смерть китайца исключительной. Так писал доктор в своем рапорте. Он был очень откровенен.

Ведь прибыль владельцам плантаций должна была уплачиваться, а в сравнении с этим смерть китайца была сущим пустяком.

Джек Лондон.



КАК Я УЧИЛСЯ.

Читать сознательно я научился, когда мне было лет четырнадцать...

Жилось мне в ту пору трудно—моими хозяевами были закоренелые мещане, люди, главным наслаждением которых являлась обильная еда, а единственным развлечением — церковь, куда они ходили, пышно наряжаясь, как наряжаются, идя в театр или на публичное гулянье.

Работал я много, почти до отупения; будни и праздники были одинаково загромождены мелким, бессмысленным, безрезультатным трудом...

По воскресеньям, когда хозяева уходили в гости или гулять, я вылезал из окна душной, пропахшей жиром кухни на крышу и там читал.

Чем больше я читал, тем более книги роднили меня с миром, тем ярче, значительнее становилась для меня жизнь. Я видел, что есть люди, которые живут хуже, труднее меня, и это меня несколько утешало, не примиряя с оскорбительной действительностью. Я видел также, что есть люди, умеющие жить интересно и празднично, как не умеет жить никто вокруг меня. И почти в каждой книге тихим звоном звучало что-то тревожное, увлекающее к невидимому, задевавшее за сердце. Все люди так или иначе страдали, все были недовольны жизнью, искали чего-то лучшего и все они становились более близкими, понятными.

Книги окутывали всю землю, весь мир печалью о лучшем, и каждая из них была как бы душой, запечатленной на бумаге знаками и словами, которые оживали, как только мои глаза, мой разум соприкасались с ними.

Нередко я плакал, читая,—так хорошо рассказывалось о людях, так милы и близки становились они.

И мальчишка, задерганный дурацкой работой, обижаемый дурацкой руганью, я давал сам себе торжественное обещание помочь людям, честно послужить им, когда вырасту.

Василий Рыбаков, угрюмый парень, силач, любивший молча толкать людей плечом так, что они отлетали от него мячиком, этот молчаливый озорник отвел меня однажды в угол за конюшню и предложил мне:

— Лексей, научи меня книгу читать, я тебе полтину дам, а не научишь — бить буду, со света сживу, ей-богу, вот—крещусь. И размашисто перекрестился.

Я побаивался его угрюмого озорства и начал учить парня со страхом, но дело сразу пошло хорошо. Рыбаков оказался упрям в непривычном труде и очень понятлив.

Недель через пять, возвращаясь с работы, он таинственно позвал меня к себе и, вытащив из фуражки клочок измятой бумаги, забормотал, волнуясь:

— Глянь, это я с забора сорвал, что тут сказано, а? Погоди, „продается дом“—верно? Ну—продается.

— Верно.

Рыбаков страшно вытаращил глаза, лоб его покрылся потом; помолчав, он схватил меня за плечо и, раскачивая, тихонько говорил:

— Понимаешь—гляжу на забор, а мне будто шепчет кто: „продается дом“. Господи, помилуй... Прямо, как шепчет. Ей-богу. Слушай, Лексей, неужто я выучился—ну?

— А читай-ка дальше.

Он уткнул нос в бумагу и зашептал:

— „Двух“—верно. „Этажный, на каменном“...

Рожа его расплылась широчайшей улыбкой, он мотнул головой, выругался матерью и, посмеиваясь, стал аккуратно свертывать бумажку.

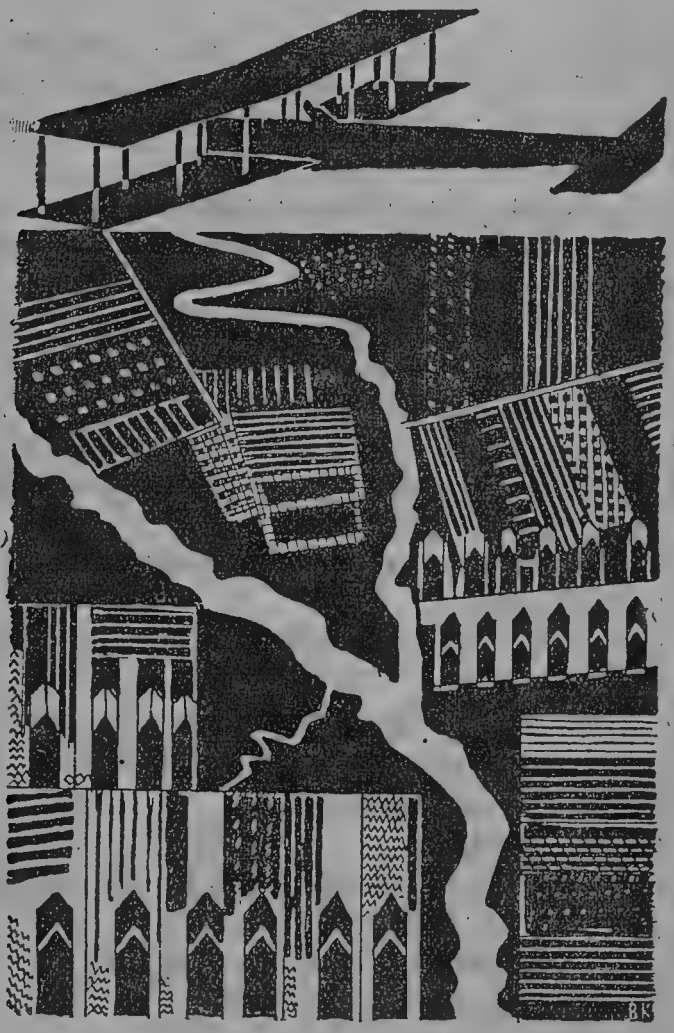
— Это я оставлю на память — как она первая... Ах, ты, господи... Понимаешь... Как будто шепчет, а! Диковина, брат. Ах, ты...

Я хохотал безумно, видя его густую, тяжелую радость, его детское милое недоумение перед тайной, вскрывшейся

перед ним, тайной усвоения посредством маленьких черных знаков чужой мысли и речи, чужой души...

Вот так же, как угрюмому озорнику Рыбакову, книги шептали мне о другой жизни, более человеческой, чем та, которую я знал, указывали мне мое место в жизни.

М. Горький.



Любите книгу—источник знания, только знание спасительно, только оно может сделать нас духовно сильными, честными, разумными людьми, которые способны искренно любить человека, уважать его труд и сердечно любоваться прекрасными плодами его непрерывного великого труда.

ПРОПИЛИ МАТРЕШКУ.

В последних числах октября я ушел с артелью плотников на железную дорогу—учиться ремеслу и деньги зарабатывать.

Недели через две, смотрю, ко мне приезжает отец.

— Ты зачем?

— Зачем, зачем, без дела не приехал бы,—бормотал он, привязывая лошаденку к коновязи.—Раз дело приспичило, значит, и приехал.

— Намедни Матрешку пропили, вот зачем... Просись у хозяина дня на четыре в отпуск.

Он ухмыльнулся, дернув бородою:

— Мы, брат, живо: чик-чик и—готова дочка попова...

— Как пропили?—остановился я, пропуская мимо ушей подозрительную веселую болтовню его.

— Разве не знаешь, как девок пропивают? Пропили—и все.

У меня упало сердце.

— За кого же? Свой деревенский, или как? Расскажи хоть толком.

— А за Мишку Сорочинского,—почему-то слишком весело воскликнул он.—Тут даже нечего рассказывать...

— За Ми-ишку?—закричал я.

Отец поднял брови.

— За кого же? Стало-быть—за Мишку... Он мужик не глупый.

Он засуетился, как побитый.

— Ну, как тебе сказать. Немного того... Как будто, видишь ли... дыть ей тоже двадцать другой год...

Отец потупился.

— Опять вино... Вина он даст на свадьбу... Ты думаешь, что та-ак. Ого. Я сам—не промах.. Два ведра вина и семь целковых денег на-чисто... Пойми-ка, эту загибулю... Два ведра... Их тоже не укупишь—нынче дорого все стало... А она—хозяйкой будет... Это, браток, много значит по крестьянству... Какая в том беда, что не молодой... Молокосос, по нынешнему времени, хуже—живо убежит в Украину... А там его ищи-свищи...

Не весело на сердце. Представляется испитое лицо „жениха“ сестры моей Моти—Мишки Сорочинского, мужика лет 30, вдовца, лохмотника, горького пьяницы. Всегда неумытого и оттого позеленевшего; волосы на голове похожи на мочало и пропитаны копотью; шея—тонкая, трясучая, из левого уха течет гной.

По слухам, он страдает нехорошею болезнью, и соседи его избегают: не пьют из одной кружки, не просят докурить цыгарки, ничего не берут взаймы.

Избенка его—без крыши и двора. Окруженная бесчисленными подпорками, стоит она, точно калека у церковной паперти, с краю деревни, уткнувшись подслеповатыми окнами в овраг. Вместо стекла—в окнах тряпки и синяя сахарная бумага, пол—земляной; входная дверь сбита с крючьев и над ней голодной пастью зияет черная дымовая дыра, обметанная сажей и пыльной паутиной. Зимой хижину заносит снегом, весной, до Троицы, у порога—зеленые лужи, в которых барахтаются чужие свиньи.

Ни скотины, ни птицы нет, землю сам не убирает, отдавая ее исполу одному из бедняков, и его же презирает за это.

И в этой смрадной яме, с постылым человеком, должна жить сестра моя—Матрена Сорочинская, Мишки-пьяницы, последнего из последних человеков, богом данная жена!..

Ив. Вольнов.

Тяжела ты, доля женская!

РАБОТНИЦА.

Склонилась тихо у станка.
Привычен труд руке проворной,
Из-под узорного платка
Задорно вьется волос черный.

* * *

Но грустен взгляд прекрасных глаз:
В нем—боль и скорбь души невинной.
Слеза, сверкая, как алмаз,
Повисла на реснице длинной.

* * *

В груди тревогу сердце бьет:
Враг властный стал с рабою рядом,
Дыханьем жарким обдает,
Всю раздевает жадным взглядом.

* * *

„Слышь... беспременно... ввечеру...
Упрешься—после не взыщи ты".
Застыла вся. „Умру... Умру"...
И нет спасенья, нет защиты.

Демьян Бедный.

ФРАНСУАЗА.

Матросы с корабля „Богородица-Ветров" месяца четыре не были на суше и теперь, сойдя на берег, робко по-двое шли по городу, как чужие, отвыкшие от городов люди... Они осматривались, обнюхивая улицы ближайшие к пристани, как будто чего-то искали. Четыре месяца они не видали женщин... Впереди их шел матрос Селестин Дюкло, здоровенный парень и ловкий. Он всегда водил других, когда они сходили на берег.

Долго матросы толкались по темным улицам, из которых несло тяжелым запахом подвалов и чуланов.

Но вот Дюкло остановился около одного дна, получше других, и повел туда своих ребят.

Матросы расселись в большом зале трактира. Каждый из них выбрал себе подругу и уж не расставался с ней весь вечер: такой был обычай в трактире. Три стола были сдвинуты вместе, и матросы прежде выпили вместе с женщинами, потом они поднялись и пошли наверх и разбрелись по отдельным комнатам. Оттуда они сходили опять вниз пить, потом опять шли наверх.

Гульба шла в развал. Все полугодовое жалованье пошло за четыре часа разгула. К 11 часам они все были уже пьяны и, с налитыми кровью глазами, несвязно кричали, сами не зная что. Кто пел, кто кричал, кто стучал кулаком по столу, кто лил себе в глотку вино. Селестин Дюкло сидел среди товарищей. С ним сидела крупная, толстая, краснощекая женщина-проститутка. Селестин выпил не меньше других, но не был еще совсем пьян.

Он смеялся и говорил:

— Так, так-то... так-то... И давно уж ты здесь?

— Шесть месяцев,—отвечала женщина.

Он кивнул головой, как будто одобрял ее за это.

— Ну что же, и хорошо тебе?

Она подумала.

— Привыкла,—сказала она.—Надо же как-нибудь. Все же лучше, чем в прислугах или прачках.

— И ты не здешняя?

Она покачала головой, в знак того, что не здешняя.

— А ты, что же, моряк?—спросила теперь она.

— Да, моряки мы.

— Много встречали кораблей?—сказала она.

— А то как же!

— Не попадалась вам „Богородица Ветров“? Такой корабль есть.

Селестин удивился, что она назвала его корабль, и вздумал пошутить.

— Как же, на прошлой неделе встретили.

— Правду, в самом деле?—спросила она и побледнела.

— Правду.

— Не врешь?

— Ей-богу,—побожился он.

— Ну, а не видал там Селестина Дюкло?—спросила она.

— Селестина Дюкло?—повторил Селестин и удивился и испугался даже. Откуда могла знать она его имя?

— А его разве знаешь?—спросил он.

Видно было, что и женщина чего-то испугалась.

— Нет, не я, а женщина тут одна его знает.

Он смотрел на нее и тревожился все больше и больше.

— Да ты-то знаешь его?—спросил он.

— Нет, не знаю.

— Так зачем же он тебе?

— Так ты ему скажи, что его отец умер и мать померла, брат тоже помер. Горячка была. В один месяц все трое померли.

Дюкло чувствовал, что вся кровь его стеснилась у сердца. Несколько минут просидел он молча, не зная, что сказать, потом выговорил:

— И ты верно знаешь?

— Верно.

— Кто же тебе сказал?

Она положила руки ему на плечи и посмотрела прямо ему в глаза.

— Побожись, что не разболтаешь.

— Ну, побожился. Ей-богу.

— Я сестра ему.

— Сестра Франсуаза?—воскликнул он.

Она пристально посмотрела на него и тихо-тихо пошевелила губами, почти не выпуская слов:

— Так это ты Селестин, брат мой?

Они не шевелились, замерли, как были, смотря в глаза друг друга.

А вокруг них остальные орали пьяными голосами. Звон стаканов, стук ладонями и каблуками и пронзительный визг женщин перемешивались с гамом песен.

— Как же это так, — тихо, так тихо, что даже она едва-едва разобрала его слова, проговорил он.

Глаза ее вдруг налились слезами.

— Да так, померли. Все трое в один месяц,—продолжала она.—Что же мне было делать? Осталась я одна. В аптеку, да к доктору, за похороны троих... продала, что было вещей, расплатилась и осталась с чем была. Поступила в прислуги к барину Кашо... помнишь, хромой такой. Мне только-что 15 лет минуло, мне ведь и 14 еще не было, когда ты-то уехал. С ним согрешила... дура ведь наша сестра. Потом в няньки поступила к одному барину,— он тоже. Сначала взял на содержание, жила на квартире. Да недолго. Бросил он меня, я три дня не евши жила, никто не берет, и поступила вот сюда, как и прочие,—она говорила и слезы ручьем текли у нее из глаз, из носа, мочили щеки и вливались в рот.

— Что ж мы наделали!—проговорил он.

— Я думала, и ты тоже умер,—сказала она сквозь слезы.

— Как же ты меня не узнала?—также шепотом сказал он.

— Я не знаю, я не виновата,—продолжала она и еще пуще заплакала.

Он поднялся, отстранил ее от себя и, схватив своими большими матросскими лапами голову Франсуазы, пристально стал вглядываться в лицо сестры.

И мало-помалу он узнал в ней, наконец, ту маленькую тоненькую и веселенькую девочку, которую он оставил дома с родными.

— Да, ты Франсуаза, сестра,—проговорил он. И вдруг рыдания, тяжелые рыдания мужчины, похожие на икоту пьяницы, поднялись в его горле. Он отпустил ее голову, ударил по столу так, что стаканы опрокинулись и разлетелись вдребезги, и закричал диким голосом.

Потом замолчал и, затаив дыхание, уставился на товарищей. Потом с тем странным и решительным выражением, с которым, бывало, вступал в драку, он шатаясь подошел к матросу, обнимавшему девку, и ударил рукой между ним и девкой, разделяя их.

— Прочь, разве ты не видишь, она родная сестра тебе! Все они кому-нибудь да сестры. Вот и эта, сестра моя—Франсуаза. Ха-ха-ха-ха...—зарыдал он рыданиями, похожими на хохот, зашатался, поднял руки и грянулся лицом на пол. И стал кататься по полу, колотясь о него и руками, и ногами, хрипя как умирающий.

Л. Н. Толстой.

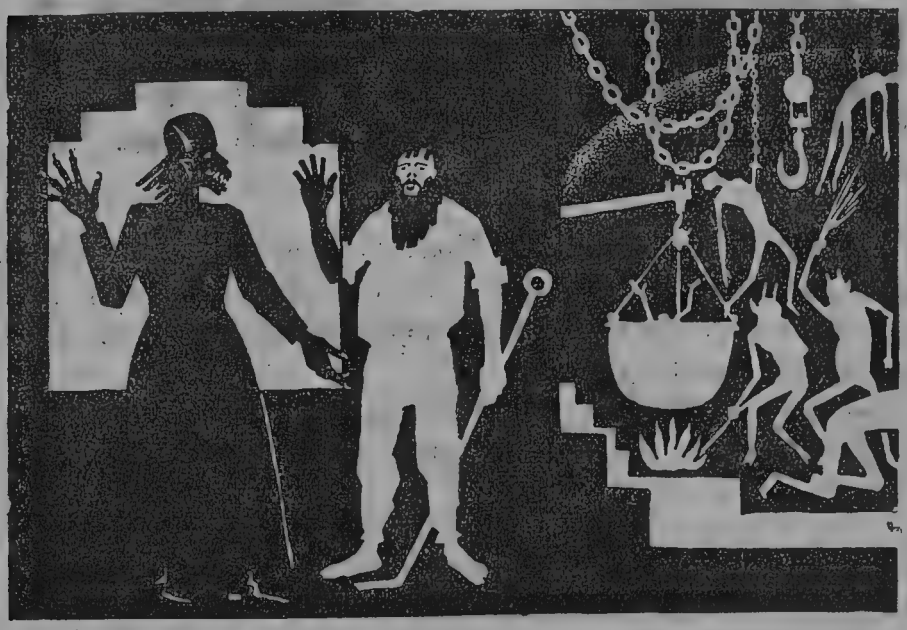
БЕС ДА МОНАХ.

(Мужиковские сказки).

Вышел монах в лес, видит—под елью бес притаился, в пекло до петухов не поспел. Хвост поджал, дрожит, словно кутенок в корыте.

Монах и говорит: „В самое время тебя мне господь послал. Сколько хожу, ни черта не вижу. А пора уж мне ваше чертово племя на разум наводить".

А бес ему и говорит: „Вот ты все чорт да чорт, а поваландался бы ты с мое пекло-то, так может еще бы и меня чертее стал. Давай мы так: на год с сего часу—я в скит на поправку, а ты в пекло на испытание. И мне, бесу, пора, да и тебе, иноку, не вредно будет".



„Ладно", монах говорит.

Сказано—сделано. Одел бес рясу и всю одежду иноческую да в монастырь на поправку, а монах нагишом, да с бесовым словом в пекельные двери на испытание.

Вот прошел год и сошлись на том самом месте монах да бес.

Бес-то в рясе, голова в масле, рога оттаяли, хвост отрублен, глаза в небо лупит и, правду сказать, брюхо вырастил. А монах что в чорта обратился, шерстью оброс, волос в хвост пошел, голова босая да вся в рогах, глаз у него жадный, сам тощий, ноги до копыт закорузли.

Вот бес-то в рясе и говорит: „Ох-хо, грехи наши тяжкие. Да как же это ты, инок, до такого образа себя допустил? Мне за тебя молиться, ай как“...

А монах и говорит бесу: „Молись,—говорит,—не молись, а мне теперь все едино. Только вот тебе мое слово: я в скиты больше не ходок. Эдакой я воли попробовал, да опять в скиты пролеживать,—ищи дурака“.

Так и разошлись по своим делам:

Бес—в скиты, а монах—в пекло.

С. Федорченко.

В МОНАСТЫРЕ.

Поползень втихомолочку
Нашел себе богомолочку.

Народная пословица

— Здесь,—богомолке так шептал монах смиренный:—
Вот здесь под стеклышком, внутри сего ларца
Хранится волосок нетленный,—
Не знаю в точности, с главы или с лица,
Или еще откуда,
Нетленный волосок святого Пуда.
Не всякому дано узреть сей волосок,
Но лишь тому, чья мысль чиста, чей дух высок,
Чье сердце от страстей губительных свободно
И чье моление к святителю доходно.
Умильно слушая румяного отца,
Мавруша пялила глаза на дно ларца.
— Ах,—вся зардевшись от смущенья,
Она взмолилась под конец:—
Нет от святителя грехам моим прощенья.
Не вижу волоска, святой отец!
Отец, молодушку к себе зазвавши в келью
И угостив ее чашкой с карамелью
И кисло-сладеньким винцом,
Утешил ласковым словцом:
— Ужотко заходи еще... я не обижу!
А что до волоска—по совести скажу:
В ларец я в этот сам уж двадцать лет гляжу
И ровно двадцать лет в нем ни черта не вижу!

Д. Бедный.

ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА.

На колокольне и под крышею церкви огонь. Сухие балки и стропила потрескивали.

Дым пополз изо всех щелей и окон. Колокольня затрещала, покосилась. Языки огня лизали крышу.

Все село бросилось к церкви. Прискакала пожарная команда.

— Сгорит церковь, где молиться будем? Бог нас за грехи, видно, наказывает.

Все суетились, метались, бегали. Все командовали, кричали, распоряжались.

— Качай, качай! Воды! Вали под крышу! На крышу, на крышу поливай!

Черные занавески закрыли окна. Вся церковь—широкая труба. Дым облаками. Огонь стихал. Подвезли воду. Насос опять заработал. На площади потемнело. Но рассвет уже смотрел серыми, бесцветными глазами. Факел почти потух. Дымил больше, чем горел. Священник Мефодий торопливо пробирался через толпу. Ему нужно домой. Отец Мефодий решил отыграться на пожаре.

У него дома была икона, точь в точь такая же, как та, что была в церкви. Он прятал ее дома от учета. Но теперь ее выгоднее было извлечь из-под спуда и выдать ее вместо той, что сгорела, объявить, что икона чудом уцелела в церкви во время пожара.

Пожар кончился. От церкви остались закопченые стены с пустыми дырами окон. Толпа молчала.

Отец Мефодий опять здесь. Бледный, без шляпы. Белокурые волосы. Чистая парусиновая ряса. Широко и уве-

ренно шагая, вышел из толпы. На паперть. Левой рукой поддерживает спрятанную под рясой икону, прижимает к груди крест. Скрылся в церкви.

— Куда это он? Неровен час, ногу сломает, в дыму задохнется,—стали говорить в толпе. Никто не ответил. Стояли и ждали. Что будет?

Мефодий с трудом пробрался внутрь по груде дымящихся обломков и мусора. От дыма отплевывался, закрывал глаза. Скрылся. Вытащил из-под рясы икону божьей матери. Ту самую—в золоте с камнями, которую дома прятал. Ведь об этом никто не знал. Сгоревшую копию считали подлинником.

— Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве тебе, владычице,—запел Мефодий, выходя из церкви.

Мефодий задыхается, но поет. Толпа еще ничего не знает. У нее только смутное предчувствие близости важного и необычайного. Затаила дыхание. Ждет. Медленно вышел Мефодий. Весь в саже. Глаза огромные. В них горит возбуждение. В руках, высоко над головой, икона. Огни золота и драгоценных камней.

— Ты нам помози, на тебе надеемся и тобою хвалимся, твои бо есмы раби. Да не постыдимся.—Священник тихо спускался с паперти. Смотрел выше толпы. Он знал, сейчас она станет его рабой. Он—победитель. В толпе уже шопот:

— Чудо. Чудо. Икона чудотворная. Неопалимая.

Мефодий остановился у самой ограды, опустился на колени. Икона все над головой. И крикнул исступленно:

— Радуйтесь, православные! Икона уцелела божественным чудом!—Крик звонкий и короткий. Хищная радость. Не человека, а хищной птицы. Вся площадь на колени. Головы обнажены.

На коленях поползли мужики к иконе. Мефодий встал.

— Не допущу.—Он грозен, неумолим.

— Покайтесь сначала. Помолитесь. Тела и крови Христовой вкусите.—В толпе горестный вздох.

Мефодий пошел. Икона над головой. Вся толпа встала, толкаясь, бросилась за ним.

— Богородице, дево, радуйся.

Из домов выбегали старики и старухи, падали на колени, крестились, клали земные поклоны.

— Чудо. Чудо великое. Радуйтесь, православные!

— Богородице, дево, радуйся...

Церковь еще дымилась.

В. Зазубрин.

Попы—трутни, живут на плутни.

1.

Мужик-бедняк, худой, худой,
Трясет седою бородой:
— „Вот, батюшка, хохлаточка...
Хохлаточка... хохлаточка...“
На мужичке, на что ни глянь,—
Шапченка—рвань, лаптишки—дрянь,
И на плече заплаточка...
Заплаточка... заплаточка...

2.

Стара бабенка и слаба,
Согнулась божия раба:
— „Вот, батюшка, пеструшечка...
Пеструшечка... пеструшечка...
Яичек тож десятка два...“
И на ногах стоит едва
Убогая старушечка...
Старушечка... старушечка...

3.

Попу расперло рожу - во!
— „Хохлатка, правда, ничего...
Яичек я попробую...
Попробую... попробую...
Авось, еще кто принесет“...
Смеется батя и трясет
Оплывшею утробою...
Утробою... утробою...

4.

Досель в духовной кабале
Кротами темными в земле
Крестьяне наши роются...
И роются... и роются...
Когда ж разбудит их гроза?
Когда ж, когда ж у них глаза
На трутней всех откроются...
Откроются... откроются?..

Демьян Бедный.

„Покорны будьте и терпите“,—
Поп в церкви с кафедры гласил,—
„Молитесь богу, приходите,
Давайте нам по мере сил“.

Н. А. Добролюбов.

ДОЖДЕВОЙ БОГ.

Рассказ.

Поступил чувашенин Васька к попу в работники.

Поступил от нужды. Впрочем, была у него и одна тайная цель.

В той заволжской стране несколько лет подряд случились неурожаи. Не шли дожди, да и только.

Дождевой бог забастовку делал,—так объясняли чуваши засуху.

От этой самой забастовки Васька и впал в нужду. В своем родном селе он был шаманом, то-есть попросту—чувашским попом.

В урожайные годы чуваши были добрые и кормили своего шамана, как заправского попа, но в голод кормить перестали. А главное—от Васьки никакой пользы не видели.

Как ни старался шаман вызвать дождь, как ни вертелся волчком, как ни кривлялся—ничего у него не выходило.

Так за что же было его--дармоеда—кормить!

И вот поступил Васька к попу в дальнюю волость. Поступил, чтоб подкормиться, а за одно и насчет дождя узнать.

Этот поп по части дождя шаманил удачно. Не успеет вытти с иконами за околицу, как с неба словно из дырявой кадки вода так и польется.

Васька знал, что у русских много богов, больше чем у чувашей. Когда чувашские идолы забастовали, он молился и Миколе Угоднику, и Богородице, Спасу, но дождя все равно не выходило.

Тогда Васька решил, что у русских есть особливый дождевой бог, которого он не знает и которого нет среди чувашских божков.

Наблюдение над попом вскоре подтвердило Васькину догадку.

Когда мужики просили насчет молебна о дожде, поп всегда зачем-то уходил в светлицу, плотно прикрывал за собой двери, через короткое время возвращался и твердо объявлял, пойдет с иконами иль нет.

Однажды Ваське удалось проследить, зачем ходит хозяин в светлицу.

В светлице на стене висела какая-то штука, в роде часов, прикрытая стеклом.

Поп постучал пальцем по стеклу и стал внимательно наблюдать...

„Наверно, это и есть дождевой бог,—решил Васька,—а поп его разбудил и смотрит: добрый ли он сейчас или нет.“

Вскоре Васька узнал, что дождевого бога зовут барометром. Но как он ни разглядывал хитрую штуку, понять не мог.

На белом кружке нарисованы таинственные знаки. В середине дыра, через которую видна свернувшаяся в кружок медная пластинка. Над пластинкой привинчена стрелка... В роде часов, но без маятника, и всегда молчит. Молчит, но странным образом помогает попу вызывать дождь...

Что все дело зависело от этой штуки, подтвердил следующий разговор попа с попадьей после удачного молебна.

— Ну, мать,—сказал поп, подсчитавши выручку,— барометр сегодня славно заработал. Хотя ученые и безбожники, но уважаю их за эту умную штуку...

В скором времени поп поехал в губернский город и взял работника с собой.

— Получишь заработанные деньги,—сказал он Ваське,—и купишь себе сапоги, негоже попову работнику ходить в лаптях.

И вот в городе, плутая по улицам, Васька вдруг остановился, как вкопанный.

На большом зеркальном столе среди других предметов прямо на Ваську глядел дождевой бог, точь в точь, как у попа в светлице.

Васька вошел в двери,—это был магазин школьных принадлежностей,—и спросил насчет цены.

Оказывается,—дождевой бог стоил столько, сколько хорошие сапоги.

Васька без торгу выложил деньги.

Словоохотливый приказчик объяснил ему устройство барометра:

Перед дождем воздух становится тяжелым и давит на все предметы. Люди это редко замечают, но чувствительная пластинка от давления изменяется и передвигает стрелку к тому месту, где написано „дождь“, и приказчик толкнул пальцем в это место.

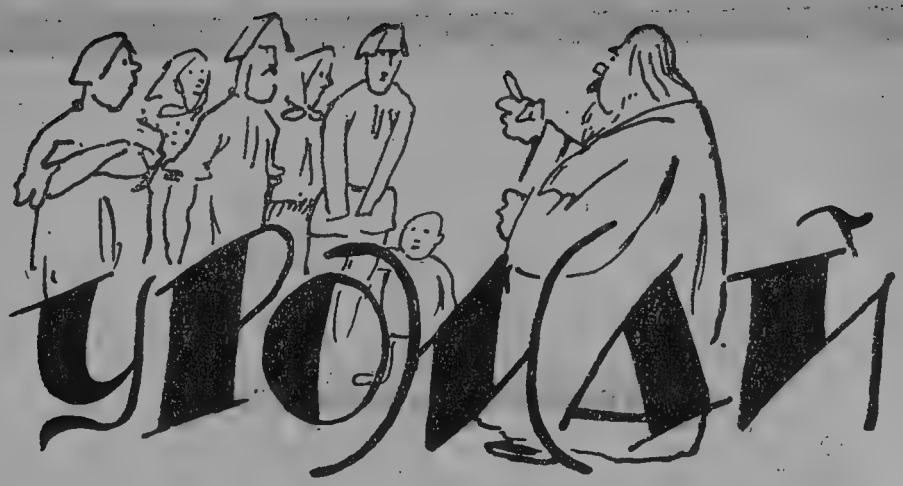
Далее приказчик показал другие барометры, похожие на градусники, которые более точно предсказывали погоду, но Васька о них и слушать не хотел.

— Для батюшки, наверно, покупаешь?—спросил в заключение приказчик.—У нас эти инструменты только попы и берут...

Теперь Васька—уже не Васька, а Василий Иванович, и шаманит он попрежнему в родном селе. И шаманит он не хуже попа.

Чуваши уже его не считают дармоедом.

Н. Константинович.



Как у попа Ипата
Не борода—лопата.
Расправивши ее оплывшею рукой,
Печальных мужиков намедни
В конце обедни
Поп речью потчевал такой:
„Ох, вижу: в промыслах мирских погрязли все вы,
Не богомольцы вы весной,
Все только думки про посевы:
А не побил бы град, а не спалил бы зной.
Почто мятетеся и плачетеся вскую?
Бог видит нашу скорбь и всю нужду людскую,
Казня и милуя нас, грешных, поделом.
Не судьи мы господней воле.
Идите же со мною в поле,—
На всходах отпоем молебен всем селом,
И ущедрит вас бог зерном по вашей вере,
И будет хорошо приходу и попу.
С вас много ль надо мне: с копенки по снопу,
Аль с закрома по мере“.
Читатель, не мудри и зря не возражай.
Поп линию свою ведет примерно.
Помолится, и будет урожай—
У мужиков? .. бог весть! А у попа—наверно.

Д. Бедный.

Будешь ждать милостей господних,—останешься без исподних.

Поповская камаринская.

Зарыдала горько матушка.
Напился ее Панкратушка,
Нализался, налимонился.
С попадьей не церемонился:
Ухватив ее за холочку,
Всю измял ей батя челушку:
— А блюди себя, блюди себя, блюди.
На молодчиков в окошко не гляди.
Не до жиру, быть бы живу нам теперь:
К нам беда, лиха-беда стучится в дверь.
Ох, пришел конец поповскому житью!
Вот в того-то я и пью, с того и пью.

С жизнью кончено привольною.
Стала Русь небогомольною,
С храмом нет союза тесного.
Уж не чтут царя небесного,
Ни блаженных небожителей,
Чудотворцев и целителей,
Добралися до таинственных вещей:
Раскрывают в день по дюжине мощей.
А в серебряных-то раках—ох, грехи!—
Ничего-то нет, опричь гнилой трухи,
Стружек, ваты да толченых кирпичей.

РЯДОВОЙ.

От нив родных его отняли,
Где он трудился, словно вол.
—Возьми ружье,—ему сказали,—
Поди убей. И он пошел.
И там, на бранном поле, встретил
Таких же пахнущих землей.
Спросил: зачем? Но не ответил
Ему угрюмый рядовой.
Все быстро двинулись толпой,
Взводя послушные курки.
Окоп... и брызнувшей струей
Уже окрашены штыки.
А он, земли покорный данник,
С глубокой раною в груди,
Он, пули мстительной избранник,
Лежит далеко позади.
И взор его полуоткрытый
Так неподвижен, жутко нем,
И в нем все тот же не забытый
Вопрос таинственный: зачем?

Илья Ионов.

ЧАСТЬ III.

БОРЬБА.

УТЕС

Есть на Волге утес; диким мохом оброс
Он с боков, от подножья до края,
И стоит сотни лет, только мохом одет,
Ни нужды, ни заботы не зная...
На вершине его не растет ничего,—
Только ветер свободный гуляет,
Да могучий орел свой притон там завел
И на нем свои жертвы терзает.
Из людей лишь один на утесе том был,
До вершины утеса добрался,
И утес не забыл человека того
И с тех пор его именем звался.
И хотя каждый год по церквам на Руси
Человека того проклинают,
Но приволжский народ о нем песни поет
И с почетом его вспоминает...
Раз ночною порой, возвращаясь домой,
Он один на утес тот взобрался
И в полуночной мгле на высокой скале
Там всю ночь до зари оставался.
Много дум в голове родилось у него...
Много дум он в ту ночь передумал
И, под говор волны, средь ночной тишины,
Он великое дело задумал...
Но свершить не успел он того, что хотел,
И не то ему пало на долю;
И расправой крутой, да кровавой рукой
Не помог он народному горю...

Не владыкой он был на Москву приведен,
Не почетным пожалован гостем,
И не ратным вождем, на коне и с мечом,
А в постыдном бою с мужиком-палачем
Он сложил свои буйные кости...
И поныне стоит тот утес и хранит
Все заветные думы Степана
И лишь с Волгой одной вспоминает порой
Удалое житье атамана.
Но зато, если есть на Руси хоть один,
Кто с корыстью житейской не знался,
Кто неправдой не жил, бедняка не давил,
Кто свободу, как мать дорогую, любил
И во имя ее подвизался,
Пусть тот смело идет, на утес тот взойдет
И к нему чутким ухом приляжет;
И утес-великан все, что думал Степан,
Все тому смельчаку перескажет.

А. А. Навроцкий.

ЗАБАСТОВКА.

В жизнь завода вдруг ворвалось что-то новое. Откуда-то пошли слухи об увольнениях рабочих, о сокращении заработка, слухи неясные, но сразу заставившие насторожиться. Пожилые семейные люди заволновались. Вечерами на лавочках возле казармы, где был „бабий клуб", говорили уже не о разбойниках и кладах, а вот об этих слухах. И тревожились.

— Если это правда, куда мы денемся? Куда пойдем?

— Ну, глядишь, до нас не дойдет.

— Авось бог помилует...

Но бог не миловал: дошло.

Раз утром—это было уже после Ильина дня—перед контрольной будкой [1]) собралась большая шумная толпа рабочих. Гудок уже прогудел, но никто не шел во двор.

— О чем тут шумят?—спросила она у бородатого рабочего.

— Да вот каталям сбавили, а те работать не хотят. И других рабочих просят не работать, чтобы поприжать контору,— живо ответил рабочий.

Резкие крики стояли над толпой. Рабочие спорили, кричали, ругались. Каталя—сибирские мужики, все богатыри, как на подбор, стеной стояли перед будкой, загораживая проход.

— Выручай, братцы, нынче нас прижали, завтра вас...

— Правильно. Вместе надо действовать.

— Как это вместе? Каталя не рабочие. Волга замерзнет, они все домой уедут. На печке спины греть будут. Их дело особое. Они мужики...

— А ты из мужиков давно ли? Две зимы проработал и уже нос гнешь?

— Правильно, вместе надо. Поддерживай, ребята!

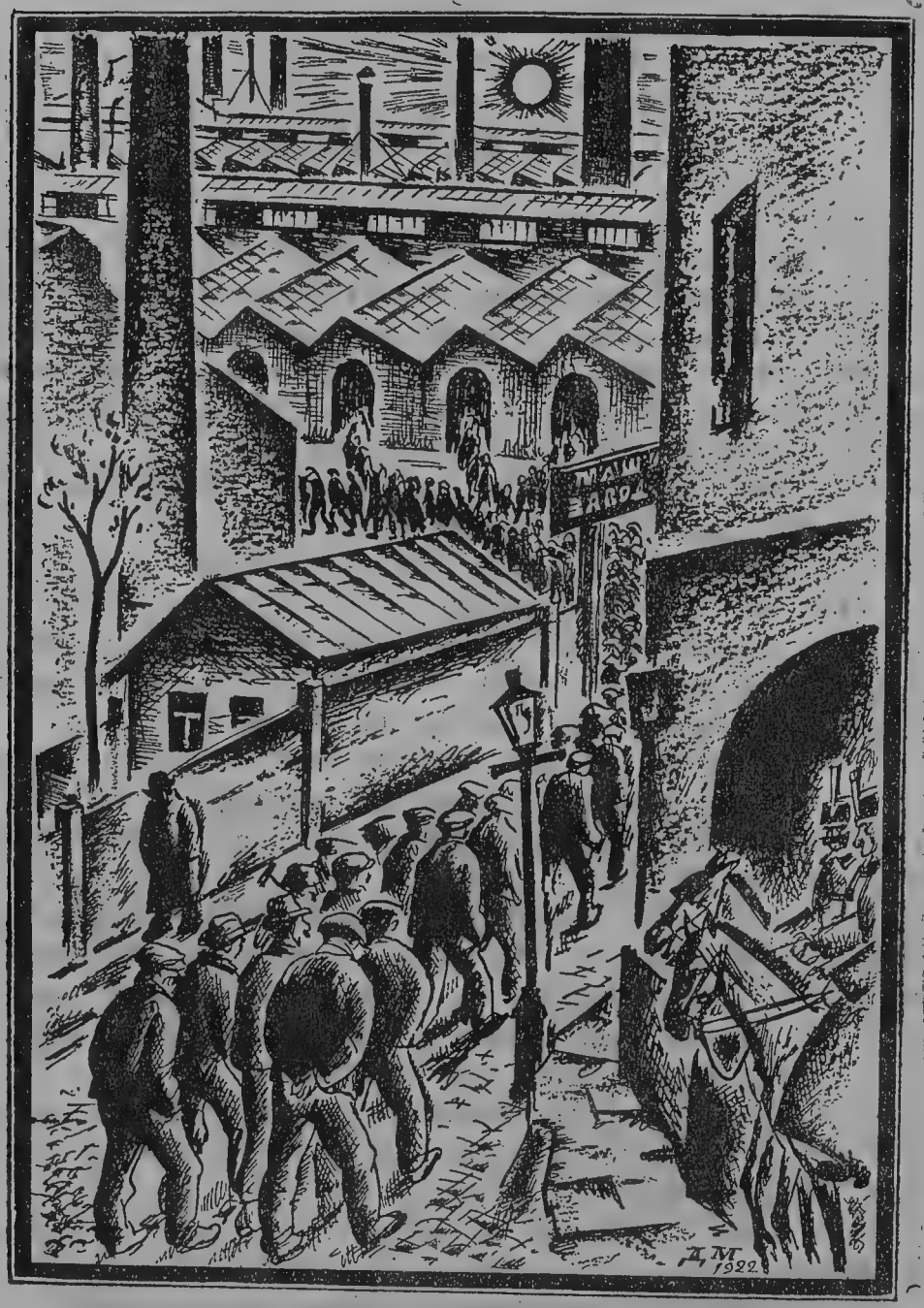
— Забастовку объявить,—крикнул чей-то молодой голос в середине толпы,—если дадим наступить себе на ногу, нас заедят. Рабочий за рабочего должен горой стоять. Все мы из одной

---

[1]) Контрольная будка—будка, через которую пропускают рабочих для контроля за ними.

конуры, все одним миром мазаны. Разве теперь время разбирать что каталя зимой делают!

— К конторе! К конторе...—зашумела толпа.



И не через будку, а через ворота всей толпой, шумной, возбужденной пошли к конторе. Шли, поднимая пыль, решительные. Впереди каталя.

Из-за корпусов еще показались рабочие—ночная смена, слились с толпой, пошли вместе. А там уже их ждали. Коренастый

помощник управляющего стоял на крыльце. Черный, как жук, злой. Только толпа сгрудилась, он резко закричал:

— Бунт затеяли? Или забыли прошлое? Сейчас же на места! Табельщики, идите по мастерским и записывайте, кого нет на работе. Потом мы поговорим с теми. А вы,—резко сказал он, обращаясь к толпе,—марш на работу.

Повернулся и пошел с крыльца. Табельщики один за другим стали пробираться через толпу. Толпа заревела от гнева. Рабочий Федор решительно сдернул с себя фуражку, замахал ею в воздухе и закричал:

— Стой, братцы! Аль мы собаки, что нами собираются помыкать?

В густом шуме нельзя было разобрать отдельных слов. Видно было, как рабочие выскакивали на крыльцо конторы, махали руками, что-то кричали и снова ныряли в толпу.

А. Яковлев.

ЗАВЕЩАНИЕ.

Как умру—похороните
На Украйне милой;
Пусть курган в степи широкой
Будет мне могилой.
Положите так, чтоб видел
Я луга и кручи;
Чтобы слышал, как волнами
Днепр ревет могучий...
Схоронивши, поднимайтесь,
Цепи разорвите,
Злою, вражескою кровью
Волю окропите,
И меня в семье великой.
В братстве вольном, новом
Помянуть не позабудьте
Добрым, тихим словом.

Т. Шевченко.

Братская семья вольных трудовых народов Союза Советских Социалистических Республик чтит память великого поборника и певца Украины, стонавшей веками под ярмом царей российских. Имя Тараса Григорьевича Шевченко бессмертно.

ПОЛЕВОЙ СУД.

Крестьяне села Селитьбы собрались на сходе и составили приговор о „полевом суде".

Решили они выехать в поле, созвать туда со всей округи „окольных людей", пригласить графского управляющего, уведомить об этом исправника и земского начальника и, в присутствии окольных людей, пред лицом начальства, показать управляющему „царскую грамоту", а затем потребовать, чтобы и он положил на стол рядом с ней те документы, по которым граф владеет землей. И тогда—как решат окольные люди, так и будет: коли присудят землю графу—покориться и разойтись, а присудят мужикам—то запахать ее тут же, торжественно, всем селом: пусть тогда граф судится и сам доказывает свое право.

Вдали, с горы, со стороны графской усадьбы, спускался по дороге экипаж и несколько всадников.

Толпа загудела. Выделялись отдельные восклицания:

— Исправник едет!

— А верхами-то урядники!

— Управитель-то! Рядом с исправником!

— И земский с ними!

— И все на графских лошадях! Ха-ха!

Подъехавший исправник быстрым взглядом окинул море голов, табор, костры и сохи и спросил хриповатым басом:

— В чем дело? Зачем собрались?

Вся толпа заговорила разом. Даже бабы что-то кричали волнуясь и поднимая руки к небу.

Раздались голоса из толпы:

— Епанешников, говори! Или ты, Башаев!

Стал говорить Башаев—молодой, лет тридцати, живой, энергичный мужик небольшого роста, с курчавой светлой бородкой.

— Ваше благородие!—взволнованно, смело, звонким голосом крикнул он,—мы не воровать приехали! Мы приехали свою землю пахать! Свою! Будьте свидетели! Вот здесь на-лицо господин управляющий, а вот окольные, посторонние люди: мы сами их

призвали! Пусть нас здесь рассудят, будем в поле судиться, как наши прадеды судились. Ваше благородие, посмотрите: вот на этом столе лежит царская грамота, царская! дарственная! от самого в бозе почившего царя Алексея Михайловича. Наша земля! Почему же ей владеет граф? Пускай господин управляющий положит на другой стол графскую грамоту! Може, его грамота сильнее—тогда мы уедем, там уже окольные люди будут судить! Мы требуем, нам желательно, чтобы показал, положил... Мы двадцать лет... Пусть положит!

Звонкий голос его разносился по всему полю.

— Пусть положит!—густо откликнулась толпа.

Исправник замахал платком.

Когда гул затих, он закричал:

— Предупреждаю, вы затеваете противозаконное. Никакого полевого суда нет и быть не должно. Убеждаю вас разойтись по домам.

— Не разойдемся, пусть прочитают документ.

Толпа оскорбленно рычала.

— Господа окольные люди!—нараспев зазвенел голос Башаева.

Он показался на столе, видный всем, и, протягивая к народу развернутую хартию, не то кричал, не то пел:

— О-коль-ны-е лю-ди-и! Видели вы нашу царскую грамоту? вот она-а! глядитя! во-от! видели?

— Видели!—ухнула тысяча голосов.

— А управитель... своей графской грамоты... не показа-ал?

— Не показал!—прокатилось по всему полю.

— Стало-быть—чья земля?

— Ваша!—в один голос грянули „окольные люди“.

— А коли на-ша-а,—торжествующе продолжал Башаев, все повышая и повышая свой звонкий голос и возбуждением своим заражая толпу,—коли она, матушка, на-ша-а, то как же повелите вы сделать нам, господа окольные люди? Па-ахать?

— Пашите!—загрохотало поле.

— Бунтовать.

Исправник, земский и управляющий устремились в коляску. Старшина помогал им.

— Я еду к губернатору!—взволнованно сказал исправник.

Четыреста пахарей приступили к делу.

Три дня и три ночи, всем табором и не отпуская от себя „окольных людей“, жили они в поле, дожидаясь губернатора.

На четвертый день он явился к ним—все с тем же исправником, с земским начальником, окруженный конной стражей, с возом свежих розог, нарезанных в графском лесу.

Грозным, взбешенным, неистовым предстал губернатор.

Завидя его, встала вся толпа на колени, а старшина и Епанешников поднесли хлеб-соль. Мольба была на лицах толпы и слезы стояли на глазах ее.

Но ударил он по хлебу и рассыпал соль.

Не говорил—визжал губернатор... Клейкая слюна брызгала изо рта его на золотое шитье мундира.

Начал он речь свою словами: „бездельники“, „разбойники“ а кончил криком: „будете наказаны!“

И велел схватить „зачинщиков“.

Было их схвачено сорок три, самых старых, самых почтенных, самых уважаемых, лучших людей Селитьбы.

Тут же, на захваченной земле, положили их.

Молча и покорно легли они на родимую землю, окруженные густым кольцом губернаторской стражи, и слышно было, как свистели в воздухе длинные прутья, да раздавались глухие, сдержанные, словно подземные, стоны.

Толпа безмолвно и неподвижно стояла все здесь же, и слезы текли по лицам ее.

По сто ударов получили они.

На мужицкие же телеги замертво положили их, окровавленных, и повезли, как везут с бойни освежеванное мясо.

Кровавая лужа осталась на месте казни.

Целый год они сидели в тюрьме в ожидании суда, того настоящего подлинного суда, которого так долго добивались. Крепкие натуры вынесли жестокую пытку.

Через год их судили в том самом маленьком городке, который в дымке волжского тумана был виден из Селитьбы, откуда призвали они „окольных людей".

Скиталец.

Тот не погиб, кто погиб за великое дело.

Песня о земле и воле.

Как со матушки, со Волги,
Со широкого раздолья,
Поднялась толпой—народом
Сила русская сплошная.
Да как кликнет громким кличем:
„Добры молодцы, идите,
Добры молодцы, сбирайтесь
С Бела моря ледяного,
Со степного Черноморья!
По родной Руси великой,
По Украйне по казацкой,
Отстоим мы нашу землю,
Отстоим мы нашу волю!
Чтоб земля нам да досталась,
Воля вольная сложилась,
Барской злобы не пугалась,
Властью царской не томилась!“

„У нас тоже дисциплина".

(Стачка в Ростове).

За городом происходит в разгаре стачки очередной митинг. Двадцать тысяч народа. Рабочие, женщины, дети. Оратор говорит о борьбе рабочих, об их доле, о том, что вся Россия уже следит за стачкой мастеровых.

Но в верху балки уже приготовлена полиция. Внизу—поодаль от толпы—войска.

И вот, когда стачечники, увлеченные речью своего вожака, слушают его, группа полицейских чинов проявляет какое-то оживление. От нее бежит гонец к расположенным на дне балки казачьему эскадрону и пешей сотне. Потом он также бегом возвращается. Войсковые части выстраиваются. Одновременно снова на той же возвышенности, где он появился и в первый раз, показывается полицеймейстер.

— Сборище, разойдись!—внезапно раздается полувизгливый, полусрывающийся злой голос, и головы собравшихся оборачиваются к нему. Оратор обрывается на полуслове.

У казаков уже взяты на руки пики. Пехота заряжает ружья.

— Ту-ра-та-та-та-та,—раздается тревожная игра военного трубача, и все смолкает.

Не окончившего свою речь Брагина (оратор Донского комитета) сменяет Ставский (рабочий, вожак стачечников), поднявшийся для того, чтобы видеть происходящее.

— Разойдись, еще раз приказываю!—несется по балке полицейский окрик.

— Пей нашу кровь, душегуб, если хочешь!—кричат в ответ из толпы рабочие, делая движение по направлению к возвышенности, на которой стоит полицейский.

— Изверги, кровопийцы!—вырываются восклицания.

Эскадрон казаков приходит в движение и вдруг несется на замершую толпу.

— Ах!—вырывается из рядов собравшихся.

Замерший Ставский смотрит сперва на эскадрон, потом убито оглядывает трепещущую массу собрания, и вдруг его что-то осеняет.

— Товарищи,—взывает он повелительно к собранию:—ни одного движения. Ни нападать, ни защищаться. Все садитесь. Падайте на землю. Садитесь...

И тут же, соскакивая, он и сам садится и заставляет сесть окружающее его ядро рабочих.

Его предложение сразу схватывается толпой, она садится. Балка делается необычайно просторной. Подскочивший эскадрон оказывается перед решившимися умереть под ногами лошадей, но не разбегаться, сидящими людьми—мастеровыми, женщинами, детьми.

Это обескураживает и казаков и их командиров.

Некоторое время растерянно не движутся усмирители и выжидающе следит за ними сидящая толпа.

Наконец, командующий казаками, чахоточный есаул, злобно вытянувшись в сторону поднявшегося Ставского, кричит ему, как мученик, с лошади:

— Понимаете, изничтожим всех. Мы не посмотрим на это. У нас дисциплина. Растопчем...

— У нас тоже дисциплина,—кричит Ставский.—Бейте детей, если хотите. Сидите, товарищи...

Есаул, подняв глаза к тому месту, где был полицеймейстер, отдававший распоряжения, махнул с отчаянием рукой и повернул лошадь.

Эскадрон, потоптавшись на месте перед крайними рядами, в которые почти уперлись головы лошадей, отступил. Он не имел никаких указаний начальства для подобных случаев...

Через несколько дней озлобленная полиция стреляла в стачечников.

Васильченко.

ДЕВЯТОЕ ЯНВАРЯ.

Неволи царской боль остра...
Кто дерзко встанет на пороге,
Кто прозвенит в мятежный рог:
Пора, пора, пора...

О, день суровых первых проб,
Призывный праздник января,
Отцовской веры верный гроб,
Грядущего заря!

Довольно в сумерках гореть,
Пора свободу дать сердцам,
Разрушить гнет иль умереть,
В последний раз—к дворцам.

О, дайте, дайте нам вздохнуть,
Открыть на волю дайте дверь!
И грянул залп... Железом в грудь
Ответил лютый зверь...

Но в окровавленном снегу
Услышит ветер наш зарок,
Он прозвенит в железный рог.
В ответный рог—врагу.

Самобытник.

9-е ЯНВАРЯ.

... Толпа напоминала осенний, темный вал океана, едва разбуженный первым порывом бури: она текла вперед медленно. Серые лица людей были подобны мутно-пенному гребню волны.

Говорили негромко, серьезно, как бы оправдываясь друг перед другом.

— Нет больше возможности терпеть, вот почему пошли...

— Без причины народ не тронется...

Разве царь этого не поймет?..

Больше всего говорили о „нем“, о царе, убеждали друг друга, что царь добрый, сердечный и — поймет, все поймет...

Порою в толпе раздавался дерзкий человеческий голос:

— Товарищи, не обманывайте сами себя...

— Товарищи, свободу не просят, а завоевывают.

— Ах, Господи...

— Только бы допустили нас...

— Отец Гапон лучше знает, как...

Толпа прошла из улицы на берег реки к Троицкому мосту и увидела перед собой длинную, ломаную линию солдат, преграждавшую ей путь на мост. Толпу остановила эта тонкая серая изгородь.

Люди впереди толпы замедлили свой шаг. Иные оглянулись назад, другие отошли в сторону.

— Ура, солдаты!—крикнул кто-то.

Офицер в желтом башлыке выдернул из ножен саблю и тоже что-то кричал навстречу толпе, помахивая в воздухе изогнутой полоской стали. Солдаты стали неподвижно, плечом к плечу друг с другом.

— Назад! — донесся крик офицера.

Несколько человек оглянулись. Позади них стояла плотная масса людей, из улицы в нее лилась бесконечным потоком темная река рабочих. Толпа, уступая ее напору, раздавалась, заполняя площадь перед мостом. Несколько человек вышло вперед и, взмахивая белыми платками, пошли навстречу офицеру. Шли и кричали.

— Мы — к государю нашему...

— Вполне спокойно...

— Назад. Я прикажу стрелять...

Худой, высокий человек с голодным лицом и черными глазами вдруг закричал:

— Стрелять? Не смеешь...

И, обращаясь к толпе, громко, злобно продолжал:

— Что? Говорил я — не пустят они...

— Кто? Солдаты?

— Не солдаты, а те, что во дворце.

— Выше которые. Ага! Я уже говорил.

— Это еще неизвестно...

— Узнают, зачем идем — пустят...

Шум рос. Были слышны гневные крики. Движения людей стали нервнее, суетливее; от реки веяло страшным холодом. Неподвижно блестели острея штыков.

Перекидываясь восклицаниями и подчиняясь напору сзади, люди двигались вперед.

И вдруг в воздухе раздались выстрелы. Стреляли солдаты. Масса продолжала тихо двигаться вперед.

Но тут и там раздавались стоны, у ног толпы легло несколько тел. Женщина, громко охая, схватилась рукою за грудь и быстрыми шагами пошла вперед, на штыки, вытянутые навстречу ей. За ней бросились еще люди и еще, охватывая ее, забегая вперед нее.

И снова треск ружейного залпа, еще более громкий, более неровный.

Наклонив головы, люди группами бросились вперед подбирать мертвых и раненых. Раненые тоже кричали, грозили кулаками, все лица вдруг стали иными, и во всех глазах сверкало что-то почти безумное. Многие кричали

солдатам слова упреков и ругательств и жалобы, размахивали руками.

Солдаты стояли неподвижно, опустив ружья к ноге, лица у них были тоже неподвижные, кожа на щеках туго натянулась. Казалось, что у всех солдат—белые глаза и смерзлись губы...

В толпе кто-то кричал истерически громко.

— Гапон изменник! — вопил подросток мальчик, взлезая на фонарь.

— Что, товарищи? Видите, как встречает вас царь?

— Ребята... Конница.

— Беги...

Стена солдат поколебалась и растворилась, как две половины деревянных ворот. Танцуя и фыркая, между ними проскакали лошади, раздался крик офицера, над головами конницы взлетели сабли, замахнулись все в одну сторону. Толпа стояла и качалась, волнуясь, ожидая, не веря.

Стало тише.

— Ма-арш! — раздался неистовый крик.

Как будто вихрь ударил в лицо людей. Все бросились бежать, толкая и опрокидывая друг друга, кидая раненых, перепрыгивая через трупы. Тяжелый топот лошадей настигал, солдаты выли, их лошади скакали через раненых, упавших, мертвых, сверкали сабли, порою был слышен свист стали и удар ее о кость. Крик избиваемых сливался в гулкий и протяжный стон...

— А-а-а...

Солдаты взмахивали саблями и опускали их на головы лошадей, и вслед за ударом тела их наклонялись на бок. Лица у них были красные, безглазые и точно опухшие. Ржали лошади, страшно оскаливали зубы, взмахивая головами...

Народ загнали в улицы...

На углу у забора собралось несколько десятков людей, и в середине чей-то острый, задыхающийся голос звучал тревожно и злобно:

— Гапон вчера был у министра, он знал все, что будет, значит, он изменник нам, значит, он повел нас на смерть.

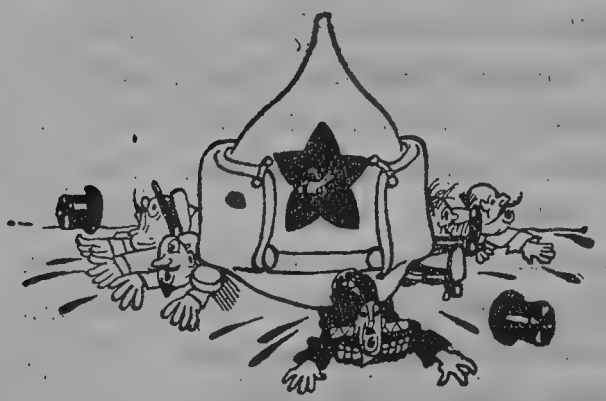
— Какая ему польза?

— А я — знаю? Какая польза народ убивать? Кто это знает?

Всюду разгоралось волнение, перед всеми вставали вопросы, еще неясные, но уже каждый чувствовал их важность, глубину, суровый тон, настойчивое требование ответа. В огне волнения все более быстро истлевала вера в помощь извне, надежда на чудесного избавителя от нужды.

На бледных лицах выступало иное решение.

М. Горький.



Свободу не просят, а завоевывают.

„...Труженик и страдалец земли русской! Ты ненавидишь помещика, ненавидишь подъячего, боишься их—и ты совершенно прав; но ты веришь еще в царя и архиерея... не верь им. Царь с ними и они его“.

Герцен.

Никто не даст нам избавленья.
Ни бог, ни царь и ни герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.

„Интернационал“.

РАСПРАВА.

...Поле топотом гудит,
В поле тучей пыль висит,
То не хан с ордой идет
Полонить честной народ;
Не турецкий царь Салтан
Едет грабить христиан,—
То идут, спешат стрелочки,
Все крестьянские сыночки;
А начальство у стрелков
Из дворянских все сынков.
Царь в поход их снарядил,
Поп крестом благословил,
А настал отправки час,—
Прочитали им приказ,
Чтобы в поле не робеть
Да патронов не жалеть.
Ой, и быстро же идут,
Ружья меткие несут.
Впереди-то генералы,
По бокам бегут капралы,
Офицеры на конях,
В эполетах, в орденах,—
Все команду отдают,
Барабаны громко бьют;
Трубы кованы трубят,
Пушки медные блестят.
Словно лес густой — штыки,
Пулеметчики легки.

* * *

* * *

Ой, вы, каиновы дети,
На кого ж орудья эти?

* * *

Вот к деревне подошли,
Пулеметы навели.
— Эй, какой тут есть народ,
Выходи-ка все на сход.
Вылезай из изоб вон,
Мы покажем вам закон.
Высыпают мужики;
Стали против них стрелки.
Генерал тут держит речь:
— А, так вы именья жечь.
Вы просить земли и воли.
Я попотчую вас вволю:
Сколько хочешь, дам земли.
Эй, по-взводно, рота, — пли!
Грянул залп, за ним другой.
Огласил деревню вой.
Метки пули у стрелков:
Пало много мужиков,
А старинушке Даниле
Прямо в сердце угодили.
И пошла игра-потеха...
Да крестьянам не до смеха.
Бабы, девки, берегись,
Прыгай в реченьку, топись...

* * *

А потом сожгли строенья,
Лишь остался от селенья
Придорожный старый крест...
Вот и царский манифест.

* * *

А войска царевы с пеньем
По другим пошли селеньям
Волю царскую творить,
Мужиков землей кормить.
Хвалят их попы за это
И поют им „многи лета“...

(С. Басов-Верхоянцев. „Конек-Скакунок“).

Про солдатское ученье в старой армии.

Корень ученья горек, а плоды его—
Солдаты палят, куда им велят.

УСМИРЕНИЕ.

Набат раздался через полчаса, не более. Под окнами проскакал верховой.

— Скорее... Скорее...

Толпа крестьян стояла грозная, молчаливая, как будто притаившаяся. В центре ее колыхалась кривая жердь с красным платком.

Медленно, нестройно толпа поползла по шаткому мосту через реку к имению князя Осташкова-Корытова.

Впереди—шахтер с ружьем через плечо, рядом с ним Дениска и слободские парни...

У всех в руках дубины или вилы. За ними, как рассвиреневшие быки, тянулись остальные.

У палисадника встретил часовой. Он взял ружье наперевес, крича:

— Не подходить... Нельзя...

Солдат дал сигнальный выстрел, с боков и от подъезда ему ответили другие часовые. Часть мужиков разбежалась по парку. Часть бросилась к людской, где квартировали стражники.

Из караулки, смежной с домом, выскочило человек двадцать солдат в боевой готовности. А из дома, одновременно с ними, молодой, еще мальчик, офицер.

— Грабители. Бунтовщики. Мерзавцы. Разойдись,—кричал он, становясь на носки...

Солдаты, растянувшись цепью по дорожке, за клумбами, стреляли пачками. В них летели поленья, камни, комья мерзлой земли.

У нас падало все больше и больше, а солдатам было хорошо за клумбами. Тогда Никита Пузырев, тоже солдат, пришедший из Варшавы на побывку, Петя—шахтер, Гришка Вершок—с шапкой и Безземельный,—взобрались с ружьями на деревья. Неожиданно грянул залп с другой стороны, оттуда, где наши баталились со стражниками. Солдаты заметались в мертвом кольце, куда ни кинутся, их везде бьют, они закричали:

— Братцы, пожалейте.

Бросая ружья, поднимали руки вверх, а их все били, били, не будучи в силах остановиться, укротить себя, до тех пор, пока те не начали падать на колени, умоляя пощадить во имя бога.

На пороге гостиной встретился старый барин с револьвером в руках. Кто-то ударил его палкой по голове, барин свалился и пополз под стол, жалкий, противный, беспомощный...

Загорелась кухня, людская и крупорушка за садом.

В дом ворвались слободские...

Рвали ковры, подушки, картины, били посуду, зеркала, окна, ломали шкафы, статуэтки, мебель, хватали со столов безделушки, пряча в карманы, жадно ели белый хлеб, рядились в барскую одежду, с проклятием сбрасывая лохмотья...

Солдаты приехали ночью, когда все спали, в сопровождении стражника Демида Сергачева и брата его—Кирика, участника погрома.

Солдаты и стражники были пьяны, командовал ими высокий, сухой, с беспокойно-злыми глазами офицер и помощник исправника.

Приехали на мужицких подводах, окружили церковь, волость.

Согнанных к волости осташковцев поставили в снегу на колени...

По составленному списку в волость втаскивали за ворот наиболее усердствовавших при погроме. Искали шахтера, Мотю, грозили отцу, лежавшему в сенях связанным...

Высекли среди площади Настю, замучили манчжурца, Богача, Софонтия оратора, Илью Барского, Максима Колоухого.

В клочья иссекли дядю Сашу, Астатуя Лебастарного, Рылова, Пашу-штундиста, Сорочинского...

Бибик.

Нет в тебе добра и мира,
Царство скорби и цепей,
Царство взяток и мундира,
Царство палок и плетей.

И. С. Никитин.

Счастье не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы уметь подняться после падения.

---

* * *

Вы жертвою пали в борьбе роковой,
Любви беззаветной к народу,
Вы отдали все, что могли, за него,
За жизнь его, честь и свободу.
Порой изнывали вы в тюрьмах сырых;
Свой суд беззаконный над вами
Судьи-палачи изрекали порой:
„Пойдете, гремя кандалами“.

. . . . . .

Идет он, усталый, и цепи звенят,—
Закованы руки и ноги,—
Спокойно и грустно свой взор устремил
Вперед по пустынной дороге.
Нагрелися цепи от знойных лучей
И в тело впилися змеями,
И каплет на землю горячая кровь
Из ран, растравленных цепями...
Но он молчаливо оковы несет,
За дело любви он страдает,
За то, что не мог равнодушно глядеть,
Как брат в нищете погибает.
В душе его вера святая живет,
Что правда сильнее булата,
Что время настанет—оценят ту кровь,
Которую льет он за брата...
А деспот пирует в чертоге златом,
Тревогу вином заливая,
Но грозные буквы давно на стене
Чертит уже рука роковая.
Падет произвол—и восстанет народ,
Великий, могучий, свободный.
— Прощайте же, братья. Вы честно прошли
Свой доблестный путь благородный.

Неизвестный.

ЛЕНСКИЙ РАССТРЕЛ.

Перед расправой.

Жандармский офицер Трещенков (говорит). — Толпу подпускать близко нельзя. Пропустить через мост на несколько шагов можно, но дальше ни шагу...

Офицер:—Слушаюсь, господин ротмистр.

Трещенков.—Ну, так вот. Осмотритесь хорошенько. А теперь пойдем чай пить.

(*Уходит. За ним уходит и офицер. Пока офицер на дороге, с прииска на прииск проходят несколько рабочих по одиночке. Собираются, чтобы пойти к конторе с требованием. Разговаривают*).

Рабочие собрались.

Первый рабочий.—Ну, вот и присадили, что на курьерских. Давай здесь присядем, да закурим. К конторе одним идти не стоит... Вместе тогда...

Еще один рабочий (подходит).—Никого еще нет, а я спешил, аж взопрел. В чем тут дело-то у вас? Идут, мол, все, а зачем,—не сказали.

Второй рабочий.—А ты где-ж был, когда наших выборных арестовывали?

Третий рабочий.—Да на охоте мы... Побродили малость.

Второй рабочий.—То-то, на охоте. Были вчера у прокурора, просили выборных освободить, а он ото всех не принял заявления, пусть каждый, говорит, сам подаст. Вот мы и приготовили заявления. Каждый написал записку, что выборные не причем, все сознательно сами забастовали, никто не подстрекал.

Второй рабочий.—Сейчас у прокурора будет работа. Мы ему по деликатному: вот, мол: „господин прокурор, вот

вам сознательная записка. Никто меня не подстрекал, и сам я есть настоящий забастовщик". И этак ему 3.000 записок. То-то бумаги будет. (*Смеется*).

(Входит группа рабочих).

1-й голос из группы.—Ну, вот, здесь уже кое-кто есть. Надо закурить, дальше пока идти незачем.

(*Рассаживаются по бревнам. Курят. В это время на насыпи показываются: жандармский офицер Трещенков, мировой судья Хитун, и прокурор Преображенский. Играя в снежки, подбегает 2-я группа рабочих, сталкиваются друг с другом, шумливо борятся. Хлопают друг друга рукавицами. Все смеются*).

2-й голос из группы.—Черти, всю мою сознательную записку измазали. Не примет прокурор, снова писать придется.

Голоса.—Напишешь еще. Делов-то только. Пиши, да ходи; ходи, да пиши.

(*Показываются первые ряды толпы. Толпа идет нестройно, как попало, к месту начинают уплотняться, многие отходят в сторону и забираются на клади леса. Раздается звук трубы—сигнал „сбор"*).

1-й голос из толпы.—Что это? Ай стрелять собираются.

2-й голос из толпы.—Видать, не солдат. Это сбор только, стреляют по команде. Одначе, идем братцы.

(*Встают, вмешиваются в толпу. Толпа сдвигается плотнее, чувствуется, что задние ряды напирают. Толпа проходит мост. В толпе слова, шутки, смех. Трещенков делает знак. Раздается залп, один, два выстрела. По толпе проносится тяжкий стон: „А-а-ах". Крики „Ложись"*.

1-й голос из толпы.—На японцев шел, не убили, так пусть здесь добьют. Не лягу, будьте вы, анафемы, прокляты...

(*Тишина, стоны*).

После расстрела.

Входит группа рабочих. Убирают раненых.

(*На сцену скорым тагом входят солдаты, взволнованные стрельбой*).

Солдаты.—Расходись, расходись. Чего стоишь? Уходи от греха.

(*Рабочие расходятся*).

Женщина (к солдатам).—Расстреляли братьев своих своими руками.

1-й солдат.—Иди, иди, не разговаривай.

(*Преображенский, Хитун, Трещенков сходят с насыпи. Солдаты возвращаются обратно. Один солдат отстает. Опирается на штабель леса, плачет. Слышны голоса, солдат встряхивается и идет вперед. Входят стражники, служащие, подбирающие раненых и убитых*).

Кровь на снегу.

1-й стражник.—Эх, крови-то...

2-й стражник.—Ну, ты еще каркай.

(*Входят нарядчик, за ним рабочий*).

Нарядчик.—Кровь убрать надо. Ротмистр велел. Ничего не поделаешь.

Рабочий.—Натворили делов. Убирай не убирай, не уберешь теперь.

Нарядчик.—А ты помалкивай, пока цел. Сказано убирать,—убирай, а поговорим потом.

(*Со стороны конторы идут рабочий Василий—татарин, с ним другой рабочий*).

Нарядчик.—Эй, Василь, иди-ка кровь засыпать. Снежком ее.

Василий.—Человеческий кровь не могу. Снег не засыпешь, таять будет, красный будет. Черным надо закрывать, уголь ссыпать. Снег белый очень, кровь горячий, красный.

Нарядчик.—Иди-ка, иди, потом поговорим...

Василий.—Не буду. Кто стрелял? Ты стрелял. Солдат стрелял. Сам убирай. Шайтан [1]) ты.

(*Идут дальше. Нарядчик и рабочий лопатами засыпают снегом окровавленные места. Входит Трещенков*).

Трещенков (к работающим).—Сколько вас тут. Двое. Марш в казарму, чтобы сейчас еще были, убрать здесь все. Живо.

Трещенков (*достает портсигар, медленно закуривает*). Ну-с, этого, я надеюсь, им будет достаточно.

В. Плетнев.

---

[1]) Шайтан—по татарски дьявол.

ЛЕНА.

4-го апреля 1912 года.

(Ленский расстрел рабочих.)

Жена кормильца—мужа ждет,
Прижав к груди малюток—деток.
— Не жди, не жди, он не придет:—
Удар предательский был меток.

* * *

Он пал, он пал, он не один:
Со скорбным, помертвелым взглядом,
Твой старший, твой любимый сын
Упал с отцом, убитым рядом.

* * *

Семья друзей вкруг них лежит,—
Зловещий холм на поле талом,
И кровь горячая бежит
Из тяжких ран потоком алым.

* * *

А солнце вешнее блестит—
Иль бог злодейства не осудит?
О, братья. Проклят, проклят будет,
Кто этот страшный день забудет,
Кто эту кровь врагу простит!

Демьян Бедный.

6-го апреля 1912 г.

Пробуждение.

(В армии французов).

— Вот она, война!

— Да, вот она, война,—повторяет солдат далеким голосом. Война, а не что-нибудь иное.

Война состоит из плоти и из души простых солдат. Это мы образуем долины смерти и реки крови, мы все, из которых каждый невидим и безмолвен, благодаря тому, что нас неисчислимо много. Опустевшие города, разрушенные деревни, эти пустыни— тоже мы. Да, это все мы, и мы все целиком.

— Народы борются теперь за то, чтобы не иметь господ, которые ими управляют. Эта война, это славно продолжается французская революция.

— Народы, это ничто, и это должно быть всем,—сказал вдруг мой сосед.

И этот солдат, уцелевший в беде, на четвереньках, на грязной земле, поднял свое лицо прокаженного и с жадностью смотрел перед собой, смотрел в бесконечность.

Он глядел и глядел.

— Народам столковаться бы между собой через шкуру и брюхо тех, кто их эксплуатирует так или иначе. Все массы людские должны были бы столковаться между собой.

— Все люди должны бы стать равными.

Это слово как-будто пришло на помощь.

— Равными... Да... Да... Есть великие идеи справедливости и истины. Есть вещи, в которые веришь, к которым обращаешься, как к источнику света. И первое, это—равенство.

Это также свобода и братство.

— В первую голову равенство.

Эти люди из народа, собравшиеся здесь, предвидят, но еще не знают, что за революция, более великая, чем прежняя, источником которой являются они сами, грядет теперь, подступает к самому их горлу, и они повторяют:

— Ра-вен-ство...

— В таком случае, раз народы желают справедливости и раз народы—сила, пусть же они осуществят их.

— Они уже начинают,—произнесли чьи-то темные уста.

— Дело клонится к этому,—заявил другой.

— Когда все люди сделают себя равными, они будут вынуждены объединиться.

— И не будет перед лицом неба ужасных вещей, сделанных на войне тридцатью миллионами людей против их воли.

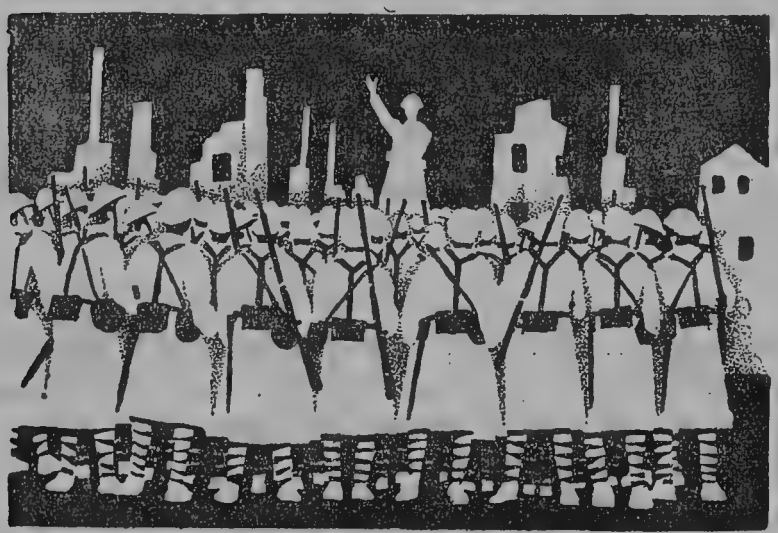
— Будут себя спрашивать,—говорит кто-то: „В конце концов, чего же ради вести войну. Для чего—никто не знает; но для кого —это можно сказать". Целые народы идут на бойню, построившись армиями, стадами, для того, чтобы люди в золотых погонах вписали свои барские имена в историю, для того, чтобы люди золота, которые принадлежат к той же касте в погонах, устраивали свои делишки в интересах своих особ и своих лавок. И когда люди откроют глаза они увидят, что нет разделения между народами, а между классами, между господами и рабами.

— Слушай,—прервали его внезапно.

Мы умолкаем. Слышен вдали грохот пушки. Там грохот потрясает воздушные слои, и эта далекая сила слабо отзывается в наших ушах, между тем, как вокруг нас наводнение продолжает пропитывать землю и медленно захватывать высоты.

— Опять начинается...

А. Барбюс.



Грубо заблуждаются те, которые говорят, что войны будут всегда. Нет, войны исчезнут так же, как исчезли и кровавые жертвоприношения. Но прекратятся они только с прекращением всех видов человеческого рабства.

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА.

Когда ее ведет
Царей проклятых род,
На смерть нас посылая
Для выгод кошелька
Банкира-паука,—
Томительная, злая,
Будь проклята она,
Кровавая война.
Когда народ народ
Бьет, режет, топчет, рвет,
Вступая в поединок,
Чтоб в лапы богача
Народа—палача
Чужой достался рынок,
Будь проклята она
Кровавая война.
Но если, нищ и наг
Войну ведет бедняк,
Взрывая трон вампира,
Оковы рабства рвет,
И братьев в бой зовет
На овладенье мира,
Да здравствует она
Священная война.
Но если в битву нас
Ведут последний раз
И льются крови реки,
Чтоб вольных братств сыны
Не ведали войны
Отныне и навеки,—
Да здравствует она
Священная война.

Князев.

С ФРОНТА.

Революцию так вот и поняли: свобода, значит—кончены муки, довольно нашим мужикам в грязных окопах сидеть да простужаться. Весна,—город засветился радостью. Летом солдат попер с фронта сперва реденько, потом гуще. гуще, а потом, после Покрова, что ни поезд, то целый полк припрет, так сплошь и засереет дорога от станции до города. Только Гараськи все не было. И не писал он. И еще тяжелее было матери Гараськи, Митревне, от его молчания.

Шли с фронта решительные, крикливые, резкие, с винтовками и тугими мешками за плечами, с зелеными котелками у пояса, с сумраками на глазах, они гужем шли, но совсем не те, что много лет назад уходили из города. Нет, теперь это были волки—угрюмые, злые.

А Митревна все искала, выспрашивала.

— Гаранюшку мово не видели-ли!

— Милиены там народа, а ты—Га-ра-нюш-ка.

Но нашлись и такие, кто знал про Бокова.

— Воюет. По новому воюет, с нашими буржуями. И-й, герой. Большевиком стал. Командер теперь у них.

Не верила Митревна. Слыхала она про большевиков-то.

— То Гаранюшка взаправду герой, три креста егорьевских, а то... да неужели? Врут, поди.

И через немного дней еще весть:

— Воюет. Большевик.

Вот тут-то и заюжала Митревна.

— Да ведь этак-то он и совсем могет не притти?

— Могет.

— Господи батюшка...

„Правительство капиталистов ведет войну из-за интересов капиталистов... Капиталисты всех стран ведут войну из-за дележа прибыли капиталистов, из-за господства над миром. Сотни миллионов людей, почти все страны земли втянуты в эту преступную войну, несущую народам смерть, голод, разорение, одичание, а капиталистам бешеные прибыли. Чтобы вырваться из этой ужасной войны и заключить действительно демократический мир, есть только один путь—переход всей государственной власти в руки Советов“.

В. Ленин.

Октябрьское восстание в Москве.

(Воспоминания одного из руководителей Московского восстания).

Военно-Революционный Комитет.

Штаб был уже организован. Комната Военно-Революционного Комитета была рядом со штабом.

Вечером этого дня нашему штабу уже пришлось приняться за работу.

Тут мне вспоминаются солдаты „двинцы", сыгравшие крупную роль в нашей военной победе в Москве.

Двинцы, это—солдаты, отбывавшие наказание в Двинской крепости. Из Двинска они были переведены в Москву, где сидели в Бутырках [1]). Фронт и тюрьма спаяли их в единую, сплоченнную массу. С полным сознанием и святым трепетом каждый из них относился к революции. С врагом они боролись смело.

Однажды днем наши красногвардейцы дали маху и подпустили броневик юнкеров почти к самому Совету, так что броневик „плюнул" снарядом в стену Совета.

Мигом встряхнулись наши отряды. В ожесточенный бой с броневиком и защищавшими его юнкерами вступили „двинцы".

Снаряд, ударившись в стену Совета, произвел немалую панику.

Вскоре вбежал Грачев—командир отряда „двинцев" в дождевом плаще черного цвета с поднятым колпаком, бледный как воск, с глазами, сверкавшими как два алмаза...

— Мы... Мы-ы...—задыхался он,—мы прогнали юнкеров до Спасских ворот. Прикажите брать Кремль.

— А Городская дума?..

— Да, что там „дума", ее уже я давно своими занял. Прикажите нам взять Кремль через Спасские ворота.

У нас в штабе планы насчет взятия Кремля были совсем другие. Я сказал:

— Нет, нельзя. Отведите свой отряд назад к Тверской улице. Грачев невольно стукнул по столу:

---

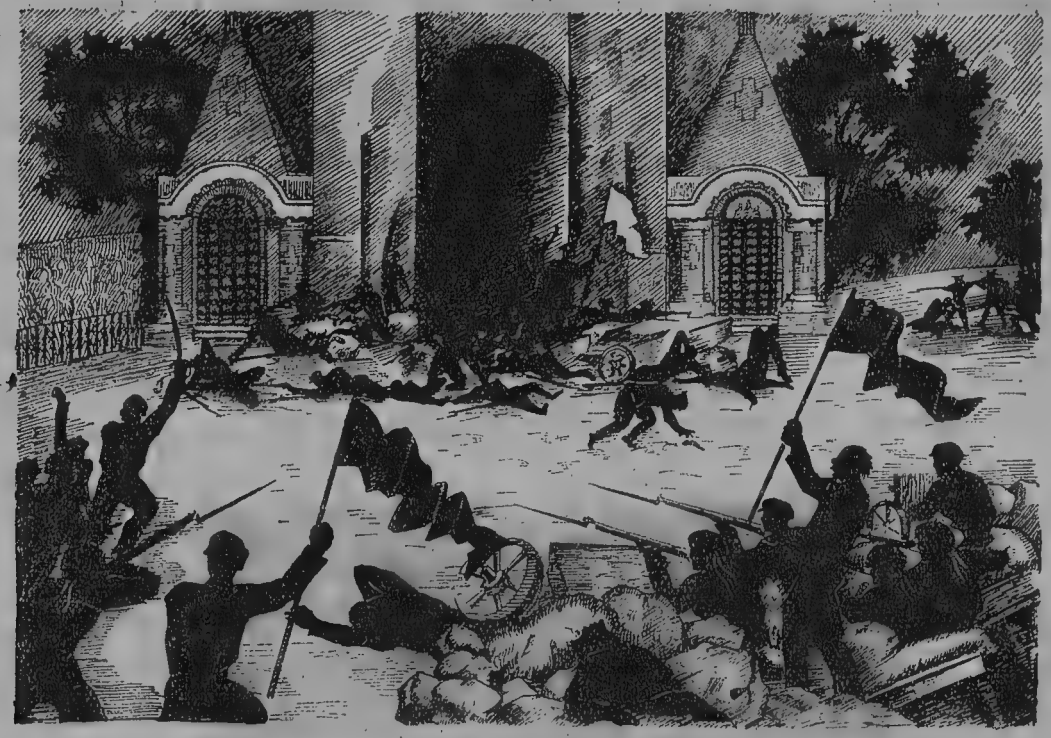
[1]) Бутырки—Бутырская тюрьма в Москве.

— Да что вы делаете? Погубим все восстание!

— Будьте покойны. Слушайтесь.

Никогда в жизни не видел я лица, так перекошенного досадой.

Грачев, стиснув зубы, скрипнул ими так, что у меня под кожей черепа будто зашевелилось что-то. Глаза его точно два ножа вонзились мне в грудь.



— Слушаюсь. Только из-за дисциплины слушаюсь. Сейчас отведу отряд.

Так сильна была революционная дисциплина в рядах Красной гвардии.

Победа.

Я спал, в комнату ворвался Муралов.

— Удирают... Слышите, удирают. Что же вы дрыхнете?

Я проснулся. На конце дивана, на котором я спал, сидел Муралов.

— Удирают,—прохрипел еще раз Муралов.—Понимаете, юнкера удирают через Брянский вокзал. Их надо задержать на Дорогомиловском мосту.

— Конечно. Идемте, организуем,—сказал я.

Муралов и я двинулись через корридоры в штаб.

Наш отряд отправился к Дорогомиловскому мосту задерживать юнкеров.

С рассветом загрохотали пушки. Пулеметы забили дробь своими свинцовыми зубами. В Военно-Революционном Комитете машинки выстукивали на бумаге наши приказы.

Городская дума была уже нашей. Кремль тоже. Юнкера оказывались в положении крыс на тонущем корабле. Серые волны солдат начали заливать улицы и переулки Москвы. Юнкера и офицеры метались.

Огневые языки побеждающего восстания уже облизывали стены Александровского училища—этой цитадели, где сидели лучшие полководцы царской армии—заслуженные, убеленные сединами генералы, покрытые крестами отличия вояки-офицеры.

Ничто не помогло. Солдат победил офицера. Восставшие отвоевали Москву у фабрикантов и помещиков.

А. Аросев.

Белогвардейцы побеждены.

Весть о мире облетела все посты.

И тут появился задор. Большевики, понимая, что приходит конец битве, усилили стрельбу до высшего напряжения. Весь город загудел от артиллерийской канонады и ружейной стрельбы.

И в то время белая гвардия, зная, что теперь уже не надо жалеть патронов, вымещала на победителях свое уничтожение. Самые жестокие бои произошли именно в эту страшную ночь уже после заключения мира.

Офицеры ломали свое оружие и сами срывали с себя погоны. Наиболее горячие клялись опять поднять борьбу, когда это будет можно.

Утром в Александровском училище белогвардейцы-дружинники начали сдавать оружие.

По улицам уже всюду бродили толпы, рассматривали разбитые и обезображенные орудийными выстрелами дома.

Нервное оживление захватило уже все улицы. Не ходили трамваи, было мало извозчиков, а магазины не открывались с утра.

А. Яковлев.

Похороны жертв революции.

Москва притихла и тревожно ждала, как пройдут эти похороны. Серое осеннее небо было холодно и закутано недвижными облаками.

На Полянке [1]) процессия с красными гробами. Улица была туго запружена народом. Толпа притиснула Ивана к забору, и нельзя было уйти. Пришлось ждать и смотреть.

Проскакали милиционеры и конные красногвардейцы с шашками, неуклюже колотившими по бокам костлявых кавалерийских лошадей. Потом вразброд прошел отряд Красной гвардии с винтовками наготове, словно ждал нападения из-за угла. А за ним, через небольшой промежуток, шли рабочие и работницы с красными знаменами и венками в руках. Знамен было много, целый лес.

Сами набьем мы патроны,
К ружьям привинтим штыки...

Это они поют. Набиты патроны, на винтовках штыки, царь убит, буржуазия сломлена, и народ, разрывая цепи, идет к свободе.

---

[1]) Полянка—улица в Москве.

НА ПОСТУ.

(Из времен 1919 года).

Заводский город Кыштым. Это центр меднодобывающей промышленности. Металлургический завод, в котором рабочие быстро изнашиваются даже при самых лучших условиях. Нет дома, где не было бы тифа. Одни умерли, другие выживают без ухода и лечения. Есть один врач, который не выходит из больницы и сам переболел. В городе ни одного термометра, никаких лекарств. Меня одели в халат и я хожу по большому зданию школы, обращенной в барак. Врач был здесь четыре месяца тому назад. Нет керосина, угольную электрическую лампочку обслуживающие приносят с собой, а потом больные остаются в темноте. Барак переполнен. Мертвые лежат в корридоре, потому что мертвецкие не менее переполнены. „Вошь победит социализм или социализм победит вошь".

Молодая девушка-санитарка указывает мне на свои босые ноги: „Мы на руках переносим в ванную больных, которые в бессознательном состоянии пачкают постель. Разве можно это делать без обуви? Они пачкают мне не только платье, но и ноги. Я работаю бессменно, некем смениться, все разбежались. Я тоже не могу больше выдержать".

— Что же будет, если вы тоже сбежите? Где же взять обувь?

— Да я не сбегу. На кого я их оставлю? Разве помру...

Дорогой товарищ, если ты осталась в живых, если эти строки дойдут до тебя, прими мой привет. Именно ты победила вошь и спасла социализм. С тобой мы победим еще много врагов. Их тьма, но мы победим всех.

Я. Шатуновский.

ДВЕНАДЦАТЬ.

I.

Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер.
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер—
На всем божьем свете.

Завивает ветер
Белый снежок.
Под снежком—ледок.
Скользко, тяжко—
Всякий ходок
Скользит,—ах, бедняжка!

От здания к зданию
Протянут канат.
На канате—плакат:
„Вся власть Учредительному Собранию".
Старушка убивается—плачет,
Никак не поймет, что значит,
На что такой плакат,
Такой огромный лоскут.
Сколько бы вышло портянок для ребят,
А всякий—раздет, разут...

Старушка, как курица,
Кой-как перемотнулась через сугроб.
— Ох, матушка-заступница.
— Ох, большевики загонят в гроб.

Ветер хлесткий.
Не отстает и мороз.
И буржуй на перекрестке
В воротник упрятал нос.

А вот и долгополый—
Сторонкой—за сугроб...
Что нынче невеселый,
Товарищ поп?

Помнишь, как бывало
Брюхом шел вперед,
И крестом сияло
Брюхо на народ...

Вот барыня в каракуле
К другой подвернулась:
— Уж мы плакали, плакали...
Поскользнулась
И—бац—растянулась.

Ай, ай!
Тяни, подымай...

Ветер веселый
И зол, и рад,
Крутит подолы,
Прохожих косит,
Рвет, мнет и носит
Большой плакат:
„Вся власть Учредительному Собранию“...

А. Блок.

ТОФУТА МУДРЫЙ.

В далеком предалеком царстве, в не нашем государстве, за тридевять земель отсель, средь подданных царя мудрейшего Тофуты случилось что-то в роде смуты.

„Разбой“!—кричали все.—„Грабеж“!

Шли всюду суды-пересуды: порядки, дескать, в царстве худы, насилья много от вельмож!

Одначе, хоть бунтовали все, но в общей суете верх брали те, что посильней да побогаче:

„Чем лезть нам, братцы, напролом, нарядимте послов—Тофуте бить челом; проведавши от них о нашей злой обиде, царь нас рассудит в лучшем виде“.

Но то-ли сам дошел, то-ль расхрабрясь от слов вельможи главного, злодея Протоплута, не допустил к себе послов мудрейший царь Тофута:

„Нелепо,—молвил он,—мне слушать их, зане все, что известно им, известно также мне, а и-ежели мне что и не известно, о том им толковать подавно неуместно!“

Но черный люд не сдал: боролся до конца, пока не выкурил Тофуту из дворца.

И что же?

Не прошло, поверите-ль, минуты, как власть, отбитую народом у Тофуты, присвоили себе все те же богачи, да так скрутили всех, хоть караул кричи, у бедных стали так выматывать все жилы, как не запомнят старожилы.

Пошел в народе разговор:

„Попали мы в просак“! „Того-ль душа хотела?“

„Эх, не доделали мы дела“! „От богачей то нам, гляди, какой разор“!

Потолковали, погоревали и богачей смели, как сор.

Жизнь сразу вышла на простор!

Я в этом царстве был недавно. И до чего живут там славно на свой особенный манер!

Как это все у них устроено на месте—в Коммунистическом прочтете Манифесте.

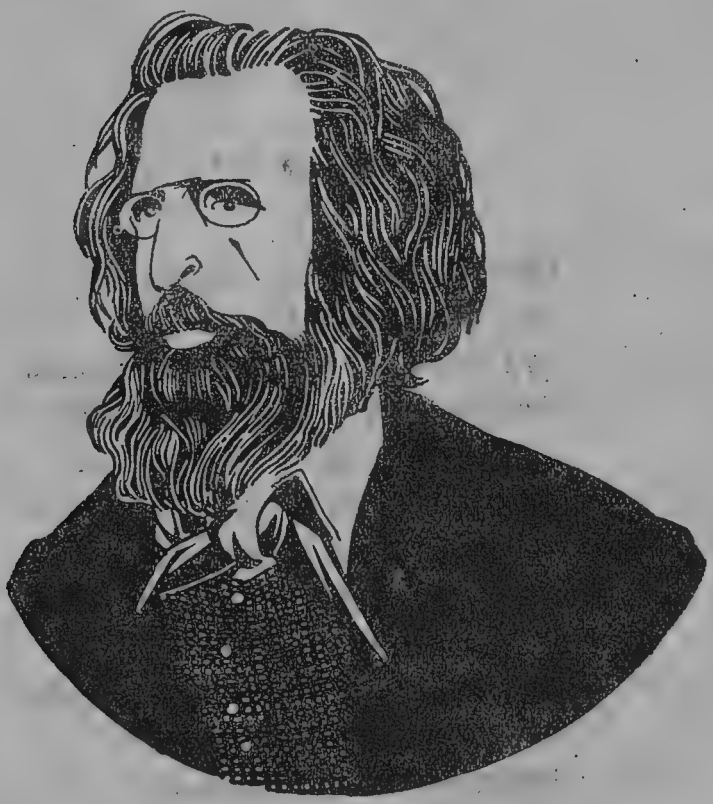
Д. Бедный.

С У Д.

Еще вчера орел двуглавый
За слово истины святой
Суд беспощадный и неправый
Творил над массой трудовой.
Еще вчера здесь распинали,
Казнили... вешали... ссылали...
Сегодня ж здание суда
Постигла праведная кара:
По воле армии труда
Над ним бушует вихрь пожара.
Горят законов переплеты.
Позор России—эшафоты,
И как ненужная труха,
Бумаг судебных вороха,
Горит судебная палата.
И для нее пришла расплата.

Иван Логинов.

Герой Парижской Коммуны.



Ферре Шаль Теофиль.

ПАРИЖСКАЯ КОММУНА.

Провозглашение Коммуны было великолепно. Это был не праздник власти, а торжество самоотвержения; чувствовалось, что избранники готовы к смерти.

Днем 28-го марта, при ярком сиянии солнца, парижский народ, выбравший свою коммуну, вступил в городскую думу.

Это был океан людей под ружьем. Штыки теснились как колосья ржаного поля, трубные звуки резали воздух, глухо били барабаны.

Канонада пушек, раздававшаяся через правильные перерывы, приветствовала революцию.

На вершине—огромное красное знамя и знамена революционных батальонов Монмартра, Бельвилля, ла-Шаппель (местности Парижа).

Выстроены солдаты всех родов оружия, оставшиеся в Париже: пехота, моряки, артиллеристы.

Штыки, теснясь все более и более, выходят на соседние улицы. Это, действительно, впечатление поля ржи. Какова-то будет жатва?

Весь Париж на ногах, с перерывами гремят пушки.

На эстраде—члены Коммуны, все в красных шарфах.

В нескольких словах, в перерывах между выстрелами, центральный комитет национальной гвардии объявляет, что его мандат кончен и передает свои полномочия Коммуне.

Делают перекличку имен, раздается могучий крик: „Да здравствует Коммуна!“.

Бой барабанов; земля дрожит от залпов артиллерии.

— „Во имя народа,—говорит Ранье,—провозглашена Коммуна“.

Речей нет, один крик: „Да здравствует Коммуна!“.

Все инструменты играют марсельезу. Ураган голосов подхватывает.

Луиза Мишель.

Парижская Коммуна 1871 года была первым, еще слабым, историческим опытом господства рабочего класса. Мы ценим в Коммуне „первую, хоть весьма бледную зарю республики рабочего класса“.

Ведение войны не было сильной стороной Коммуны. Именно поэтому она оказалась разгромленной. И как беспощадно разгромленной!.. Русские рабочие показали, что способны овладеть также и „инструментом войны“. Коммуна была слаба. Чтоб довершить ее дело, мы стали сильны. Коммуну разбили. Мы наносим удар за ударом палачам Коммуны. Мы мстим за Коммуну, и мы отомстим за нее.

Л. ТРОЦКИЙ.

Воззвание Коммуны к народу.

Великие и славные дела совершены нами с 18-го марта, со дня объявления Коммуны; но работа наша еще не окончена: нам предстоит совершить еще больше, и мы сделаем это, ибо мы будем преследовать нашу цель без устали и без страха перед настоящим и будущим.

Мы должны быть готовы к новому самопожертвованию, ко всем опасностям, ко всяким жертвам: чем больше мы решаемся отдать нашему делу, тем легче оно нам удастся.

Нам объявлена война, беспримерная в истории человечества; нас она покрывает славой, наших врагов—позором.

В настоящее время, граждане, перед вами две программы.

Одна из них—путь версальских монархистов.

Их программа—вечное рабство, постоянное унижение всего народа; наемный труд, ошейник нищеты, заклепанный на вашей шее, угроза всякому нашему шагу. Она требует вашей крови, крови жен ваших и детей, она требует наших голов...

Их программа есть народ в положении вьючного скота, народ, который трудится для горсти эксплоататоров, для того, чтобы на счет его отъедались высокопоставленные особы и министры.

Эта программа есть Жак Боном [1]), у которого продают все—хозяйственную снасть и доски с его убогой лачуги, юбку хозяйки и пеленки ребят... И все для того, чтобы уплатить тяжелые налоги, которые кормят короля и дворянство, попа и жандарма.

---

[1]) Жак Боном—так называли простой народ во Франции.

Другая программа, граждане,—во имя которой вы совершили три революции, и за которую сражаетесь теперь; это программа Коммуны, это ваша программа, наконец.

Эта программа—восстановление прав человека; это—народ, определяющий свою судьбу; это—справедливость и право на труд; это—молот рабочего, разбивающий скипетр тиранов; это—равенство всех.

Скажем прямо, граждане: человек без определенных взглядов в настоящее время—не человек; тот, кто остается безразличным к общей борьбе и не принимает в ней участия, никогда не будет со спокойной совестью наслаждаться теми благами, к которым мы стремимся: он всегда должен будет краснеть перед своими детьми. . . . . .

. . . . . .

Мы переживаем восстание великого народа, который хочет жить свободным или умереть.

Вам нужно побеждать во чтобы то ни стало, ибо что принесло бы вам поражение? Вдовы ваши стали бы жертвой гонений, обид и злобы жестоких победителей; сироты ваши были бы отданы во власть вашего врага, который преследовал бы их, как малолетних преступников; места ссылки были бы вновь заселены, и честные труженники кончали бы там свою жизнь, скованные одной цепью с ворами, мошенниками и убийцами; тюрьмы уже завтра были бы переполнены, и городовые добивались бы чести быть тюремщиками, а жандармы—смотрителями ваших каторжных работ.

Победители вы, и вы спасете не только себя, жен ваших и детей, но и республику, и все народы мира.

Скажем без обиняков: тот, кто уклоняется от борьбы, не достоин и называться республиканцем.

. . . . . .

Пусть не будет праздных людей среди нас. Пусть женщины утешают раненых. Пусть старики ободряют молодежь. Пусть, не взирая на возраст, достаточно сильные граждане идут вместе за своими братьями и делят с ними опасности.

Найдутся, быть может, люди, которые, обладая физической крепостью, станут, однако, уклоняться от борьбы, ссылаясь на свои годы; пусть знают они, что в свободном обществе они окажутся вне закона—и какой позор будет тяготеть над ними!

Герой Парижской Коммуны.

Ярослав Домбровский.

Не смешно ли, граждане, господа версальцы[1]) уверяют, что вы пали духом и утомлены. Они лгут и прекрасно знают это... Вам изменяет мужество, вы отчаиваетесь в победе. Когда? Когда, все идут к вам, когда со всех сторон Парижа под ваши знамена стекаются все новые и новые силы. Когда солдаты регулярных войск—братья ваши и друзья, повертывают фронты и стреляют в жандармов и городовых, приказывающих им убивать вас.

---

[1]) Версаль—местность под Парижем. Когда парижские рабочие захватили власть и объявили коммуну, буржуазное правительство, дворяне, капиталисты, все враги народа засели в Версале, и потому их называли версальцами.

Вся Франция подымется вам на помощь; восемь месяцев вы сумели героически переносить страдания; и теперь, когда остается потерпеть еще несколько дней, когда свобода готова увенчать вашу борьбу, вы, говорят, устали.

Нет, мы должны победить и победить скоро. Наступит мир, и земледелец вернется к своему плугу, рабочий в свою мастерскую; опять земля будет приносить свой плод, и возобновится спокойный труд. Наступит мир, и мы повесим наши ружья, опять возьмемся за орудия благословенного труда, и, в гордом сознании исполненного долга, мы смело сможем сказать: мы граждане—воины великой революции.

Члены Коммуны: { Дерер, Ж. Б. Клеман, Верморель, Паскаль Груссе, Клюзере, Арнольд, Т. Ферре.

ГАВРОШ.

Правительственная артиллерия беспрерывным огнем обстреливала баррикаду. Пехота и гвардейцы поддерживали артиллерию ружейным огнем.

Войска правительства готовились к наступлению на повстанцев—рабочих и бедняков Парижа.

— Стреляйте в артиллеристов,—сказал командир повстанцев.

Баррикада, так долго до сих пор молчавшая, открыла адский огонь. У повстанцев две трети артиллеристов были убиты.

Оставшиеся продолжали хлопотать около пушек со строгим спокойствием. Только выстрелы со стороны повстанцев, стали раздаваться все реже и реже.

Еще четверть часа,—сказал покачав головой командир повстанцев,—и на всей баррикаде не останется и десятка патронов.

Уличный мальчик Гаврош, находившийся в рядах повстанцев слышал эти слова.

Моментально Гаврош очутился снаружи возле баррикады, на улице, под выстрелами.

Гаврош взял в кабачке корзинку из-под бутылок, выбрался за баррикаду и спокойно пересыпал в свою корзинку патроны из патронташей солдат национальной гвардии лежавших убитыми у самой баррикады.

— Что это ты там делаешь?—спросил один из повстанцев.

Гаврош поднял голову.

— Я наполняю корзину.

— Разве ты не видишь картечи?

На это Гаврош ответил:

— Да, точно дождь идет. Дальше.

— Вернись назад.

— Сию минуту,—ответил Гаврош.

И одним прыжком очутился среди улицы.

Около двадцати трупов лежало в разных местах на земле по всей улице. Гаврош видел перед собой двадцать патронташей, что обещало большой запас патронов для баррикады.

Дым застилал улицу, точно туман. Противники, защищавшие противоположные концы улицы, едва различали друг друга, хотя расстояние тут было и очень короткое.

Эта темнота, по всей вероятности, желательная и даже предвиденная начальниками, которым предстояло руководить наступлением на баррикады против бунтовщиков, как нельзя более благоприятствовала и Гаврошу.

Прячась в темноте, Гаврош, благодаря своему небольшому росту, мог пробраться по улице довольно далеко, и, не будучи замеченным и не подвергаясь никакой особенной опасности, опустошил первые семь или восем патронташей.

Он то ползал, то пробирался на четвереньках, держа корзину в зубах, сгибался, скользил и извивался как змея, пробираясь от одного убитого к другому и опустошая лядунки и патронташи с ловкостью обезьяны, грызущей орехи.

С баррикады, от которой он был еще довольно близко, ему не смели кричать, чтобы он возвратился, из боязни обратить на себя внимание.

На одном из убитых, оказавшемся трупом взводного унтер-офицера, он нашел пороховницу.

— На случай, если захочется пить,—сказал он, опуская ее в карман.

Подвигаясь вперед, он достиг, наконец, места, где туман стал гораздо прозрачнее.

Настолько прозрачнее, что линия стрелков правительственной пехоты, и стрелки национальной гвардии, занимавшие угол улицы, вдруг стали указывать один другому на какой-то предмет, двигавшийся в дыму.

В тот момент, когда Гаврош забирал патроны у унтер-офицера, лежавшего около тумбы, в труп ударила пуля.

— Гм,—насмешливо проговорил Гаврош,—они стали стрелять в мертвых.

Вторая пуля ударила в камень как раз возле него. Третья опрокинула его корзину.

Гаврош поднял глаза и увидел, что в него стреляют национальные гвардейцы.

Он выпрямился во весь свой рост и с развевающимися по ветру волосами уперся руками в бока, вперил глаза в стрелявших в него солдат национальной гвардии и вызывающе запел песенку.

Потом он поднял корзину, сложил в нее, не оставляя ни одного, все упавшие на землю патроны и, подойдя еще ближе к стрелкам, стал опустошать другой патронташ. Там мимо него просвистела еще четвертая пуля. Гаврош продолжал спокойно петь.

Так продолжалось несколько времени.

Зрелище было ужасное и захватывающее. Гаврош, в которого стреляли, насмехался над стрелками. Казалось, что это ему доставляет большое удовольствие. Это был воробей, собирающийся заклевать охотников. На каждый выстрел он отвечал новой песенкой. Стреляли безостановочно и все время давали промахи. Солдаты национальной гвардии и солдаты линейной пехоты смеялись, целясь в него. Он ложился, потом вставал, прятался за угол двери, потом вскакивал, исчезал, потом опять показывался, уходил и возвращался, сердился на картечь и в то же время собирал патроны, опустошал патронаши и наполнял свою корзину. Бунтовщики, задыхаясь от волнения, следили за ним глазами. Баррикада дрожала от страха, а он пел. Он не был похож на ребенка. Пули летали вокруг него, но он оказывался проворней их. Он точно играл в прятки со смертью и, поглядывая на пули, все пел:

Растянулся я, брат,
Носом в лужу попал...

Он не докончил песню. Чья-то новая пуля, потому-ли, что на этот раз стрелок прицелился лучше, или же потому, что она сама оказалась похитрее других, но только эта пуля настигла таки неуловимого ребенка. Гаврош зашатался, потом упал лицом на мостовую и уже больше не шевелился. Отважный мальчик был мертв.

Виктор Гюго.

Джимми Хиггинс в России.

Революция в Архангельске совершилась, совету рабочих и крестьян принадлежала уже полная власть, когда английские войска и моряки произвели внезапную атаку и захватили архангельский порт, гоня перед собой русских революционеров. А теперь прибыли американские войска и готовились открыть военные действия против русских рабочих. Джимми был почти вне себя от удивленья. Джимми Хиггинс должен принимать участие в уничтожении первого в истории рабочего правительства. Чем больше думал об этом Джимми, тем в большее негодование он приходил.

Джимми встречается с русским большевиком.

Однажды Джимми встретился с большевиком Калинкиным. Они стали беседовать и Джимми сказал большевику, что он социалист.

— Если вы социалист, то почему вы сражаетесь с русскими рабочими!—спросил Калинкин Хиггинса.

— Я об этом ничего не знал,—стал защищаться Джимми.—Я хотел драться с германским кайзером, а меня привезли сюда.

Джимми распространяет прокламацию.

Джимми получил от Калинкина большевистские листки и стал их распространять между своими товарищами—американскими солдатами. За распространение прокламаций Джимми был арестован и отправлен в тюрьму.

Джимми Хиггинса пытают.

— Ну, ты, сукин сын,—сказал сыщик Перкинс,—я расследовал дело и узнал имена тех большевиков, с которыми ты общался. Но я хочу знать всех их. Назовешь их имена?

Джимми не хотел выдать имя большевика Калинкина, который дал ему прокламации.

Перкинс стал ломать руки Джимми.

Джимми корчился, но другие двое солдат держали его, как в клещах. Джимми молил, рыдал, стонал. Бедное измученное тело его кричало: признайся. Но совесть повторяла: Нет. Нет. Нет. Ты должен перенести все пытки, но не выдавать никого. Ты революционер.

— Придется попробовать „лечение водой“,—сказал Перкинс солдатам, державшим Джимми. Принесите мне пару кувшинов воды и воронку хорошего размера.

„Лечение водой“.

Солдат вернулся. Джимми опустили вниз и положили на пол. Один солдат сел ему на ноги, другой на грудь, а Перкинс всунул в горло Джимми воронку и начал лить в нее воду. Джимми пришлось глотать воду отчаянными глотками, чтобы не задохнуться. Скоро вода наполнила его, а затем началась самая ужасная мука, какой он еще не испытывал. Его раздуло от воды как шар, внутренности его были готовы лопнуть.

Джимми не признавался.

— Клянусь богом, я заставлю тебя говорить!—закричал Перкинс и начал пинать Джимми своими тяжелыми сапогами.

Три дня еще пытали Джимми и, наконец, его предали суду. Военный суд признал Джимми виновным в том, что он большевик и подстрекал американских солдат не повиноваться начальству и не вести борьбу против советов в России. Джимми приговорили к двадцати годам заключения в военной тюрьме. В тюрьме Джимми сошел с ума.

Нас не уничтожили даже самые передовые страны. Это произошло потому, что мы имеем себе поддержку трудовых масс во всем мире.

Н. ЛЕНИН.

ОГНЕМ И МЕЧОМ.

Остров Бали.

Природа его наделила всем, что только есть в ее сокровищнице: растительные и минеральные богатства неисчислимы, народ не знает бедности и притеснения. Посреди острова стояли их белые под золочеными куполами дворцы, сквозные, в пестрых арабесках, заслонившиеся от солнца шелковыми занавесами. По дорогам тянутся вереницы быков, рога которых, как и свои головы, здешние женщины украшали цветами. По вечерам на мирных полях собиралась молодежь, и под непроницаемым сводом драгоценных деревьев тихо - тихо звучали струны и песни.

На острове Бали три маленьких государства.

Они никогда не воевали между собой.

Споры их кончались на сходах.

— На свете много воздуха и простора, воды и плодов,—хватит на всех,—говорили они.

Но разве Европа могла терпеть около своего ада страну с такими богатствами. Надо было обратить ее в колонию: каторгу—для народа, банкирскую контору—для пришельца.

Голландия давно зарилась на этот остров.

В первых числах сентября голландские войска высадились на юго-восточной стороне острова Бали. В некотором расстоянии стали их суда, а под громадными пальмами установилась батарея гаубиц. Мирные жители ближайшего города выбежали навстречу европейцам, принося в дань фрукты и сласти и, видимо, не понимая, в чем дело. Голландцы поторопились выяснить его: женщины и старики были встречены залпами. С военных

кораблей начали стрелять из дальнобойных орудий. От цветущего, окутанного зеленью садов, веселого города Денпазара с его красивым дворцом и крепостью должны были остаться одни развалины. Пять дней таким образом голландцы истребляли все перед собой, но этими пятью днями воспользовались и жители острова—бадонгцы. Они собрались в отряды и заняли все доступы внутрь страны. Когда два батальона пехоты со скорострельными орудиями двинулись вперед, селение за селением пришлось уничтожать артиллерийским огнем и потом штурмовать. Малайцы пользовались всем для защиты. У них огорожены рисовые поля с заостренными бамбуковыми палисадами. Из-за них они стреляли по голландцам. Скоро европейские войска подошли к столице, отбросили ее защитников от стен. Малайцы запирались в уцелевшие дома, их пришлось брать один за другим, истребляя поголовно отчаявшихся людей. Жители острова решились на массовое самоубийство. Старики, женщины и дети свернулись в грозные ряды. Мужчины первыми бросились на голландские пулеметы; следом шли семьи. Первые ряды легли длинною линией трупов. Пулеметы работали, не переставая. Очевидец рассказывает, что голландцы хохотали, видя, как падают последние бадонгцы. Когда „мужи“ пали, их матери, сестры и жены с ножами и саблями бросились на европейских солдат, и только некоторым удалось дорваться до них, остальные были расстреляны издали. Умиравшие душили детей, чтобы они не достались убийцам. Кладбище мертвого народа заняли европейцы, подняли свой флаг и священники вознесли благодарные молитвы богу, делая его сообщником разбоя и убийств. Так был завоеван остров Бали.

Несколько тысяч трупов недвижно лежало на вчера еще мирных полях. Европейские войска не досчитались четырех убитыми и двенадцати ранеными.

Остров Бали стал лучшим бриллиантом голландской короны.

Дешево достался этот бриллиант Европе.

В. И. Немирович-Данченко.

РУР[1].

(В царстве угля).

Спуск в шахту.

— Ну, теперь держись.

Голос молодого красивого штейгера звучит добродушно и на губах его дрожит улыбка.

— Готово,—раздается чей-то голос над нашей головой.

И в то же мгновенье я начинаю ощущать, что наша железная корзина тронулась.

Темно. Тускло мигают лампочки, висящие у нас на поясах. „Корзина“ быстро несется вниз, мне кажется, что чем дальше, тем больше увеличивается ее скорость.

„Корзина“ начинает постепенно замедлять ход. Тише... тише... Вот она вдруг остановилась. Мелькнули огни электрических ламп, раздались голоса людей, послышалось движение. Мы выходим из „корзины“. Смотрю на часы — спуск продолжался ровно 3 минуты. Только-то! А мне он показался целой вечностью.

Подземный вокзал.

— Вот наш подземный вокзал,—говорит, обращаясь ко мне, штейгер.

Я осматриваюсь кругом. Действительно, что-то напоминает настоящий вокзал. Довольно высокое пространство, ярко освещенное электричеством, и большая круглая каменная платформа с рядом нагруженных углем вагонеток, стоящих около нее. Платформа сделана из крепкого серого булыжника, своды наверху хорошо выровнены и

---

[1]) Рур—рурский каменноугольный бассейн принадлежал Германии, но в 1923 году был захвачен войсками французской буржуазии.

цементированы. Все кажется прочным, солидным, основательным, и кажется странно подумать, что именно здесь происходят так часто несчастья и катастрофы.

В шахте.

— Идите за мной,—говорит штейгер.

Мы вступаем в широкий, длинный коридор, постепенно теряющийся где-то в отдалении. Он метра 4 вышиной, так же хорошо, как и вокзал, цементирован и хорошо освещен электрическими лампами. Посредине коридора проложены узенькие рельсы и по бокам от них кое-где разбросаны кучки черного угля и различные инструменты, употребляемые углекопами.

Несколько минут мы молча двигаемся по широкому коридору. Вдруг издали до моего слуха доносится какой-то странный глухой гул. Гул этот все приближается, растет с секунды на секунду.

— Посторонитесь. Это вагонетки.

Почти в тот же момент мимо нас быстро проносится крошечный паровоз, целый поезд нагруженных углем вагонеток.

— Ну, теперь будьте осторожнее,—снова произносит штейгер.

Мы сворачиваем с главного коридора в узкий боковой ход. Дорога неровная, извилистая, под ногами то и дело появляются куски угля и камни, о которые больно спотыкаешься с непривычки на каждом шагу, с потолка свешиваются тяжелые, черные глыбы, кажется вот-вот готовые упасть.

Газ.

Под ногами скользко и сыро, мы то и дело попадаем в глубокие лужи. Воздух делается влажным и удушливым.

— Гм...—бормочет штейгер.—Газ.

— Газ,—с некоторой тревогой подхватываю я, вспоминая сколько ужасных подземных катастроф было вызвано скоплением угольного газа.

— Да вы не беспокойтесь,—отвечает штейгер,—его мало и он сейчас не опасен.

— Вот посмотрите.

Мой спутник высоко поднимает лампу и ее тусклое красноватое пламя загорается ярким, синеватым огнем.

— Если газа мало,—продолжает штейгер,—то пламя сразу вспыхивает, вот как сейчас. А если газа много, то лампа тухнет, тогда опасно.

Мы пробираемся дальше, все также согнувшись и также ощупывая каждую пядь земли. От непривычного положения шея начинает болеть.

Скоро ли конец?

Углекопы.

Мелькнули в отдалении тусклые огни, раздались голоса людей и стук отбиваемого угля.

Я всматриваюсь в темноту, лишь слегка разгоняемую слабым светом „безопасных“ лампочек, и начинаю различать отдельные фигуры. Рабочих здесь довольно много и каждый из них занят своим делом. Двое пожилых углекопов медленно тянут находящуюся поблизости вагонетку с углем. Еще несколько человек поодаль, стоя на коленях, сидя на корточках и полулежа на боку, ровно и систематически отбивают куски угля. Один из забойщиков особенно привлек мое внимание. Он лежал на спине в небольшом углублении, выдолбленном в угольной породе, и голова его приходилась как раз в узкой щели между двумя огромными глыбами серого камня. Вытянувши руки вперед, рабочий механически ударял по нависшему краю черного пласта, обломки угля сыпались и падали на его грудь, на живот, на ноги... Мне стало жутко...

— Точно в гробу,—мелькнуло в голове.

— Ну, однако не слишком-то высоко,—говорю я, обращаясь к стоящим перед нами рабочими,—во весь рост здесь выпрямиться невозможно.

— Это еще слава богу,—отвечают они—все-таки хоть на коленях можно работать. А вот в Мансфельдском

районе (в центральной Германии) куда хуже: там угольный пласт толщиной всего в $1^1/_2$—2 фута и работать приходится исключительно лежа.

Мы снова в пути. Опять длинные, низкие, извилистые ходы, матово-серый камень, журчание невидимо бегущей воды и влажный удушливый, напоенный угольной пылью воздух... Мелькают во мраке тускло огни, глухо доносятся голоса людей, с грохотом и шумом проносятся вагонетки.

Подъем.

— Ну, вот и конец нашему путешествию,—восклицает весело штейгер, подходя со мной к железной „корзине“.— Теперь можно и наверх.

Снова колышется под ногами „корзина“.

Останавливается. Гремит отодвигаемая решетка, и мы выходим на большую открытую платформу. Глаза невольно щурятся от непривычного света.

Солнце, солнце! Еще никогда в жизни я не приветствовал с такой радостью и восторгом горящее в вышине солнце.

Л. Майский.

КРАСНОЕ МОРЕ.

(Революция в Германии[1]).

Люди, люди, везде люди. Но они были спокойны, ничего не говорили и только устремлялись вперед. Куда? Этого они и сами не знали. Кто сказал—неизвестно. Правда ли это—тоже никто не знал, но один сообщал другому, и слух распространялся дальше, быстро передаваясь из уст в уста. Говор толпы переходил в крики. На углу каждой улицы раздавался громкий возглас. Кто-то кричал охрипшим от напряжения голосом: „Император отрекся, наследник также"...

Толпа останавливалась в изумлении.

Раздались крики: „Долой Вильгельма! К замку! К замку!.."

Откуда явились все эти рабочие, которые двигаются по улицам сомкнутыми рядами? Они уже с утра прекратили работу. Крупные заводы закрылись. Вожди рабочих указали им направление: итти к замку. Они шли безмолвно, посредине улиц, и также безмолвно пропускали их мимо военные патрули в стальных касках и с ружьями за плечами. Вообще они держали себя так, как будто все это совершенно их не касалось. Да и что же они должны были сделать? Удерживать рабочих или пропустить их? Забирать? Но для этого не было поводов. И при этом они уже знали, что в некоторых казармах происходят сильные волнения. Там были выломаны двери. Офицеры ничего не достигли тем, что стреляли из окон. Солдаты побросали свои соломенные мешки и свой хлеб ликующей толпе вышли с наполненными ранцами.

В казарме у Бранденбургских ворот[2]) было то же самое. Там произошел настоящий мятеж, небывалый бунт.

---

[1]) Революция в Германии вспыхнула 9 ноября 1918 года.

[2]) Бранденбургские ворота в Берлине—столице Германии.

Огромная толпа ринулась туда. Военные бумаги, выбрасываемые из окон, летели на мостовую, сопровождаемые диким хохотом толпы, которая разрывала их на клочки и втаптывала в грязь. То же самое совершалось и в других казармах. Даже гвардейские стрелки, стоявшие в боевой готовности, отказались исполнять приказания офицеров. Кого же они должны защищать теперь? Императора, которому они приносили присягу, уже больше нет. Нельзя же проливать свою кровь неизвестно для кого и для чего. Рабочие ведь наши братья, и в них стрелять нельзя.

Послышались крики, пение, ликование:

— Император отрекся. Да здравствует республика...

Роздали патроны, теперь народ вооружен. Подростки и дети дрались из-за них. Ручные гранаты бросали в воду, военное снаряжение растыривали по улице. Война кончена, этой дряни нам больше не нужно...

Большой грузовик с трудом прокладывал себе дорогу в толпе. Раздались бурные крики восторга.

— Либкнехт. Да здравствует Либкнехт...

Партийный вождь стоял под большим красным флагом. Он кланялся толпе, приветствующей его, и что-то говорил, но расслышать можно было только отдельные слова: „Принудили к миру“... „Господство Гогенцоллернов [1]) миновало“... „Привет нашим русским братьям“. Восторженные крики народа нарушали связность речи, но никто не придавал этому значения...

Автомобиль исчез в воротах замка, стража пропустила его. Через несколько минут Либкнехт снова появился на раззолоченном балконе императорского дворца. Ярко-красный ковер свешивался с балкона, выделяясь сияющим пятном на сером выветрившемся камне.

„Товарищи!—воскликнул он.—Я провозглашаю свободную социалистическую республику Германии. Через ворота этого замка выйдет новая социалистическая свобода. Она пойдет к солдатам и рабочим. Пусть на том

---

[1]) Гогенцоллерны—императорский дом, царствовавший в Германии до ноябрьской революции.

месте, где некогда развевался императорский штандарт [1]), теперь развевается красное знамя республики".

Он поднял руку.

Замковая стража на крыше замахала в воздухе касками, и на флагштоке, вместо императорского штандарта, взвился красный флаг.

— Да здравствует свобода, счастье и мир!

Клара Фибих.

[1]) Штандарт—флаг.

„Обратим наш взор на восток... Социалистическая Советская Россия с беспримерным героизмом и самопожертвованием борется с затруднениями и опасностями, каких до сих пор не знала история .. Да будет Социалистическая Советская Россия нам символом, надеждой, залогом наступления новых времен, рождающихся из хаоса гибели буржуазного мира. Борющийся революционный германский пролетариат должен построить мост, по которому очищающий огонь революции, пожирающий капитализм, перекинется с востока на запад. Будем готовы, подготовить все, что нужно. Выше знамя! Вперед! Все через революцию и все для революции".

Клара Цеткин [1]).

[1]) Клара Цеткин — старейшая немецкая революционерка, руководительница германского рабочего класса.

9 НОЯБРЯ [1]).

Улицы переполнены людьми. Разрушены плотины, и по городу хлещет поток. Из предместья, из фабрик пришли они сюда,—желтые лица, руки изъедены плохим маслом машин, глаза воспалены от колючего пламени электрических ламп. Пришли и бледные, увядшие, годами не видавшие дневного света. Пришли те, что питались свеклой и картошкой, в то время как кельнеры [2]) в ресторане Штифтера [3]) шептали гостям свои лакомые тайны. Пришли и те, что еще верили лжи и обману, тогда как посвященные давно уже знали истину. Пришли и те, что жертвовали на войну свои тонкие, стершиеся обручальные кольца в то время, как во дворцах на столах стояли тяжелые золотые и серебряные подсвечники. Пришли и те несчастные, у кого и рубашки не было на теле...

Оттуда... оттуда...

Со впалыми глазами, забитые, оплеванные, заживо погребенные, отвергнутые, замученные, распятые... да, они сошли со своих крестов и пришли.

Пришли и женщины, что, не торгуясь, отдали своих детей на войну генералам.

Пришли и женщины, чьи мужья давно гнили в общих могилах, пришли и матери, те, что видели, как умирали младенцы у их иссохшей груди.

Пришли сумасшедшие, те, кого нужда и война лишили рассудка, пришли умирающие, до смерти истощенные скорбью и заботами жизни, еле несли их дрожащие ноги.

Мостовые и тротуары переполнены. Повсюду ораторы,

---

[1]) 9 ноября—день революции в Германии.

[2]) Кельнер—по-немецки—услужающий в ресторане.

[3]) Ресторан Штифтера—буржуазный ресторан в Берлине.

на автомобилях, телегах, тачках, скамьях. Немой, кого десятки лет, столетия держали немым,—заговорил теперь...

Повсюду солдаты, в одиночку, кучками, толпою, в жалкой заплатанной одежде. Они прошли через кровавое море, они поднялись из него, они еще опьянены запахом человеческой крови, но уже новая надежда горит в их глазах.

Военнопленные. И они свободны. Кучками проталкиваются они в общей давке. Французы, русские, итальянцы, англичане, шотландцы, канадцы, негры, австралийцы, индусы во всех мыслимых формах. Они курят, почесывают заросшие щеки, плюют, гогочут.

В здании рейхстага [1]) заседают люди Ноября [2]). Там, где раньше лишь шептали, стоит шум, сидит на корточках охрана у своих пулеметов.

Палящим пламенем горит новое солнце, солнце революции на небе. Оно взошло далеко в России, смоченное кровью и слезами. Оно перешло Вислу [3]). Оно перейдет и за Рейн [3]). Оно перейдет за канал [3]), смоченное слезами и кровью. По ту сторону Атлантического океана встанет оно из моря, и стальные палаты небоскребов растают в палящем пламени...

Б. Келлерман.

---

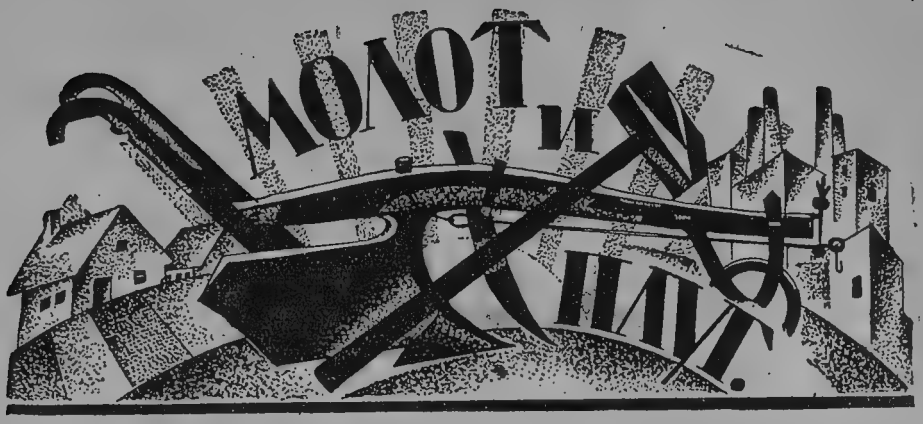
[1]) Рейхстаг—государственная дума в Германии.

[2]) Люди Ноября—т.-е. люди революции.

[3]) Висла—река в Польше, Рейн—немецкая река на западе, отделяет Германию от Франции. Канал—речь идет о канале Ла-Манш, отделяющем Францию от Англии. По ту сторону Атлантического океана, т.-е. в Америке. Здесь писатель предсказывает, что советская революция, начавшаяся в России, захватит Германию, Францию, Англию и перебросится в Америку.

ЧАСТЬ IV.

В ВОЛЬНОЙ СТРАНЕ.



Падает молот тяжелый,
Брызжет железо огнем;
В кузнице с песней веселой,
Плуг мы на славу куем.
Выйдешь ты крепок из горна,
Землю ты взроешь, могуч,
В землю схоронятся зерна,
Прыснет их ливень из туч.
Встанет зеленая нива—
Сладок ей пот трудовой...
Лесом колосья лениво
Ветер погонит волной...
Золотом чистым по полю
Лягут под острым серпом.
Вырвется песня на волю,
Как из железа—огнем...
Падает молот проворно:
„Крепче—не будет греха“...
Мечется пламя из горна...
„Воздуху!“—свищут меха.

Песня деда Софрона.

Ты играй, моя дуда: ду-ду, ду-ду,
Ду-ду, ду-ду,
А я, старенький, иду, я все иду,
Я все иду,
По дорожкам, по проселочкам плетусь,
Плетусь, плетусь...
Приюти меня, прими, родная Русь,
Родная Русь.
Пробреду я от деревни до села,
И до села,
Зазвоню я, дед, во все колокола,
Колокола.
Ой, ты, медь, ты, медь певучая, гуди,
Гуди, гуди,
Всю Рассеюшку набатом разбуди,
Да разбуди.
Как я гряну во все сорок сороков,
Да сороков,
Как я кликну на Москве всех батраков,
Всех батраков:
Гей, ты, черный люд, рабочий трудовой,
Люд трудовой,
Стань за вольную отчизну головой,
Стань головой.
Лютый ворог стал ногой в родной земле,
В родной земле,
Гей, не быть, не быть нам, братцы в кабале,
Да в кабале.

Не потерпим вновь татарской злой поры,
Лихой поры.
Гей, точите-ко, вы, братцы, топоры,
Да топоры.
А чтобы вышли ваши косы все остры,
Да все остры,
Чтоб готовы были вы зажечь костры,
Зажечь костры,
И по первой по тревоге боевой,
Да боевой,
Заградить себя стеною огневой,
Да огневой.
То-то вороги заскачут! Их-ха-ха
И эх-ха-ха.
Как мы красного им пустим петуха,
Да петуха.
Гей, ты, Русь, ты, Русь родная, вольный край!
Наш вольный край,
Боевую свою силушку сбирай,
Да сбирай.

Ты дуди, моя дуда! ду-ду, ду-ду,
Ду-ду, ду-ду,
А я, старенький, проселками иду,
Иду, иду...
Ге-ей...

Демьян Бедный.

Общественный труд.

1. Люди трудятся сообща для всех.

Полезная штука часы. Без часов нынче прожить трудно. Держу я часы в руках и думаю: а сколько человек потрудились над ними.

Сначала мне показалось, что немного. А как подумал—выходит много.

В часах есть железо, медь, сталь, стекло, глина, да еще стеклышки вроде изумрудов.

Одни люди где-то работали под землей, добывая железную руду. Другие люди по железной дороге перевозили эту руду на металлургический завод. Третьи на заводе выплавляли из руды металл. Четвертые из металла делали часовые крышки и другие части.

И все это в разных местах.

Таким же долгим путем из одной руды получались колесики, винтики. Стеклышко и циферблат совсем в другом месте, другими людьми.

Подсчитайте-ка, сколько людей трудилось над часами.

Но это не все. Паровоз не мог бы перевозить материалы и готовые изделия, если бы шахтеры не добыли в шахтах угля. А углекопы не могут добыть угля, если ткачи не сработают для них одежду, сапожники—обувь и так далее.

Мало того, если бы крестьяне не посеяли и не убрали хлеба, все перечисленные раньше рабочие не могли бы работать над часами.

Вдумаешься—вспомнишь и давно умерших тружеников, которые построили железную дорогу или изобрели паровоз и так дальше.

Одним словом, над маленькими часами работало и работает бесчисленное множество людей. И так во всем.

Люди трудятся сообща для всех. Каждый делает только свою работу по специальности, а в общем выходит организованный общественный труд.

2. Общий труд на общую пользу.

Одно только было плохо раньше: трудятся-то сообща, а пользу от труда получают одни богачи.

Теперь рабочие и крестьяне сбросили власть богачей и объявили как землю, так и фабрики, заводы, дороги, пароходы и прочие предприятия общенародным достоянием. Теперь общий труд пойдет на общую пользу и никто не будет богатеть за счет чужого труда.

Надо только получше организовать труд, чтобы с меньшими затратами рабочей силы достигнуть самых больших успехов. Побольше завести хороших машин, облегчающих работу, сберегающих наши силы.

Теперь пойдет все по-хорошему.

Л. Сосновский.

Труд—наш единственный путеводитель, наш единственный учитель и бог. Труд освобождает человечество от лжи и неправды, он дарит ему мужество и радость, любовь и красоту.

Э. ЗОЛЯ.

ШАРМАНКА.

Ты гуди, моя шарманка,
Ты буди честной народ...
Солнце встало спозаранку,
На работу мир зовет.

Ты вставай, вставай, красавец,
Богатырь—рабочий люд...
Наведи-ка, солнце, глянец
Ты на тех, кто любит труд.

Распиши-ка щечки алым
У красавиц-молодух,
Проясни лицо удалым,
Чтоб огонь в них не потух.

Чтобы наши парни, девки
На работу с песней шли
От Большой до Малой Невки...
Пой, шарманка, весели...

Ты гуди, моя шарманка,
Весели честной народ...
Кто-то встал уж спозаранку,
Слышу голос я,—поет:

— Ты вставай, проснись скорее,
Молодая наша Русь...
За работу веселее
Принимайся да не трусь.

Строй, устраивай, рабочий,
Все по-новому начни...
Ты, до волюшки охочий,
Зло-неправду разгони...

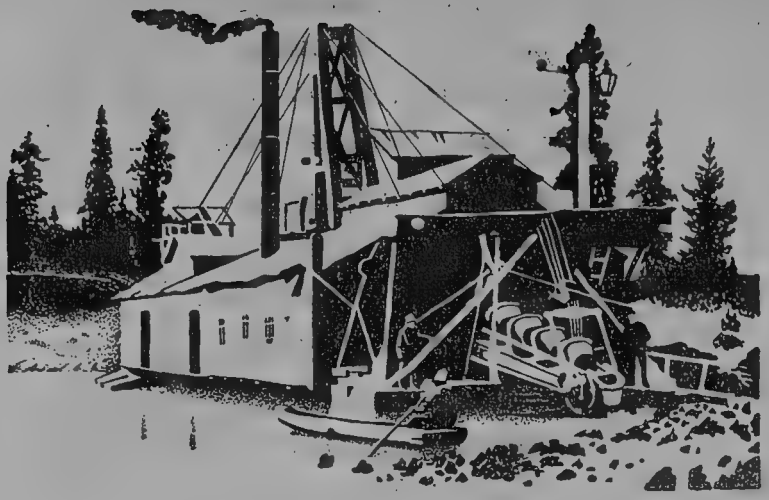
За работу в перегонки,
Знай работай, не сиди...
Эх, ты голос, милый, звонкий,
Стало радостно в груди.

Ты гуди, моя шарманка,
Весели рабочий люд...
Встанут наши спозаранку
Да на фабрики пойдут.

И везде кипит работа.
Эки, право, мастера!
Была только бы охота:
Не работа, а игра.

Ты гуди, гуди, шарманка...
Люд рабочий не горюй,
Да за дело спозаранку
Принимайся, не балуй.

П. Арский.



В царстве огня и железа.

Город—завод. На берегу реки стоит город. Издали ничего особенного в нем не приметно, а подойдешь ближе—чудной он какой-то. Много в нем больших и малых зданий—все каменных, крытых железом. Длинных прямых улиц нет, здания разбросаны в беспорядке, и стены их закопчены. Людей мало, а те, что появляются иногда на улице, выглядят трубочистами.

От одного здания к другому проложены рельсы, а на рельсах стоят вагоны. То здесь, то там из-за зданий подымаются к небу высокие черные трубы, из которых валит дым столбом. А вот рядом стоят несколько построек, совсем особенных,—не дома и не трубы. Похожи они на круглые башни, суженные кверху; высотою они около десяти саженей. Внизу этих башен устроены топки, в которых пылает огонь; паровая машина, с особыми приспособлениями вместо мехов, раздувает огонь.

Город этот—железоделательный завод, а круглые башни, это—печи, в которых расплавляют железную руду. Называются эти печи доменными, или проще сказать—домнами. Через верхнее отверстие в домну засыпают вперемежку руду, каменный уголь и некоторые примеси. Потом разводят в топке огонь и поддерживают его день и ночь. Нижние слои руды плавятся, а в это время сверху подбавляют новые запасы руды. Работа идет непрерывно, пока в домне что-нибудь не испортится.

Непривычному человеку жутко стоять вблизи домны. Паровая машина со страшной силой вдувает воздух в топку огненным вихрем крутится пламя, внутри печи бурлит и клокочет, словно в громадном самоваре. Домна гудит и стонет,—ка-

жется, вот-вот разорвется на части; из трубы вырываются черные клубы дыма и расползаются во все стороны.

Но вот наступила пора выпускать расплавленную руду. Для этого в стене домны есть два отверстия с заслонками — одно повыше, другое пониже. Рабочие отодвинули верхнюю заслонку. Из отверстия посыпались искры, а затем полилась огненная струя. Это—ненужная накипь, шлак, который по жолобу отводится куда-нибудь подальше, в сторону. После шлака выпускают через нижнее отверстие железо. Расплавленный металл выливается белою струею в жолоб, а из жолоба—в канавки, посыпанные песком. Канавки эти заканчиваются ямами, куда и стекает железо.

Но это еще не чистое железо, а чугун. На других заводах он перерабатывается в железо и сталь.

Выплавленный в домне чугун содержит в себе примесь некоторых веществ. Одно из этих веществ—углерод—делает чугун хрупким. Чугун нельзя ковать, а можно лишь отливать из него разные вещи. Чтобы получить из него обыкновенное железо и сталь, чугун переплавляют в особых печах на чугуноплавильных заводах. В одних печах из него начисто выжигают углерод—получается ковкое железо; в других печах из чугуна выжигают часть углерода, и совсем отделяют другие примеси—получается сталь. Она так же ковка, как и железо, и в то же время плавится подобно чугуну.

Домна выплавляет в сутки до 20.000 пудов чугуна. На чугуно-литейном заводе в час времени перерабатывают в железо около 300 пудов чугуна.

На заводах железу придают разную форму: есть железо листовое, круглое, гранное, полосовое и т. д. Сто лет тому назад железо было дорогим товаром, особенно сталь. Теперь оно доступно даже небогатому человеку. Множество заводов вырабатывает железо в огромных количествах. Оно стало таким же обыкновенным материалом, как дерево и камень. И люди воспользовались обилием железа, чтобы расширить сельское хозяйство и улучшить обработку земли.

РАДОСТЬ В ТРУДЕ.

Эх, хорошо жить! Что труд тяжелый, если он спорится! Что тучки на небе, если знаешь, что завтра будет день хороший, летний, солнечный.

И в прежнее время жила Маша, не унывала, а теперь — когда же унывать?

Все ясно, все хорошо, весело.

В половине шестого заводский гудок будил ее. Поспешно поднимается она с узкой девичьей кровати, подбежит босая к окну, глянет,—а Волга легким паром курится, широкая, блестит на солнышке серебряными чешуйками. Засмеется Маша, сама не знает чему, волчком забегает по коморке, собираясь, а в шесть, по второму гудку, вместе с толпами рабочих идет через контрольную будку на заводский двор. Молодые, старики, бабы, девушки... Отдохнувшие, веселые, бодрые, смеются, зубоскалят.

А завод уже совсем проснулся и, как разгневанный зверь, ворчит, хрипит, пыхтит. В дробилке раздается громовый грохот— там тяжелые тиски дробят меловые глыбы, что вагонетками доставляются с горы Маяка. В главном корпусе, окруженном высокими трубами, гудят американские вращающиеся печи, в которых раскаленный газ обжигает сырой цемент. В другом здании мельничные жернова с тяжелым урчанием и скрипом размалывают цемент в мелкий порошок. В бондарке воют электрические пилы и рубанки. Из слесарной несутся звонкие удары молота по железу...

Все кипит и мчится в неудержимом беге, зажигает, захватывает. И только покажется во двор Маша, как этот шум властно подхватит ее. Через двор, по пыльным плитам поспешно пройдет она в насыпную—длинное серое здание, сплошь закутанное цементной пылью, и бодрая и смеющаяся примется за работу.

В насыпной полумрак от пыли: цемент, перемолотый жерновами, ссыпается по желобам в бочонки и густым облаком летит в воздух. Насыпщицы и насыпщики работают с закутанными головами, с завязанным ртом, чтобы тяжелая цементная

пыль не попадала в легкие. Все они серые от пыли и работают молча. Ловко подставляют они боченки под желоба, потом перекатывают их на весы, потом на вагонетки и по рельсам везут через двор в другое здание — заделочное, где уже другие рабочие пристраивают к боченку второе днище, оклеивают ярлыками и увозят дальше, в склады. Маша ловко вкладывает бумагу в пустой боченок; ловко подставляет его под желоб, утрясает и полный цемента, тяжелый перекатывает на весы. Привычные руки крепки... А глаза под серыми запыленными бровями смеются лукаво. Крикнула бы, пошутила бы, да рот завязан. И только когда доходила очередь и Маша вместе с другими работницами везла боченки на вагонетке в заделочную, она отряхивалась на дворе и, вздохнув глубоко, рассыпалась смехом

— Что ты, Маша, нынче веселая какая? — спросят подруги

— А так. Хорошо.

И, опершись могучими руками в железную стенку вагонетки она волокла ее, вся изгибаясь. А встречные рабочие глядели жадно и откровенно на ее изогнувшийся стан и зубоскалили:

— Эх, девка-то, люли малина!

— Что, аль завидно?

— Да, Господи, как же не позавидовать!

И смеются все, показывая белые зубы. И Маша смеется сама

В полдень обед и короткий отдых. Потом опять работа, уже чуть-чуть ленивая—до вечера. В шесть опять гудок—и поспешно бежит Маша к воротам, к выходу.

Толпа теперь утомлена и измучена, но шутки и смех дрожат в воздухе: все рады, что кончился тяжелый день, что теперь можно отдохнуть.

А. Яковлев.

Как добывается каменный уголь.

Пласты каменного угля.

Каменный уголь залегает среди других горных пород в виде пластов или пластообразных залежей. Если слой каменного угля залегает в значительном пространстве, не меняя существенным образом своей толщины или, как говорят обычно, своей мощности, то такая залежь называется пластовой залежью или пластом.

Добыча угля.

Добыча угля производится, обыкновенно, путем ручной работы и применением взрывчатых веществ. И только если уголь твердый, то применяются в работе врубовые машины, которые врубаются в пласт и, пробивая в нем узкое, но глубокое отверстие-щель по всей ширине забоя, облегчают затем отбивание угля от пласта. Применяются и буровые молотки, при помощи которых пробиваются тонкие глубокие отверстия для того, чтобы заложить потом в эти отверстия взрывчатые вещества и, при помощи взрыва их, оторвать часть угля от пласта. Эти врубовые машины и буровые молотки введены у нас в Донецком бассейне сравнительно недавно и применялись на немногих рудниках. Большей же частью все работы по добыче угля производятся рабочими-забойщиками вручную. Тяжелая это работа!

Забойщики и саночники.

Забой производится только по пласту, а мощность пласта бывает и в аршин и даже в три четверти аршина. В таком низком пространстве, освещенном лишь слабым светом рудничной лампы, в душном и жарком, насыщенном угольной пылью воздухе, забойщики, полулежа, делают свою тяжелую работу, отбивая уголь, кусок за куском, от пласта.

Если пласт достаточно крутой, то уголь сам, силой своей тяжести, сползает вниз по почве пласта, или по положенным для этой цели железным листам, на пологом же падении он не сползает, и его приходится нагружать на санки и тащить до ближайшей откаточной галлереи.

Это тоже тяжелая работа, с которой обычно начинает работу в шахте молодой горнорабочий. Саночник ползет по низкому пространству, прицепив себе к поясу крюк от санок, груженных углем.

Откатка угля происходит в вагонетках, по проложенным рельсовым путям.

Обычно целые поезда вагонеток везут лошади, но иногда откатка производится и людьми. Наконец, уголь добирается до ствола шахты. Здесь в рудничном вагонетки накатывают на клеть и могучие машины, установленные вверху в надшахтном здании, поднимают тяжелый груз по стволу шахты.

Этим кончается движение угля от забоя до поверхности. Но сколько труда и умения требуется для того, чтобы вагонетки, нагруженные углем, без задержки выходили одна за другой из шахты!

Подземный город.

Большая шахта—это подземный город с целым рядом улиц и переулков. Нужно каждый уголок в этом городе укрепить, обезопасить от обвала, нужно следить за исправностью крепи, покуда в выработке идет работа, а когда выработка уже не нужна, нужно принять меры, чтобы обвалы, которые будут происходить в ней, не повредили соседним выработкам или не отразились на поверхности земли. Для этого выработанное пространство полностью или частично закладывается глыбами, получающимися попутно, при добыче угля. Над креплением и ремонтом работают крепильщики и закладчики (забутчики).

Вентиляция.

Нужно позаботиться о том, чтобы каждый уголок подземного города был снабжен в достаточном количестве свежим воздухом. Направить струю свежего воздуха, поступающего в шахту, таким образом, чтобы она разделилась на отдельные струи, обошла все забои, все уголки—дело очень сложное. Особенно трудно проветривать глухие выработки; поэтому, по возможности, стараются глухих выработок не делать. Струя воздуха направляется в нужную сторону при помощи дверей, которыми перегораживают выработки. За этими дверьми ведется тщательное наблюдение, чтобы они были открыты только тогда, когда это нужно для пропуска рабочих грузов. И опять-таки вентиляцию обслуживает особый штат рабочих.

Работа без перебоев.

Подземная жизнь шахты должна быть налажена так, чтобы каждая вспомогательная работа не задерживала основную работу по добыче и передвижению угля.

То же можно сказать и о части работы на поверхности. Шахта должна во-время получить все нужные ей материалы, во-время должны быть спущены и подняты рабочие, поднят груз угля и спущены вагонетки.

Исправно должны работать машины, обслуживающие подъем вентиляцию, насосы для откачивания подземной воды из шахт. Исправно должны работать мастерские и материальные склады, доставляя подземным рабочим инструмент и материалы. Во-время лесной двор должен заготовить стойки для крепления выработок и отправить их в шахту; в шахте некогда пригонять стойки—они должны быть уже заготовлены нужных размеров и всегда быть в достаточном количестве в шахте, так как всякая задержка в доставке материалов вызовет задержку в креплении, а это может вызвать обвалы. Должно быть хорошо налажено ламповое отделение, откуда каждый рабочий должен получать вполне исправную лампу. Это особенно важно в шахтах, где выделяется гремучий газ, потому что малейшая неисправность лампы может вызвать взрыв.

Хорошо налаженная большая шахта напоминает огромную машину, где каждый винтик, каждый рычаг выполняет свое дело и где от исправности отдельных частей зависит работа всей машины. И если все части этой машины-шахты работают исправно, то шахта и под землей и на поверхности представляет собой очень оживленное зрелище. От забоев к главным откаточным выработкам, особенно если шахта работает несколько пластов,—непрерывное движение. Волна груженых вагонеток движется по рельсам квершлага к шахте, а навстречу им идет волна пустых вагонеток для нагрузки.

На рудничном дворе.

Еще большее оживление в рудничном дворе. По стволу непрерывно движутся клети. Чуть останавливается клеть—сейчас же выкатывают из нее в одну сторону пустые вагонетки, а с другой—накатывают груженные. Резкие сигнальные звонки—и клеть летит вверх с грузом пустых вагонеток.

Та же картина наверху.

В надшахтном здании непрерывно почти скользят стальные канаты, поднимающие и опускающие клеть. Шахта непрерывно выбрасывает вагонетки, груженные углем, и непрерывно поглощает пустые вагонетки.

С выходом угля из шахты кончаются горные работы, связанные с его добычей.

ПАРОВОЗ № 100.

I.

На заводе чувствовалось необычайное настроение. Несмотря на праздничный день, синие блузы рабочих мелькали в мастерских и на дворе. На загорелых лицах, покрытых копотью и потом, можно было уловить оттенок радостной торжественности, точно весеннее утро принесло с собой неведомое счастье.

Солнце ослепительно блестело в синеве неба. Легкий ветерок колыхал верхушки деревьев ближнего парка и весело подгонял клубы коричневого дыма из заводских труб.

Поодаль, где стальные блестящие рельсы прорезали зелень равнины, наблюдалось особенное оживление.

На рельсах стоял новый паровоз, блестевший на солнце свежестью красок, медными частями и стальными поршнями. Из трубы выбивались клубы серого дыма.

Спереди, с боков и сзади паровоза отчетливо виднелась крупно нарисованная цифра „№ 100“.

Металлургический завод, недавно пущенный после перерыва, выпускал уже сотый паровоз. Об этом знало все население рабочего поселка, и теперь оно вместе с отцами, женами и детьми явилось на этот великий праздник труда.

II.

Загорелый, с седеющей бородой на умном, серьезном лице, машинист Данилыч рассказывал о былом своему помощнику, привинчивавшему последнюю гайку под тележкой тендера.

— Был тоже у нас такой случай. На Ульминском механическом заводе, лет десять тому назад, взялись мы праздник отработать. Спускали локомотив на рельсы... Хозяину,

вишь ты, срочный заказ поступил. Все честь-честью... Попа привозили, молебен служили по случаю благополучного окончания. Уговору на счет платы не было—остались ни с чем. Зато пять ведер водки хозяйской получили. К вечеру перепились. Драка, ругань... Ночью, якобы для усмирения, арестовали десятка полтора наших товарищей... Потом их совсем угнали с завода...

Вся площадь на заводском дворе густо усеяна рабочим населением. Прибежали ребятишки, пришли работницы. Стали перетаскивать обрубки дерева, поленья, дорожку расчищали... Смеялись.

— А мы то кто ж? Праздновать что ль не умеем. И наша копейка не щербата.

К полудню паровоз был окончательно готов к отправлению. Теперь все рабочие сгрудились около него, и казалось, что цифра „№ 100“ отражалась в глазах каждого из них...

— Товарищи, люди добрые, дайте посмотреть на него... Говорят сотый номер. А, ведь, у меня муж и два сына работают на заводе...

Старушонка протискивается ближе к паровозу и крестится... На нее улыбаются.

Заводский комитет в полном составе тут же. Один из товарищей выделился, поднялся на топку, протянул руку.

— Тише, тише! Говорить будут!

Машут фуражками. Комитетчик вглядывается в толпу, обнажает лысую голову и начинает:

— Два года тому назад мы, товарищи, стали хозяевами завода. У нас не легко наладилась работа. Помните, сколько было всяких затруднений. Теперь мы выпускаем сотый паровоз. Мы одержали победу!

Слова подхватываются, рассыпаются по толпе, как тяжеловесные зерна. Ветер колышет полы рубашки оратора, несет к нему струи пара и дыма и точно вдохновляет к новым призывам.

— Завтра мы начнем 101-й паровоз. Впереди еще много работы...

Рабочие лица так напряженно-внимательны. В душе у каждого точно так же, как в этом близком, родном паровозе—собирается сила, растет, толкает вперед.

Последний свисток.

Толпа схлынула с рельс. Встрепенулись паровозные мускулы, задвигались поршни и мерными взмахами покатились колеса. Грянуло в воздухе могучее „ура“, а потом понеслись звуки рабочего Интернационала.

В последний раз мелькали памятные цифры „№ 100“... „№ 100“... „№ 100“...

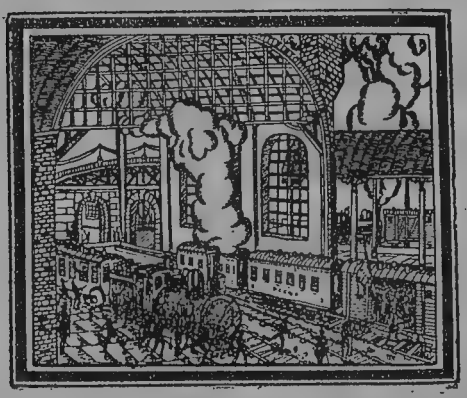
Паровоз скрылся вдали. Рабочие расходились.

Доносились отрывки речей.

— Завтра 101-й начинать...

— Эх, в жисть не видал такого праздника...

Где-то залилась песня. Слышалась в ней новая сила—сила борьбы и труда. Звуки ее тонули в теплом весеннем воздухе, уплывали в зелень парка и будили живую силу стального завода.



* * *

Живей рубанок, шибче шаркай,
Шушукай, пой за верстаком.
Чеши тесину сталью жаркой,
Стальным и жарким гребешком.
Ой, вейтесь, осыпайтесь на пол
Вы, кудри русые, с доски.
Ах, вас не мед ли где закапал,
Как вы душисты, как сладки.
О, помнишь ли, рубанок, с нами
Она прощалася спеша,
Потряхивая кудрями
И пушно стружками шурша.
Я то мгновенье острой мукой
Глубоко сердце занозил,
И после тихою разлукой
Тебя глубоко запылил.
И вот сегодня шум свиданья.
И ты, кудрявясь второпях,
Взвеваешь теплые воспоминанья
О тех возлюбленных кудрях.
Живей, рубанок, шибче шаркай,
Шушукай, пой за верстаком,
Чеши тесину сталью жаркой,
Стальным и жарким гребешком.

Василий Казин.

Рабочий без профсоюза—сирота.

Не свалив нас силой внешней,
Живоглоты-упыри
Уповают, что успешней
Подорвут нас изнутри.
Есть рабочие из стали,
Есть михрютки простецы,
И таких буржуи стали
Брать искусно под уздцы.
Голова, обычно, с толком
И мошенник продувной,
Средь рабочих бродит волком
Их былой „отец родной“,—
Хвост прижатый, не трубою,
И примятые бока,—
Твердой почвы под собою
Туз не чувствует пока,—
Верит „счастью“ и не верит,
И, глаза скосивши вбок,
Осторожно лицемерит:
—„То-то, братец... Голубок!“
Но расценку скупо ставит.
Недовольных с глаз долой,—
И все круче, круче давит
Нестерпимой кабалой.
Простофиля ж чешет темя:
„Ну ж хозяин... Провались...
Вот пришло какое время!
Неча молвить, дождались!“

И скулит тоскливо, нудно...
Полюбуйтесь на борца!
Удержаться, право, трудно
От ядреного словца!
Чтоб не быть покорной пешкой,
Где хозяин—важный туз,
Простофиля - друг, не мешкай,
Запишися в профсоюз!
Профсоюзная работа
Для рабочих верный щит:
Так иного живоглота
Приутюжит—запищит!
Власть раз'евшегося пуза
Одиночкам лишь крута.
Знай, товарищ, без союза
Пролетарий—сирота!
Против нэпмановской шайки
Ты на первых же порах.
Без союзной крепкой спайки—
Так, песчинка, пыль и прах.
Друг, проникнись правдой этой,
Намотай ее на ус,—
Зря на „время" ты не сетуй,
А вступай скорей в союз!
Вступишь, грудь броней прикроешь,
Без союзной же брони
Ежли в землю нос зароешь,
Не других—себя вини.

Д. Бедный.

КОММУНАРЫ.

Ни достатка, ни порядка: ходит сам не свой Касьян: у Касьяна есть лошадка, нету плуга и семян.

У Емели дует в щели. С горя, бедный, будто пьян; плуг есть старый у Емели, нет лошадки и семян.

Злая грусть берет Нефеда; дед клянет весь белый свет: семена нашлись у деда, нет лошадки, плуга нет.

Повстречал Касьян Нефеда, подошел к ним Емельян. Слово-за-слово—беседа завязалась у крестьян.

—„Ох-ти, брат, не жизнь, а горе! Я вот стал совсем моща". Все на том сошлися вскоре: с горем биться сообща. Что у всех имелось втуне, то теперь слилось в одно: есть коммуна, а в коммуне—плуг, лошадка и зерно.

Дед с Касьяном поле пашет, с ними спаянный трудом, молотком Емеля машет, подновляя общий дом. Труд не в труд, одна утеха, стал милее белый свет.

— Братцы, счастья и успеха!

— Коммунарам мой привет!

Демьян Бедный.

КОММУНИЯ.

Десять лет пропадал Мишка Сбитень. А когда произошла революция, тут как раз ко времю и утрафил. К самому Новому году взял да в село прикатил.

Чернявой такой, быдто цыган, в ухе серьга, через всю грудь цепочка, часы со звоном, папаха, полушубок. А глаза страшенные—на выкате, а усищи—во! А сам — чисто медведь, идет—землю давит, от кулаков смертью пахнет: грохнет—крышка.

— Вы что, как мертвые, ходите, словно дохлые мухи? спрашивает он мужиков.—А? Радоваться должны, ликовать: из рабов гражданами стали.

— Эх, Мишка, Мишка... —вздохнули мужики.—У кого радость, а у нас коммуния.

— Ха-ха-ха! — захохотал Мишка Сбитень, — отлично сказано... Чего ж вздыхать-то?

— Да вот у нас в бедном комитете братаны Туляевы — самые кулаки сидят. У них винтовки, а у нас—ничем-чего.

— Ха-ха-ха!..—опять захохотал Мишка.

А крестьяне ему все и обсказали до тонкости, как братаны Туляевы над селом измывались и под видом того, что берут для коммунии, мужиков грабили.

Долго Мишка хохотал, да все за живот хватался, а потом зубами скрипнул, да с сердцем так:

— Ведите меня на сход.

Вот собралось собрание. Братаны Туляевы стали речь держать, а сами на Мишку все косятся.

— Ты, товарищ, кто таков? Ты коммунист?

А Мишка в ответ:

— Ха-ха-ха!.. Не признаете? А я вас знаю. Я—волгарь. На Волге-матке десять лет работал, кули таскал,

до самого Каспия доходил, вольным духом набирался, на Стенькином кургане чай пил. Мне чорт не брат... Вот кто я таков... Ну, валяйте дальше.

Братаны так его и не узнали. Старший шепнул середнему:

— Не иначе—большевик... Может, комиссар какой, с проверкой... Надобно по всей программе.

Да и начал жарить:

— Контр-революция, контрибуция, буржуи... Да здравствует вся власть Советов...

— Стой, товарищ,—оборвал Туляева Мишка Сбитень.—Я слышал, вы с мужиков больше двадцати тысяч контрибуции собрали. Где деньги?

— Деньги? А у тебя, товарищ, мандат есть?

— Есть,—как в бочку гукнул Мишка. Бросил цыгарку, встал, размахнулся, да как даст старшему Туляеву-кулаку по зубам:—Вот мой мандат.

Все мужики в страхе повскакали, наутек бросились, к дверям.

— Стойте, дурни! Куда вы?—гаркнул Мишка, да к братанам:—Мазурики вы, а не коммунисты. Буржуи вы. Ежели с кого контрибуцию брать, так это с вас, а вы-то в комбед засели... Ах, винтовки! Я те такую винтовку завинчу... Я те покажу стенку. Ребята, вяжи их, подлецов!

Мужики валом навалились на братанов.

— Попили нашей кровушки, аспиды... Рраз!

— Стой, не смей!—крикнул Мишка.—Ну их к чертям... Погодь маленько, дай слово сказать.

— Говори, говори... Желаем...

— Товарищи!—крикнул Мишка и тряхнул серьгой.—Коммуна—святое дело: коммуна—что твой улей, коммунист—пчела. Всяк честно трудится, зато всяк сладкий кусок ест. От этого самого не жизнь, а мед. А кто ваши Туляевы? Пауки, вот кто. А вы мухи. В паутину хлоп, тут вам и карачун. Вы здесь хозяева, а не они. К чорту их. Кто не за народ, тот против народа, против правды. К чертям Туляевых!

— Так, так... К лешему под хвост.

— Избы ихние отобрать. Имущество конфисковать... Начнем, товарищи, по-новому, по правде-истине... Чтоб всем была свобода, чтоб можно было дышать по всем статьям... А то, ежели я тебе глотку зажму, да ноздри законопачу, чем дышать будешь?

— Именно что... Тогда не вздыхнешь...

— Сплотимся, братцы, да всей стаей против тьмы. Книг, газет выпишем, школы заведем, тогда не будут нас вот такие Туляевы морочить. Мастерские откроем. Впряжемся, братцы, в воз, да по дороге дружно, в гору, к свету... Что нам надо? Все у нас есть, правда есть... Барскую землю под себя взяли.

— Взяли, взяли... Слава-те, Христу.

— Теперь, друзья, за общую работу надо, за святой труд. Зацветем к весне... Чтоб ни вершка свободной земли не было: запашку всем миром... Ну, да об этом еще поговорим. Эй, пятеро беднейших, выходи... Берите себе Туляевские избы... А вы, голубчики, к чертям отсюда марш...

Вячеслав Шишков.

Электрификация.

Пошли по Заволипихе слухи, что приехали инженеры, будут селе электрификацию делать. Но что такое „лектрипикация“, мужики не знали.

Погнали заволипихинцев на Чухино болото канавы рыть.

Покряхтывают заволипихинцы, крепко покряхтывают, видят, что не дело: спокон веку в болотной рже лишь одни кикиморы ныряют... да помалкивают: нужно ж для „лектрипикации“ потрудиться.

И дивятся заволипихинцы—чудное дело: нарыли из болота, машиной чавкнули, кирпичиками торф для просушки сложили—говорят: „будто торфом вместо дров гореть станет“... это земля-то...

На пригорке стройку соорудили—труба, как палец, кверху поднялась.

На электрической станции.

Войдешь в стройку: ад и ад кромешный, точь-в-точь на картинке страшного суда, инда жуть берет.

Машина красный рот нет-нет да разинет и торфу—хап, а сама—ровно в лихоманке, дрожмя, дрожит.

Колесо: стоит—колесо, закрутится—пропало... Думается, впряги в телегу хоть сотню лошадей,—и то так не завертится.

Глянул дед Ерофей, бородой потряс:

— Знайте, православные, без нечистого тут не обошлось... Нет, не обошлось... Нук-се поверни-ка таку махину... Во-от... А он, окаянный, вишь из пекла красные зубы щерит, да пофыркивает... Ему что... лишь бы народу побольше в свои лапы заграбастать... Вот оно что...

В Заволипихе электрическое освещение.

Столбов понаставили—паутиной проволоки к избам опутали. В избах пузырьки, в роде прежних казенных шкаликов, подвесили.

Повернешь какую-то хреновинку, и огонек засветился: ни высекать, ни раздувать не надо, а горит: ни чаду, ни копоти...

Только огонек-то уж больно не приветлив: не моргнет, не полыхнет, а все норовит, как бы избу наизнанку вывернуть: и прорехи, и копоть, и грязь сразу выявились, а ведь сколько годов в избах-то мужики, словно черви, копошились, не примечали.

Как Пелагеиха лампаду зажечь хотела.

Понадобилось бабе Пелагеихе огонька: лампадочку, ради праздника, перед заступницей затеплить посовалась, туда, сюда—ни огнива, ни трута... „дай-кось, думает, стеклышко сыму, да лучину зажгу".

Повертела, повертела электрическую лампочку—подалось стеклышко, а оттуда „ка-ак бес-то бахнет, да за рученьку—цоп и улетел во тьме"...

Пелагеиха со страху так и обомлела. Опамятовалась—деревню криком всполошила: крау... крау...

Мужики на улицу шарахнулись, бабы за горшки и в голос: горим... горим...

Бесов огонь.

Забурлила Заволипиха: „чево-ж бесовым огоньком морочат нас... Вали-ка, братцы, к анжинеру"...

И покатилась по деревне волна, встречный тын по колышку разнесла, а у Сидоровой избы, где жил инженер, прибоем зашумела:

— Эй, ты, антихрист, выходи к ответу...

— В чем дело, граждане?—спросил инженер.

— Чево-ж это канитель нам разводишь?..

— На кой ляд стеклянки в избах повесили?..

— Объявили лектрипикация будет к нам... Думали, хоть вздохнем послободнее... А ты бесов огонь подсунул...

— Што это за огонь, коли ни зажечь, ни прикурить от него,— кричали мужики.

— Стойте, стойте, граждане... Не все вместе говорите... Я разъясню вам... Да ведь этот свет и есть электрификация... Что же вам еще надо?

Ну и огорошил же анженер заволипихинцев, инда мозги шестернями не смазанными заскрипели: „не то врет, не то правду говорит"...

Потом не крик—медвежий рык раздался:

— Убирай свою лектрипикацию...

— Граждане... граждане...

— Не желаем... Лупи, братцы, чертовы пузырьки...

— Слушайте, граждане... Да выслушайте же наконец... Скажите, часто ваша деревня горит?

В толпе—заведрило, кое-где еще чуть слышно рокочет гром.

— Году не минет без пожаров... Просто разоренье...

— Супротив воли божией не пойдешь...

— Видите, граждане... Тут „воля божья" ни при чем, а все от вашей неосторожности с огнем... Да и при всей осторожности не убережешься: пошел в сеновал со свечей или с лучиной, нечаянно заронил искру—и пожар... Вам дали безопасный свет и вы еще недовольны... Сунь электрическую лампочку хотя в сено и не загорится...

— Так и не загорится?..— недоверчиво говорили мужики.

— Давайте испытаем...

Заволипихе не гореть.

В миг лампочка в охапке сена зацвела:

— Подкинь, подкинь еще сенца-то...

— И взаправду не загорается...

— Вот так ого-онь...

— Кабы я не сгорел, рази маялся бы так...

— Корпеешь-корпеешь за работой-то... хвать—пожар, и все прахом...

— Да мы и без пожаров-то во-как жили бы...

— А-а, кум, што, не говорил я—дельная штука будет...

— Верно... Ну, теперича Заволипихе не гореть...

— Спасибо, што на ум наставил... Вот как—спасибо...

Дед Корней закаркал:

— Православные... Не поддавайтесь бесову навождению... Душу-то не губите... Вот оно...

— Ты, старый хрыч, всех взбаломутил: бес... бе-ес...

И растеклась людская волна по избам ручейками с тихим журчанием:

— Заволипихе не горе-еть...

Мих. Волков.

Волховский великан.

Только в сказках слыхали мы про великанов. И чего только не могут они сделать? Все!

То в сказке. А вот что делают наши рабочие, да не в сказке, а взаправду.

Есть недалеко от Петрограда река Волхов, которая впадает в Ладожское озеро. Не длинная река, да бурная,— ездить по ней нельзя. С шумом и силой бьются ее волны о каменные берега. Вот и вздумал человек взять эту силу и заставить на себя работать, чем зря берега-то разбивать.

Еще при царском правительстве умные люди думали об этом, да не до того царю было. Чтобы взять эту силу реки, надо большое сооружение делать, а это больших денег стоит, а царскому правительству нужны были деньги на тюрьмы да на казенки.

Революция не засушила хорошей мысли, и вот она, наша рабоче-крестьянская власть, решила построить огромную станцию, которая бы собрала всю эту силу, а потом распределить бы ее так, как этого человек захочет.

Сооружение это называется гидро-электрическая станция.

Станция эта будет подавать электрическую энергию (силу) петроградским фабрикам и заводам. Сила станции будет равняться 80-ти тысячам лошадиных сил, а если сравнить с человеком, то надо полтора миллиона людей, неутомимых работников, тогда только их сила сравняется с силой станции. Ну, разве это не „великан“? Вместо

80 тысяч лошадей или полутора миллионов рабочих—одна станция, построенная 3-тысячной рабочей армией.

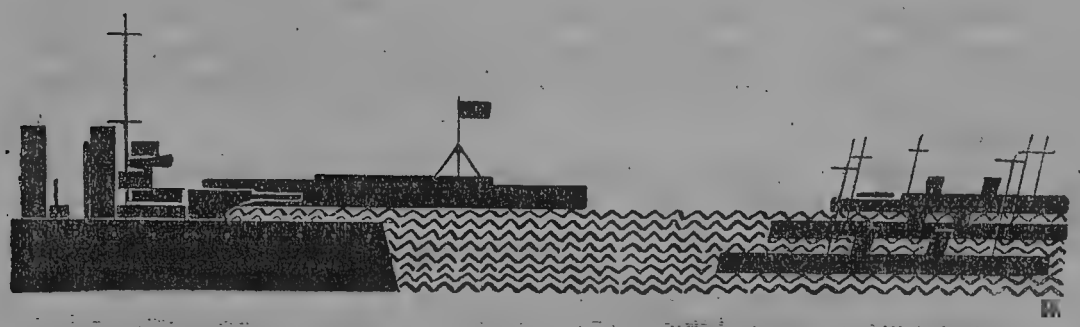
Электрическая энергия, вырабатываемая Волховской станцией, будет приводить в движение машины наших петроградских заводов-великанов, двигать трамваи, поднимать и переносить с одного места на другое грузы весом в несколько десятков и сотен тысяч пудов, освещать дома, улицы,—одним словом, облегчать труд человека.

Работы по постройке плотины уже начались, в будущем году плотина будет закончена.

Р. Т.

Электричество—сила.

Электричество вспашет землю, обмолотит хлеб, осветит города и деревни, перевезет грузы, доставит их во все концы страны, снабдит водой в засуху, оросит сады и поля.



Дедушка русской бутылки.

Двадцать верст по знаменитой „по старой Калужской дороге“ от станции железной дороги—и перед нами в прекрасном сосновом бору огромное, черное от времени, здание.

Это Мишеронский государственный стекольный завод. Заводу этому уже 86 лет.

Мишеронский завод несомненно „дедушка русской бутылки“. До сих пор в родовой усадьбе бывших владельцев, где теперь висят вывески завкома и правления, сохранились следы старинного житья-бытья. Еще торчат в стенах крепкие крючья, на которых висели фамильные портреты. Тяжелые комоды „под орех“ служат теперь хранилищем для книг.

Но завод далеко еще не „весь в прошлом“. Наоборот, этот старик считается лучшим стекольным заводом. Его производство при одной печи достигает 103 проц. сверх нормы, рассчитанной на две печи, и равно производству довоенного времени. За март было вывезено товару с завода 36 вагонов.

На пронизывающем ветре из дверей, около пышущей жаром печи, с изумительной ловкостью работают податчики и стеклодувы длинными железными трубками с висящими на концах раскаленными шарами из жидкого стекла. И девочки-подростки в лапотках быстро принимают на сетку одну за другой мечущие искры бутылки.

Изнурительна эта работа около ослепительных окошек клокочущей стеклом печи.

— Нам никакой ад теперь не страшен,—смеются рабочие.

По лицам их льется пот, слиплись волосы, а на спине белыми полосами проступает соль пота, точно мукой осыпаны темные гимнастерки.

В летнее время после каждых 15 минут такой работы рабочие лезут в пруд во всей одежде, чтобы через несколько минут опять высохнуть подле огненной печи.

Но несмотря на такие условия работы, несмотря на тяжесть пережитых голодных времен, рабочие ни разу не бросали своей работы.

С. Гай.

По солерудникам Донбасса.

Шесть верст, широким перекатным полем с множеством „ставков“ (мелких прудов, наполненных водой, выкачиваемой из шахт) и скудной, щупленькой травкой,—до солерудника им. тов. Володарского.

В „ставках“ вода насыщена солью до того, что купающиеся легко держатся на поверхности воды.

Почва на лугах возле рудников покрыта белым налетом соли, а поэтому трава там редкая и скудная.

Рудник им. тов. Володарского—сравнительно новый рудник. Основан он в 1910 году и поэтому жилищные условия на нем менее остры, чем на других рудниках.

Влево от шахтного здания в две ленты потянулись каменные казармы рабочей колонии. Колония содержится довольно опрятно. Чистенько подметенный двор.

В казармах каждая семья (человек 3—5) имеет две комнаты.

Чистота внутри еще более безукоризненна. Чисто выбеленные стены, поблескивающий пол.

В довоенное время на руднике работало 170 человек. Работали в две смены по 12 часов.

Теперь на руднике работает 187 человек, из них 80 подземных рабочих и 107—поверхностных. Подземные работают 6 часов, а поверхностные—8.

Что на угольных шахтах забойщик, то в соляных—бурильщик. Пробурят в соляном пласту (а пласт здесь не то, что угольный, саженей 16 мощностью) 22 бурки, заложат взрывчатое вещество „фавье“, зажгут, и 22 подземных раскатистых орудийных удара обваливают 2.500—3.000 пудов соли.

Теперь на руднике бурильщиков 9 пар. А производительность их вдвое выше довоенной. Средняя производительность бурильщиков до войны выражалась в 1.500 пуд. в месяц, а в марте 1923 г. 3.005 пуд. в месяц.

ПОДМАСТЕРЬЕ.

(Рассказ).

— Надобно вам сказать, что заводик наш небольшой был, этак человек 200 тогда работало. Был у нас комитет, который управлял заводом, а потом прислали управлять нами бывшего владельца, которого мы в Октябрьскую революцию на тачке вывезли. Посмотрели мы, рабочие, на него, потолковали: скверное, мол, дело, братцы. Да так и помирились с этим. Живем месяц, другой, а видим—дело не ладится. А тут еще прислали к нам на завод мотор „Дизель". Ну, думаем, теперь дело у нас пойдет.

Ан, глядь, заведующий наш вместо того, чтобы мотор подремонтировать, да в дело пустить—в сарай под замок запрятал.

Другие заводы начинают работать лучше, а наш стоит все в том же положении. Нет, думаю, тут что-то не то.

Поговорил со своими ребятами.

— Да что ж ты,—говорят,—с чортом поделаешь. Не пойдешь же ты, да не начнешь задаром мотор ремонтировать.

— Правильно, думаю, а все-таки тут что-то не то.

Болото у нас было стоячее, а не завод.

Вот прихожу это я, значит, в завком и говорю вот так и так, как вы на это смотрите?

— Да что ж,—отвечают завкомщики,—мы обсуждали этот вопрос, вынесли резолюцию: „Запросить заведующего", а сам он не пришел, но бумагу прислал, что „расчета нет „Дизель" на заводе ставить".

Загорелось тут мое рабочее сердце: как же так, думаю, тут же и дураку ясно, что „Дизель" на нашем заводе это все равно, что больному человеку сердце здоровое вставить. Такое меня зло взяло, прямо и не выговоришь. Потому—больно за свой завод становится.

В тот же вечер написал статейку, да сгоряча-то и бац в газету. А потом, когда успокоился, и думаю: хорошо ли я сделал, а вдруг узнают, попадет мне, выгонят, какое, скажут, твое дело в производство нос совать? И такую это я на себя жуть нагнал, хоть иди к заведующему, да заранее и проси прощенья.

Проходит день—два, неделя,—ни слуху. Ну, думаю, наверно не получили. Только раз как-то прихожу на работу после обеда, а ребята мои по мастерской бегают, газету ищут.

— Что вы?—говорю я.

— Как что, разве не знаешь, нашего заведующего в газете прохватили!

Меня так кипятком и ошпарило. Неужели это я? Не помню в это время, как я из мастерской на улицу выкатился к газетчику. Схватываю у него газету, развернул, ищу прямо подписи, глядь... „Резец".

Я тоже подписал так. Не верится. Отвел глаза, дух захватило, дышать трудно. Потом опять поглядел. Смотрю: „Как спецы хозяйничают".

Читаю. Да, да. Я так и писал. Эти самые слова и есть.

Батюшки, да, ведь, это мои слова, я их писал такими каракулями, а теперь, смотри, как они стройно расположены в печатные строчки! В глазах зарябило.

„Резец".

Бросил газетчику деньги и бегом на завод. Вбегаю в мастерскую. Смотрю—там будто кто камнем бросил в наше болото. Все зашевелились, забегали, заговорили, прямо столпотворение вавилонское.

Не успели это мы за работу приняться, смотрим—сам заведующий жарит по мастерской, ноги дрыгают, лицо омедянилось, глаза блестят.

— Кто такой из вас написал в газету?

— Не знаем,—говорят рабочие.

А сами отвернулись к станку, да ухмыляются.—Ловко,—говорят,—ему горячих подсыпали.

А я без ума от радости.

Попрыгал, попрыгал заведующий, так и не узнал, кто о нем пропечатал в газете, А дай-ка, думаю, еще разок брякну, что будет. Взял да описал всю нашу жизнь и про порядки на заводе. Через неделю, смотрю—и это напечатано. Заведующий наш, то все краснел, а тут прямо зеленый стал. А рабочие читают заметку и все в один голос говорят: „Молодец резец, здорово режет". И понимаете ли, новым ветерком повеяло. Рабочие как-то приободрились, повеселели, пошли расспросы да разговоры, чаще стали покупать газетку, а некоторые стали и выписывать. Смотрю я на все это и своим глазам не верю. Так оно здорово действует, а у самого все сверлит в башке, почему это большевики пишут об этом. Чего писать, ну пришли бы, скажем,

да и навели порядки. Засел мне этот вопрос в башку, и никак я от него не отделаюсь. Что-то тут такое есть... Как бы это мне узнать?

И вот однажды до того разгорелся, что решил сам в газету пойти и обо всем у них самих расспросить. Думаю, авось не съедят.

Прихожу. Вот, говорю, товарищи, скажите, можно мне про непорядки писать?

— Отчего ж, говорят, можно, только чтоб правда была.

— Ну, а если про управляющего заводом?

— И про него можно. Если он мошенник, то об этом и напиши.

Тут-то мое время и пришло.—Как же—говорю я,—зачем же его тогда ставят?

— Э,—говорят,—дорогой товарищ, да разве можно за всеми усмотреть? Вот вы и помогите нам мошенников выловить!

У меня и пелена с глаз. Вон оно в чем дело-то! Тут только я понял, почему наш заведующий так позеленел после моих заметок.

Через неделю смотрим—и действительно. Бац к нам комиссия на завод. Осмотрела все, проверила, нас порасспросила, „Дизель“ из сарая вытащила, а еще через неделю, смотрим, к нам и новый заведующий пожаловал.

Сперва мы к нему недоверчиво отнеслись, а потом, как начал он делами ворочать, видим, парень с головой попался. Он к нам с просьбой, а мы к нему. Чем можем, делимся. Смотрим, и „Дизель“ через месяц отремонтировали, и установку сделали. Да как пустили! И пошел наш завод на всех парах. Тут и завком заработал, и ячейка образовалась, и клуб. Одним словом, совсем жизнь по-другому пошла.

Рабочий А. Жига.

Наковальни, горны, грохот,
Искры, пламя, дым...
Мы проворно тянем, рубим,
Плющим и дробим.

Смело, радостно и дружно
По болванкам бьем...
Из снарядной крепкой стали
Плуг и серп куем.

Илья Садофьев.

Восстановим хозяйство.

(Герои труда).

Маленький древний Нязе-Петровский завод на Урале, признанный негодным для производства и подлежащим ликвидации. Меня окружила группа рабочих. Старый металлист-уралец говорит спокойно и уверенно, что нет в мире лучших рабочих, чем Нязе-Петровские, нет лучше завода, чем Нязе-Петровский, что его нельзя остановить и уничтожить, что он сейчас, не имея сутунки, чтобы выделывать листовое железо, стал делать ведра и посуду, что они сами нарубили для завода дрова. Они улучшают плотину, чтобы иметь силу без топлива. Я не спорил. Лучшего завода, лучших рабочих нет в мире. Техника создается рабочей самодеятельностью, рабочей производительностью.

Вот другой, уже огромный и мощный, с богатейшими оборудованиями Коломенский завод. Длинная улица станков для обточки вагонных и паровозных колес. Станки стоят. От голода, от тифа рабочие этой улицы вымерли и разбежались. Работает только один станок. Уцелел только один токарь. Ему под шестьдесят лет, и он сорок лет работает. Он один на посту. Стой на посту, дорогой товарищ. Я вспоминаю тебя с радостью, потому что ты говорил мне: „Мы не бросим работы. Будет хлеб — хорошо, нет — нам голодать не впервые. Мы и раньше не были сыты“. Ты не забыл старого рабочего горя и рабочей нужды.

Я. Шатуновский.

Учитель Д. Л. Божков.

Товарищ Божков—сын бедного крестьянина, работает он в Озеранской школе.

Мне несколько раз пришлось побывать в Озеранской школе. В первых числах мая я застал в Озеранской школе 85 чел. учащихся, тогда как большинство сельских школ с трудом удержало до этого времени по 12—15 чел.

В годы самой тяжелой школьной разрухи и голодовки (1919—20—21 г.г.), когда школы и их руководители боролись только за свое существование, Озеранская школа и ее заведывающий всегда служили примером для других.

Школьному зданию в прошлом году минуло 80 лет. Здание совсем обветшало и грозило рухнуть. Только благодаря стараниям тов. Божкова было произведено два крупных ремонта силами и средствами местного населения; в 1920 году тов. Божков занял помещичий дом под школу, а в 1922 году он добился предоста-

вления школе еще двух новых домов. По его личному настоянию школе еще в 1921 году отведено две десятины церковной земли.

Благодаря хлопотам тов. Божкова, школа имеет три новых дома, которые в настоящее время перестраиваются в одно большое школьное здание. На эту работу собрано крестьянами достаточное количество средств.

В основу преподавания т. Божков кладет материал, выдвигаемый самой жизнью. Метод преподавания наглядно-практический. Его школа—продолжение семьи. В школе введено преподавание основ сельского хозяйства с практическими работами весной.

Развитию самодеятельности учащихся уделяется все внимание. Ученики издают школьный журнал, ведут дневники.

Благодаря заботам тов. Божкова, учебные руководства и пособия в школе сохранились до сих пор в достаточном количестве. Большинство пособий подклеено, подшито, переплетено, исправлено самими учениками. Некоторые пособия (астролябия, ватерпас) сделаны самим Божковым. Другие (весы, набор геометрических тел)—учениками под его руководством. Школьная мебель содержится в большой исправности и ремонтируется учениками.

Своими силами в школе устроена постоянная сцена. Ставятся детские спектакли, а также и спектакли для взрослого населения. Тов. Божков заведует избой-читальней, где читает доклады, газеты, дает советы. Тов. Божков всегда в самой гуще деревенской жизни: протоколы, акты, договоры и т. д.,—все это проходит через его руки. Он организовал школьную аптечку, ежегодно с учащимися собирает лекарственные растения, уступая большое количество их лекарственным станциям, аптекам и больницам.

Организация пролетарских праздников не обходится без Дорофея Лукича. Волисполком не тратит времени и средств на поездку в Озераны. Он знает, что его там заменит во всем тов. Божков. Путем популярных докладов по вопросам религии он достиг среди взрослого населения поразительных успехов: в церковь ходят только 2—3 семидесятилетние старухи. Из-за недостатка средств церковь вынуждена была сократить псаломщика, „батюшкину“ землю крестьяне отдали под школу. Виновник всего этого—Божков.

В 1919—21 г.г. вел школу грамоты в красноармейских частях, стоявших в селе. В 1921 году организовал в селе районные курсы по подготовке ликвидаторов безграмотности среди взрослого населения.

По его инициативе в селе открыт кооператив.

Честь и слава Божкову!

В. Михалкович.

Юзовский горный техникум.

Тяга к знанию в Донбассе—огромная, и особенно сильна жажда технического образования. Почти при всяком крупном руднике открываются технические училища, а в городах—высшие технические школы. Техникумы Донбасса--это завоевание Советской власти. Нигде больше не открываются учебные заведения так, как они открываются в Донбассе, и нигде в мире нет такого студенчества, как донецкое рабочее студенчество.

Где еще студенты сами собственными руками возводят здание для школы? Где они сами приготовляют школьное оборудование и пособия? Где еще за свой счет содержат себя и школу?

Вот как возник техникум в Юзовке. Группа рабочих с Веневского рудника, с Крамоторской, с Юзовского завода тотчас же после восстановления Советской власти в Донбассе поставила перед собою задачу:

— Открыть техникум в Юзовке.

Не было ни гроша денег, не было помещения; была только пламенная жажда знания и вера в свои силы.

Здание бывшей штейгерской школы в Юзовке, превращенное при Деникине в казачью казарму, было разрушено до самого фундамента. Будущие студенты взялись за дело. Собственными руками они возвели здание, таскали камень, песок и цемент на спинах, потому что не было транспорта. Сами готовили бетон и жесть на заводе, сами настилали полы, крыли крыши, плотничали, вставляли стекла, ладили школьную мебель. Сами оштукатурили и выбелили здание. Собственными руками собрали и создали практические мастерские, собрали из старых частей электрическую станцию, освещающую сейчас не только школу, но и половину города. Провели водопровод, устроили пекарню и кухню.

И затем принялись грызть зубами гранит науки.

Большая часть студентов—около 70 проц.—рабочие с рабочим стажем по 20—25 лет. Это забойщики, слесаря, кузнецы, есть и неквалифицированные чернорабочие. Около 60 проц.—коммунисты, и все сто процентов—участники войны.

Сначала штыком выбили контр-революцию, потом собственными руками построили школу и теперь учатся.

Да что учатся! Средств не хватает, потому что их дают скупо, а среди студентов много семейных. Студенты наладили мастерские—электротехническую и механическую—и принимают заказы от рудников и частных лиц. Выручка идет в общий котел и на пособия нуждающимся товарищам.

После окончания классных занятий можно наблюдать картины труда студентов.

Вот кучка студентов клепает котел, взятый ими в ремонт с какого-то рудника. В литейной мастерской студенты льют алюминиевую посуду для продажи.

А вечером собираются в клуб, оборудованный на славу, нарядный и просторный, рассыпаются по кружкам.

Эти изумительные студенты, построившие сами техникум, содержат не только себя и свою школу, но и детский дом, тоже выстроенный ими, и по очереди приходят обучать и воспитывать детишек, стараясь на перебой принести им какой-либо подарок.

Где же еще на свете так велика жажда знания и так неодолима сила влечения к нему, как у пролетариата, строящего в своем государстве собственными руками школы для себя, начиная со школьных зданий и кончая творчеством в области самой науки!

Як. Окунев.

„Мы—нищие люди и некультурные люди. Не беда. Было бы сознание того, что надо учиться. Была бы охота учиться. Было бы ясное понимание того, что рабочему и крестьянину учение нужно теперь не для принесения „пользы“ и прибыли помещикам и капиталистам, а чтобы улучшить свою жизнь“.

Н. ЛЕНИН.

Больше не позволю.

Пахом стоял на крыльце, когда учительницы пришли обедать. Мужик посторонился, дал дорогу. И со вздохом себе в бороду:

— Че-же с вами поделаешь,—кормить приходится, видно, вас.

Сельские учительницы Булатова и Тихомирова прошли молча. Молча сели за стол. Потапиха, жена кулака Пахома, подала большую деревянную чашку щей.

— Ох, как и жить нам, крестьянам. Прямо не в моготу стало. С крестьянина теперь все дерут. Городу дай, попу дай, сапожнику, кузнецу дай. Теперь еще учителкам давай. А нам кто даст? Где нам-то брать?—говорила Потапиха.

Учительницы, не получавшие в селе жалованья и принужденные получать подачки из милости у богатых мужиков, не отвечали. Ложки дрожали в их руках.

— Небось, никто не догадается принести каку ни на есть тряпку. На, мол, тебе, Потапиха. Куда там!—с жадностью говорила баба и махнула рукой. Учительница Булатова побледнела, уронила ложку.

— Опять же содержать учителек нонче какой расчет? Учат, учат, а чему, неизвестно. Только робят портят. Что главное—закон божий, так того нету. А насчет коммунии этой мы вовсе не желаем,—канючила Потапиха.

Поставила на стол жареную баранину с картофелем. Учительницы встали, собираясь уходить. Булатова первая.

— Вы что же это?—Видно спесивы больно. Не нравится стряпанье наше.—Потапиха насмешливо поклонилась развела руками.

— Ишь, горячки. Слова им не скажи.

Учительницы бледнели, краснели, шли к дверям.

— Спасибо, спасибо,—крикнули с порога. В голосе Тихомировой слезы. Вышли. Вошла Дуня, дочь Потапихи.

— Это что учительницы-то?

— Што! Известно, што гордячки. Обед наш не понравился.

Дуня, Пахомова дочь, смотрела на мать недоверчиво.

— Што шары-то скосила! Врать я тебе буду?

— Учительница Ольга Ивановна не такой человек.

Потапиха опять разводить руками.

— Уж конешно, конешно, как они могут гордиться — коммунисты такие.

— Да, коммунисты не сделают такой подлости, как ты!— с сердцем крикнула Дуня.

— Замолчи, стерва!—мать разозлилась. Дуня сверкнула глазами.

— Не замолчу. Коль неправду говоришь, не замолчу. Не позволю коммунистов ругать.

В сенях тяжелые шаги. Пахом вошел и набросился.

— Ты што это, потаскушка, опять о своей коммунии заговорила. А?

— Ну, а што? Если я правду говорю.

Девушка смотрит вызывающе. Голову подняла. Пахом не владеет собой.

— Ага, ты так,—отцу перечить. Я вот тебе сейчас покажу, как в вашей коммунии есть правда.

Огромные кулаки мужика судорожно сжались. Лицо исказилось. Тяжело шагнул к дочери. Дуня схватила со стола большой нож.

— Только тронь!

Вся фигура Дуни—отчаяние и задор. Замахнулась ножом.

— Будет уж, попили вы моей кровушки. Не позволю больше.

Пахом из багрового стал черным. Застонал. Рухнул на скамью. Потапиха взвизгнула, заголосила.

— Добры люди, посмотрите, до чего мы дожили! Дочь родная на отца с ножем.

— Дунюшка, Дунюшка, что вы делаете?—сказал священник Автократов, вошедший с Пахомом.—Разве можно так родителей обижать. Родители вам добра желают, а вы вдруг... Ай-ай-ай, какая черная неблагодарность.

— Добра, тоже сказали. У меня места живого нет: он меня всю изломал. Медведь.

Пахом вздыхает.

— Ох, это отец-то медведь? Ну што-же, режь, дочка. Режь за то, что я тебя ростил, кормил.

— Замолчите вы с своим хлебом. Только и тычут каждый день. Поил, кормил. Што же вы меня теперь за это со свету сжить хотите? За хлеб-то свой мне каждый день ребра ломаете.

Потапиха визжит:

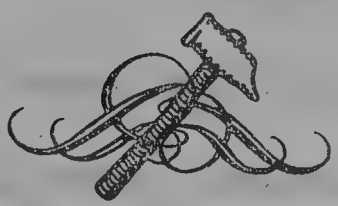
— Замолчи, сволочь!

Дуня твердо:

— Не замолчу, будет. Не все вам говорить, пришла пора и нам.

Нож бросила на стол. Ушла из избы.

А. Зазубрин.



ЗА БУКВАРИ.

Зверь—не зверь, всего книжонка всполошила всех. Ерема:—„Вот беда! Взбесилась женка: занялася букварем!“.

— „У моей, брат, те же штуки. Просто плюнуть да бежать!“

— „Много-ль надоть им науки, чтоб уметь детей рожать?!“

— „Бабу след от книг отвадить: знай свое веретено“!

— „С бабой грамотной не сладить!“

— „То-то, братцы, и оно!“

— „Как же быть то?!“.

Споры жарки, но сошлися все на том: „Буквари все на цыгарки! Ну, а баб... учить кнутом!“.

Если б в селах были сходы из одних таких Ерем, не видали-б мы свободы, выли б с барами, с царем.

На Ерем на всех издевки надо плюнуть: дикари! Смело, бабы, тетки, девки, все—садись за буквари!

Д. Бедный

Марья-большевичка.

(Рассказ крестьянина).

Стали совет перебирать. Баб налетело словно на ярмарку.

— Марью. Марью Гришагину!

Кто-то и скажи из нас нарочно:

— Просим.

Думали—в шутку; выходит, хвать, всерьез дело пошло. Бабы, как галки, клюют мужиков: вдовы разные, солдатки—целая туча. А народ у нас не охотник на должность становиться, особенно в нынешнее время—взяли да и махнули рукой.

— Марья, так Марья. Пускай обожгется.

Стали Марьины голоса считать—двести пятнадцать. Комиссар Василий Иванович речью поздравляет ее.

Глаза у Марьи большие стали, щеки румянцем покрылись. Не улыбнется стоит.

— Я послужу, товарищи. Не обессудьте, если не сумею—помогите.

Нам тоже чудно. Игра какая-то происходит. Баба и вдруг—в волостном совете, дела наши будет решать. Ругаться начали мы между собой.

— Дураки. Разве можно бабу сажать на такую должность?

Дедушка Назаров так прямо и сказал Марье в глаза:

— Ой, Марья, не в те ворота пошла.

Она только головой мотнула.

— Меня мир выбрал, не сама иду.

Приходим в волостной совет поглядеть на Марью—не узнаешь. Стол поставила, чернильницу. Два карандаша положила: синий и красный. Около—секретарь с бумагами строчится. А она, и голос другой сделала. Так и шныряет глазами по строчкам.

— Это по продовольственному вопросу, товарищ Еремеев?—спрашивает Марья.

Разведет фамилию на бумаге, опять как начальник какой.

— Списки готовы у вас? Поскорее кончайте.

Глазам не верим мы. Вот тебе и Марья! Хоть бы покраснела разок. Так и кроет нас всех „товарищами". Пришел раз Климов старик, она и ему такое слово:

— Что угодно, товарищ?

А он терпеть не мог этого слова, лучше на мозоль наступить.

— Хотя, говорит, ты и волостной член, ну, а я тебе не товарищ.

Через месяц стала шапку с пикой носить, рубашку мужицкую надела, на шапке звезду приколола. Вот так Марья-большевичка!

А. Неверов.

СИГНАЛ.

Идет раз железнодорожный сторож Семен лесом; солнце уже низко было; тишина мертвая; слышно только, как птицы чиликают да валежник под ногами хрустит. Прошел Семен немного еще; скоро и полотно; и чудится ему что-то еще слышно, будто где-то железо о железо позвякивает. Пошел Семен скорей. „Что бы это значило"?—думает. Выходит он на опушку—перед ним железнодорожная насыпь подымается; наверху, на полотне, человек сидит на корточках, что-то делает; стал подыматься Семен потихоньку к нему: думал, гайки кто воровать пришел. Смотрит, и человек поднялся; в руках у него лом; поддел он рельсы ломом, как двинет его в сторону. Потемнело у Семена в глазах, крикнуть хочет, не может. Бежит он наверх бегом, а человек с ломом и ключем с другой стороны насыпи кубарем катится.

Стоит Семен над отвороченным рельсом. Поезд идет не товарный, а пассажирский. И остановить его нечем: флага нет. Рельсы на место не поставишь; голыми руками костылей не забьешь. Бежать надо, непременно бежать в будку за каким-нибудь припасом. Господи, помоги!

Бежит Семен к своей будке, задыхается. Бежит, вот-вот упадет. Выбежал из лесу—до будки сто сажен, не больше осталось, слышит—на фабрике гудок загудел. Шесть часов. В две минуты седьмого поезд пройдет. Господи, спаси невинные души! Так и видит перед собой Семен: хватит паровоз левым колесом о рельсовый обруб, дрогнет, накренится, пойдет шпалы рвать и вдребезги бить, а тут кривая, закругление, да насыпь, да валиться-то вниз одиннадцать сажен, а там, в третьем классе, народу битком-на-

бито, дети малые. Сидят они теперь все, ни о чем не думают. Господи, вразуми ты меня... Нет, до будки добежать и назад во-время вернуться не поспеешь...

Не добежал Семен до будки, повернул назад, побежал скорее прежнего. Бежит почти без памяти, сам не знает, что еще будет. Добежал до отвороченного рельса: палки кучей лежат. Нагнулся он, схватил одну, сам не понимает зачем, дальше побежал. Чудится ему, что уже поезд идет. Слышит свисток далекий, слышит—рельсы мерно и потихоньку подрагивать начали. Бежать дальше нет сил; остановился он от страшного места саженях во ста: тут ему точно светом голову осветило. Снял он шапку, вынул из нее платок бумажный, вынул нож из-за голенища, перекрестился,—господи благослови!

Ударил себя ножем в левую руку, повыше локтя; брызнула кровь, полила горячей струей; намочил он в ней свой платок, расправил, растянул, навязал на палку и выставил свой красный флаг.

Стоит, флагом размахивает, а поезд уж виден. Не видит его машинист, подойдет близко, а на ста саженях не остановить тяжелого поезда.

А кровь все льет и льет; прижимает Семен рану к боку, хочет зажать ее, но не унимается кровь; видно, глубоко поранил он руку. Закружилось у него в голове; в глазах черные мухи залетали; потом и совсем потемнело; в ушах звон колокольный. Не видит он поезда и не слышит шума, одна мысль в голове: не устою, упаду, уроню, флаг; пройдет поезд через меня... помоги, господи...

И стало черно в глазах и пусто в душе его, и он выронил флаг. Но машинист успел уже увидеть его. Поезд остановился.

Выскочили из вагона люди, сбились толпой. Видят, человек лежит весь в крови, без памяти, а возле него кровавая тряпка на палке.

Гаршин.

Про старого Тилябая да про двухголовую птицу.

На тысячу верст шуршат сухие степи. Уже с марта месяца давит синее небо желтые пески и лесистые скалы, по склонам которых лепятся, как гнезда неведомых больших птиц, кибитки киргизов.

Семиречье.

Загнанные, забитые русским кулачьем и царским правительством, киргизы ушли в горы и жили там бедно и тесно, вспоминая о привольном и сытом житье до прихода урусов[1]).

* * *

Много знает старый киргиз Тилябай. Помнит он, как в дни молодости ослеп он.

Было это давно.

Правил тогда Россией царь.

Поехал однажды Тилябай в русский поселок купить пороху и бус ярко-алых для красавицы Алагуль, той, что заполонила его вольную душу.

Привязал коня на базаре, сам пошел глазеть на большие кибитки урусов, которые нельзя сдвинуть с места, и увидел над одним домом черную доску с золотыми палочками, а на ней странную птицу. Похожа была птица на орла, но с двумя головами, а где же видано, чтобы орел с двумя головами был.

Уставился, раскрыв рот, в недоумении на птицу Тилябай, а из дома вышел полицейский в белом кителе, с красными на плечах шнурками, с брюхом отвалившимся и дряблым, с нагайкой в волосатой ручище, рыжий. Вы-

---

[1]) Урус—так киргизы называют русских.

катил на Тилябая пьяные глаза и рявкнул зверем: „Шапку долой. Перед кем стоишь, мать твою“...

Не понял Тилябай, не знал по-русски. Выпрямился и посмотрел на крикуна спокойно-презрительными глазами. Рыжий шагнул и левой рукой толкнул Тилябая в грудь, что было силы. Вскипел Тилябай. Рыжий взмахнул рукой, свистнула нагайка—ударила по лицу, по глазам Тилябая.

* * *

Очнулся Тилябай уже в родном селе. Долго лечили и шептали над ним знахарки. Вытек совсем один глаз от удара, другой разбирал еще свет солнца, но от неудачного лечения перестал видеть через полгода.

И ослеп Тилябай.

Покинули его друзья. Остался один с своей скорбью и думами. Жил тихо, одиноко, и только в душе его была ненависть к двухголовой птице, лишившей его света, любви и счастья.

Шли года, мрачные, грозные своей одинокостью.

Старел Тилябай. Было ему уже за семьдесят.

Сморщилось лицо и повисли худые руки.

* * *

Пришел Октябрь. Слыхали краем уха жители горных аулов, что урусы прогнали Ак-падишаха, помещиков и кулаков, что великая битва идет по всем полям неведомой России, а в горячих и сухих степях все осталось по-прежнему.

Скоро пришли Колчак, Дутов. Опять в белых рубахах потянулись длинные колонны казаков. Снова грохот пушек всколебал сухие ковыли в долинах семи рек.

Прошло еще два года. Прослышали киргизы, что царству белых генералов приходит конец, поспешно затарахтели повозки, и уже не торжествующие и не веселые отступали белые казаки на восток, к Китаю.

Пришли красные.

* * *

1-ое мая 1920 года.

В утро, сияющее и нежное, прискакал из поселка городской киргиз, приказал итти на митинг: урус из Москвы будет говорить с ними.

Толпой побрел аул. Притащился и старый Тилябай.

В поселке на площади победно и весело играл оркестр.

Заговорил молодой, звонко напряженный голос по-русски.

Потом переводил молодой киргиз, и, дрожа, слушал Тилябай чудную речь уруса.

— „Мы принесли вам свободу. Вы хозяева этой земли, и вам она принадлежит. Люди—братья. Нет киргизов и нет русских,—все равны.

У вас до сих пор была власть русских кулаков и баев. Мы вам приносим настоящую трудовую власть".

Оратор закончил. Взгляд его упал на здание совета, и, указывая пальцем, он крикнул:

— „У вас еще живет остаток самодержавия—двуглавый орел. Долой его с совета!"

Весело гудя, толпа метнулась к совету и остановилась, ожидая лестницы. Неожиданно, растолкав всех, с лицом горящим и вдохновенным, очутился впереди Тилябай. Заговорил быстро и несвязно, широко жестикулируя.

Молодой киргиз, смеясь, перевел его слова русскому товарищу.

— „Отлично, товарищи, он самый старший из вас, пусть он и собьет свидетеля вашего бесправия".

Принесли лестницу. Молодым, крепким движением очутился Тилябай наверху с топором, ощупал проклятую птицу и с яростным остервенением колотил по ней. Полетели щепки. Удар. Еще. И под крики толпы тяжело рухнуло тяжелое чудовище.

А Тилябай слез, бросил топор и побрел в степь. Светлые и радостные падали на траву слезы из незрячих глаз.

* * *

Много знает Тилябай. Доживает век, сидя у кибиток с радостным светлым лицом, ибо знает, что навсегда уничтожена проклятая птица и новые люди вырастут, не зная черного гнета ее крыльев.

С. Полев.

Кто виновник бестолковый
Наших бедствий, наших зол?
Виноват во всем гербовый,
Двуязычный, двухголовый,
Всероссийский наш орел!

Царский герб и герб советский.

Наша страна—Россия—в течение веков стояла под знаменем, на котором значился двуглавый орел. Что означали две его головы? Одна клевала и терзала русский трудовой народ, а другая была направлена на окраины—на поляков, литовцев, эстонцев, финнов и угрожала другим народам за пределами России. Таковы две головы хищного царского орла. Мы обе головы отсекли, мы живем под новым знаменем, на котором значится серп и молот—символ труда, а труд ведет людей к братству.

Л. Троцкий.

Наш герб.

Пусть будет день грядущий золот,
Победа будет пусть в борьбе.
Пусть серп остер, пусть тяжек молот
В советском трудовом гербе!

А. Ротштейн.

Первомайская песнь.

Грянем сомкнутым строем,
Грудью врагов отразим,
К счастью мы путь всем откроем,
Праздник борьбы освятим.

Мы возрожденье народу,
Гибель тиранам несем.
Всем возвещаем свободу,
Бодро вперед мы идем.

Солнце—наш факел победный,
Правда—наш лозунг святой.
Рухнет пред нами бесследно
Дряхлый насилия строй.

Сгинут цари-кровопийцы,
Скоро их троны падут.
Всех вас, тираны-убийцы,
Мести народной ждет суд...

Ваш, кулаки-мироеды,
Также настанет черед;
Близок час нашей победы,
Встанет на бой весь народ.

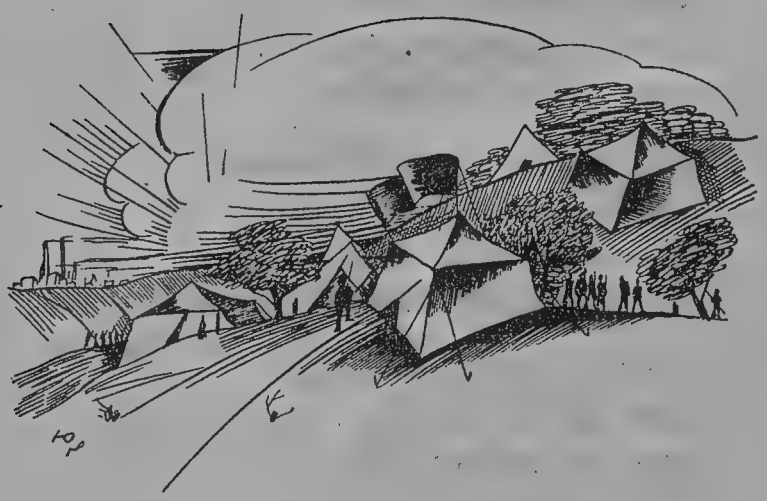
Барщины цепи, налоги,
Фабрики гнет крепостной,
Замки, казармы, остроги
Дружно снесем мы долой.

Слава великим идеям...
Слава бесстрашным борцам;
Разве и мы не сумеем
Двинуться ратью к дворцам...

Равенства, братства, свободы,
Знаменем всех осеня,
Бросим мы в мрачные своды
Свет первомайского дня.

Грянем мы сомкнутым строем,
Царство насилья снесем;
Все на земле перестроим,
Все на свой лад заведем...

И. Каляев.



ПЕРВОЕ МАЯ.

(Рассказ).

— Да как тебе сказать. Оно, правду сказать, смолоду-то кумпанистый парень был. Сам посуди, отец самсемь; тоже столяр был; спился, с чахотки и помер. За ним—мать, не дождалась долго. Остались мы на улице, пятеро. Сам понимаешь. Ну, то да се. И ручки дверные отвинчивал, и голубей воровал, было. Сестренок с маленьким братишкой—коих разобрали, коих в деревню отвезли. А меня дядя к столяру знакомому отвел. Столяр был ничего, хороший человек. А раз фуганком по голове ка-ак съездит, два часа лежал, как мертвый. Баба его воет—убил! А он: пущай фугует, сукин сын, как следует, а то щель, пролезть можно. За то столяром вышел, не в похвальбу сказать.

На заводе зарабатывал хорошо, сам посуди: и оделся, и обулся, и цепочку при часах купил, а потом и женился. Конечно, сам знаешь, семейный, семья, девочка родилась. А тут какое вышло: выкинули красный флаг. Аккурат первое мая. Как сказать,—мое дело сторона. С вечеру-то листики разбросали, дескать—бастовать. Все высыпали во двор; ворота заперли, оратор откуда ни возьмись; подняли на плечи, и ну накачивать. Все аж шеи вытянули. Верно говорит, все правильно, а только—мое дело сторона, сам понимаешь, семейство. А тут полиция навалилась. Высадили ворота, к нам, и казаки на конях. Пошла писать. Лупили кого как попало. Ко мне подскочили, я объясняю: так и так, сам понимаешь, даже супротивник, не желаю бастовать. Как они зачали лупить плетьми, рубашка-то в клочья. А сзади казак наскочил, ка-ак лупанет, так я и повалился.

Из письма тов. Троцкого крестьянину Ивану Сигунову.

Волей рабочих и крестьян придут в движение все фабрики и заводы, железные дороги. Расцветет промышленность, получит крестьянин продукты, какие ему необходимы, получит сельско-хозяйственные орудия. Густой сетью разбросаем школы по всей земле русской. Не должно быть неграмотных, не должно быть темных, невежественных, забитых. Разбросаем по всей нашей земле электрические станции, и светоносный ток потечет по проволоке в каждую русскую деревню и в каждую избу.

Долой мрак! Общенародные типографии дадут крестьянину книгу, газету. Наука и искусство будут служить трудящимся, а трудиться будут все. Свара, зависть, жадность постепенно исчезнут, ибо все граждане и гражданки будут обеспечены всем нужным как дети одной дружной и состоятельной семьи. Дети наши и внуки скажут спасибо своим отцам и дедам.

Вот каков наш путь, дорогой друг, Иван Андреевич. Ради этого стоит и поработать и претерпеть, перенести тяжкие лишения.

Займется светлый день над великой рабоче-крестьянской Русью.

Преданный тебе друг **Лев Троцкий.**

12 февраля 1920 года.

Первые обязанности коммуниста.

Дворянские и буржуазные правительства всячески стараются держать рабочих и крестьян на положении рабочей скотины: работай свою работу, а дальше не смей ни о чем думать. А в свободное время тебе две дороги: или в кабак, заливать вином черные думы, или в церковь, слушать проповеди о покорности и надеяться только на райское житье после смерти.

Советское рабоче-крестьянское правительство заботится, как раз напротив, о том, чтобы весь народ сам управлял государственными делами.

Об этом говорится во многих местах программы коммунистической партии, и каждый коммунист и не коммунист обязан знать, чего требует партия от коммунистов.

При старых правительствах основу государственной власти составляли дворяне и буржуи. А теперь в России, как указано в программе партии, советская власть „превратила массовые организации угнетенных капитализмом классов—пролетариев и беднейших крестьян—в постоянную и единственную основу всего государственного аппарата, местного и центрального, снизу до верху".

Программа партии считает необходимым „постепенное вовлечение всего трудящегося населения поголовно в работу по управлению государством". Значит, не чиновники и не богачи, а все рабочие и крестьяне должны и сами принимать участие в управлении, и других привлекать к этому делу, а не то что как прежде чиновник говорил: я—власть, и не смей мне указывать. Наоборот, теперь каждый должен указывать властям, ежели что неправильно.

То же в судебном деле: раньше в суде заседали чиновники, а теперь коммунистическая партия стремится, чтобы „все трудящееся население поголовно привлекалось к отправлению судейских обязанностей".

В области народного просвещения программа коммунистов ставит целью „привлечение трудящегося населения к активному участию в деле просвещения", и считает необходимой „всестороннюю государственную помощь самообразованию и саморазвитию крестьян".

Прежде школой ведали чиновники-инспекторы, а родителей старались не допускать к вмешательству в школьное дело. Теперь же, напротив, каждый взрослый человек обязан или участвовать в совете народного образования, или в работе библиотек, курсов, лекций, народных домов.

Буржуазная власть всячески старалась поставить себя выше, отгородиться от народа, а коммунистическая партия стремится сблизить власть с рабочими и крестьянами. Старая власть старалась делать чиновников ответственными и подотчетными только перед начальством, а советская власть стремится к тому, чтобы все должностные лица сверху до низу были ответственны и подотчетны перед рабочими и крестьянами.

Всем известно, что в больших городах и на крупных заводах рабочие больше знают, больше понимают в политике, чем рабочие в мелких мастерских, захолустных городах и деревнях, чем сельско-хозяйственные батраки и средние крестьяне. Что же должны делать более развитые рабочие? Имеют ли они право, как дворяне, задирать голову перед своими более серыми товарищами из мелких мастерских и из деревенского захолустья? Нет, если ты задираешь нос и смеешься над серостью, то ты не коммунист, ты враг коммунистической партии, потому что программа партии требует „соединять теснее с передовыми рабочими наиболее отсталые и распыленные массы деревенских пролетариев и полупролетариев, а также среднего крестьянства".

Деревня во многом отстала от города, земледельцы отстали от промышленных рабочих. Получилась большая

разница, даже противоположность между городом и деревней. Что же мы должны делать? Не отгородить ли промышленных рабочих от сельчан? Нет, как раз напротив: не отгородить, а сблизить. Как сказано в программе, коммунистическая партия видит в уничтожении противоположности между городом и деревней „одну из коренных задач коммунистического строительства“, и поэтому считает, между прочим, необходимым „широкое и планомерное привлечение промышленных рабочих к коммунистическому строительству в земледелии“. Значит, рабочий должен знать не только фабрику или завод, но работать и в сельском хозяйстве.

Вот, значит, первейшие и главные обязанности каждого коммуниста.

А затем, вторая, такая же важная обязанность, не задирать нос, не заноситься над более отсталым и серым рабочим и крестьянином, не отгораживаться от него, а всячески сближаться с ним, прояснять его сознание, привлекать его к участию в управлении государственными и общественными делами.

Если ты не исполняешь этих своих первейших обязанностей, то ты не коммунист.

М. Ольминский.

„Только тот из угнетенных классов способен своей властью уничтожить классы, который обучен, объединен, воспитан, закален десятилетиями стачечной и политической борьбы с капиталом,—только тот класс, который усвоил себе всю городскую, промышленную культуру, имеет решительность и способность отстоять ее, сохранить и развить дальше все ее завоевания, сделать их доступными всему народу, всем трудящимся, умеет внушать уважение к своей трудоспособности всякому трудящемуся, всякому честному человеку“.

Н. ЛЕНИН.

ЗА ПРАВДУ.

(Памяти крестьянки-коммунарки Бормашевой, жизнь свою положившей за революцию).

Декрет разъяснять.

— Пристала, тетенька седая, довезу,—сказал старухе, шедшей по дороге, арендатор паровой мельницы Савел Васильевич, возвращавшийся в деревню из города.

Изловчилась старуха и ужом в сани. Тяжело дышала. Старая, а не старая... Зажевала серыми грибными губами:

— Слаба стала натурой, не могу иттить...

Вглядывается Савел Васильевич: чужая баба.

— Откуда? По какому делу?

— А комитетская я, из партии...—ответила старуха.— В деревню к вам, на разъяснение... Декрет народный разъяснять.

— От голода сейчас люди волками друг дружку теребят. Человечина в наварку пошла.

Савел Васильич ухмыльнулся в бороду.

— Ты-то при чем?.. Твое дело какое?

Старуха швыдко повернулась к нему.

— Я—пролетариат. За что мы сражались на фронте? За голод? За человечину?.. Нет. Голод настиг—все трудовые помогай... Денег нет—пускай все в оборот. Заграница слухменна только на золото. За золото отца запродаст... Сталыть, декрет-то кстати...—чтобы церкви с народом поквитались: ценности свои на хлеб голодным сдали.

Савел Васильич осел в сани, а потом сердито:

— Церковь не должник. Лучше молчи... Без капитала церковь не могит. Без капитала она,—что купец без товара... Ну...

Старуха приосанилась.

— Бог—не король, в золоте не нуждается...

Потом оживленно:

— У тебя гузики от жира расходятся. Стало, и чуткости никакой не имеешь... В кишке она у тя.

Замолчала. Губы сжала обида.

Савел Васильевич свое:

— Зря с этим к нам. Худо может тебе статься.

— А ты не пужай. Я в закалке была. Не страшно.

— Ну, ну. Как по фамилии ты?

Отозвалась охотно:

— Лапина я, Марина, крестьянского сословия...

На сходе.

Мужики ерошили и топтали талый снег. Разопрелые тулупы воняли.

Выдвинулась Марина из бабьей кучи.

— Смотрите, смотрите...—стали шептаться мужики,— старая, а земля не берет... бога продала. Смотрите.

Копной ворошились мужики. Сдвигали на медвежьи затылки шапки. Тискались к Лапиной.

— Серебро, золото снизывают... Дотла, значит, бога...

— Для голодных, видишь... Коммунисты это.

— Гы-гы... голодным... Для зубов эт-та. Для блеска...

— Товарищи мужики, бабы,—поднимался, голос Лапиной.—Церковные ценности—народу...

— Молчи, корга...

— Граждане, не нужно богу золота...

— А тебе нужно?.. Замолчи...

— А-а... у-у-а!

Схватили Лапину мужики и поволокли.

Лапину убивают.

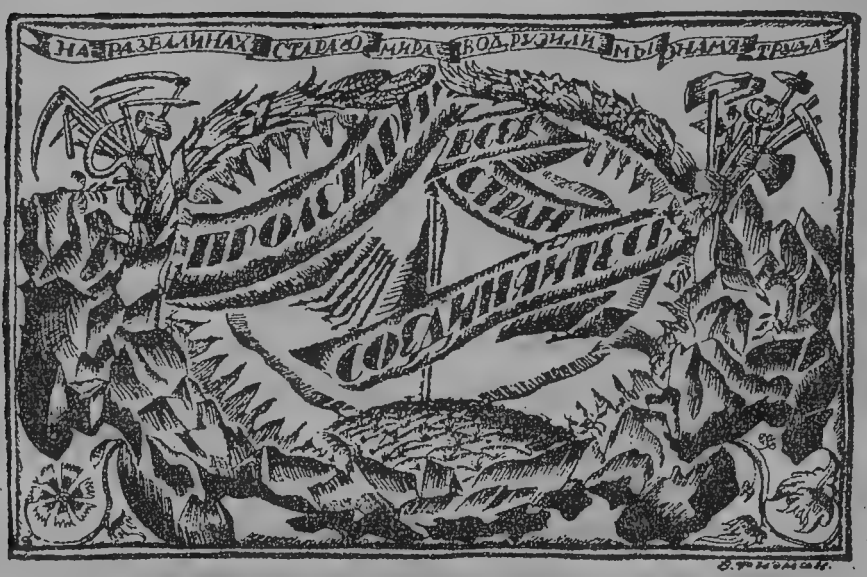
Лапину гнули к земле. Раскрыла рот, старая, рыбой на сухопутьи.

Кузька с лопатой на Лапину.

— Крой, крой!—подбадривал Кузьку арендатор Савел Васильич.

Поднял Кузька лопатку и:
— И-йох...
Вырвалась Лапина.
Бежит улицей и криком исходит:
— Ой, люди, люди...
Вязла Маринка в липком снегу. Снег комом на ногах.
Догнали старую и прикончили.

Мария Ильина.



ПРИДЕТ ДЕНЬ.

Придет день.

Все враги трудящихся будут сломлены. Затихнет грохот войны. В братском союзе сольются освобожденные от цепей капитала, от тронов и королей народы всего мира.

Отдохнет измученная земля, обильно напоенная кровью, утучненная телами павших безвинно братьев наших. Вновь покроется она садами, вся зеленеть будет нивами из края в край. Свободный труженик не будет бояться, что кто-нибудь нападет на него, кто-нибудь отнимет землю, затопчет урожай, убьет его.

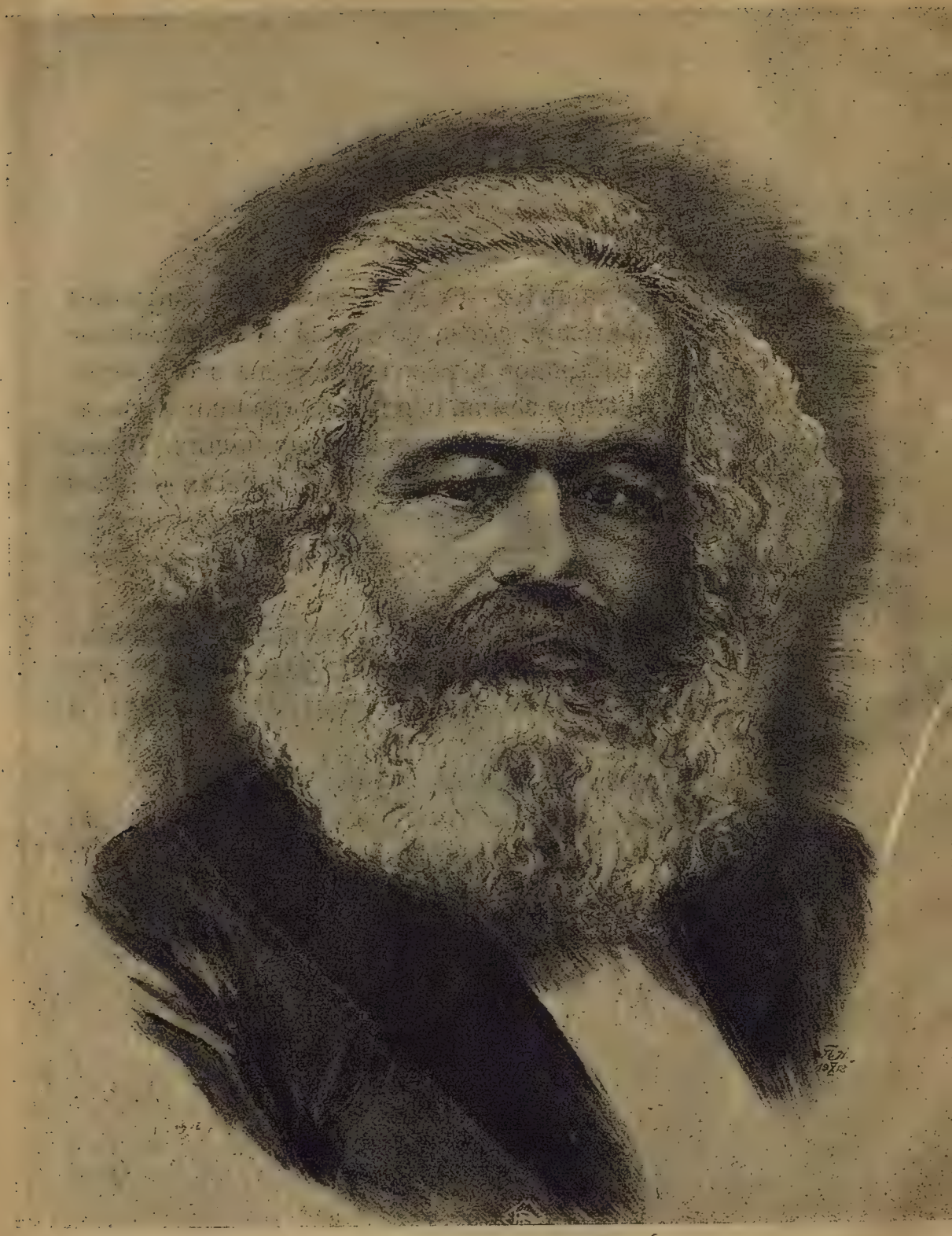
Тогда не будет армий, не будет вооруженной силы. Тогда не станем делать пушек, ружей, штыков, пороха. Все силы направим на то, чтобы труд был общим и радостным.

Взойдет победно над землей солнце социализма.

Красная армия—один из отрядов, борющихся за это светлое будущее.

Стройте же дружно Красную армию!

Ем. Ярославский.



КАРЛ МАРКС.

ВОЖДЮ.

Великий Маркс! С набатной силой
Твой голос бьет, могуч и строг,
Над буржуазною могилой,
Над дряхлым миром трубит в рог.

Твой голос там, где гул машины,
Проклятье нищенской судьбы.
Рабочих согнутые спины
Ты распрямляешь для борьбы.

Учитель мужественный, мудрый!
Ты другом был в тяжелый час,
Твои серебряные кудри
У баррикад бодрили нас.

Мы верим—за этой кровью,
За троном Биржи и Царя,
Весь мир труда одев любовью,
Взойдет вселенская заря.

Михаил Герасимов.

Великие люди не с неба валятся, а из земли на небо растут.

Михайловский.

Памяти Карла Маркса.

Пророк грядущих радостных веков,
Крылатой мысли пламенный титан,
Ты бросил в мир мятежно-страстный зов:
Восстаньте, угнетенные всех стран!
Чудовищу, чье имя — капитал,
Ты, мудрый, дал испить смертельный яд,
И старый мир от боли застонал,
Предчувствием мучительным объят,
Как молнии сверкающей излом,
Как солнце, побеждающее мрак,
В учении пленительном твоем
Открылся нам спасительный маяк.
Твои мечты, как стаи алых птиц,
Дыханьем радости над миром пронеслись—
Навстречу им, как зарево зарниц,
Костры восстаний к небу поднялись.
Над ужасом Московских баррикад
В тот страшный час не твой ли реял дух!
Париж... Коммуна... Красный Петроград
Еще не раз взволнуют братский слух...
Пророк грядущих солнечных веков,
Могучей мысли пламенный титан,
Ты бросил в мир великий властный зов:
Восстаньте, пролетарии всех стран!

Вл. Кириллов.

Я знал Карла Маркса.

(Воспоминания рабочего).

Я знал Маркса с детства, много раз встречал его. И однажды после перерыва в несколько лет мне пришлось снова встретиться с ним. Это было на митинге. Об этой встрече я и хочу рассказать.

Во второй половине митинга я услыхал шум в конце зала и, когда обернулся, увидел Карла Маркса и Энгельса, направляющихся к трибуне.

Маркс выступал на этом митинге. А он умел говорить с рабочими простым языком. Карл Маркс говорил очень спокойно и медленно. Маркс напоминал учителя, растолковывающего арифметические правила толпе учеников.

Маркс радушно встретил меня и познакомил с Лассалем. С митинга мы вчетвером—Маркс, Лассаль ,Энгельс и я отправились вместе выпить. Они рассказали мне, что приехали сюда издавать новую газету вместо приостановленной пять [лет тому назад. Она будет называться „Новая Рейнская Газета", в числе сотрудников будут Фрейлигграт, Лассаль и еще многие другие. Мы выпили за здравие и процветание новой газеты.

Газета начала благополучно выходить, и вскоре Карл своими нападками привел правительство в настоящее смятение. Буржуазия тоже находила его слишком революционным, а когда, после страшного поражения восставших рабочих Франции, он выступил на защиту французских рабочих, она старалась отделаться от Маркса.

Но разве можно было заставить молчать Карла?

Карл Маркс начал издавать газету во время революции в Германии, но скоро произошел контр-революцион-

ный переворот. Король назначил новое министерство и народных представителей, созванное во время революции собрание было распущено. В то время в номере „Новой Рейнской Газеты" появилась статья, в которой все граждане призывались противодействовать вооруженной силой всяким попыткам государственных чиновников взимать с населения налоги. Это, разумеется, означало войну королевскому правительству, войну не на жизнь, а на смерть.

Карл Маркс был арестован. Его обвинили в государственной измене и в подстрекательстве народа к вооруженному восстанию против королевской власти. Мы все опасались плохого исхода. Но Маркс сумел доказать, что все обвинения правительства против него ложны, он выставлял обвинение в глупом виде.

Суд оправдал его несмотря на то, что судьи хотели его закатать в тюрьму. После этого суда правительство со страхом относилось к Марксу, и когда в мае начали вспыхивать восстания в стране, газету прикрыли, а Карла выслали из Пруссии.

Карл решил немедленно отправиться в Париж, куда вслед за ним переедет и его семья. Карл ликвидировал газету и уплатил все ее долги.

Немного погодя мы узнали, каким путем были уплачены эти долги. Чтобы получить деньги для расплаты с долгами, Карл заложил все имущество своей жены и продал много одежды и других необходимых вещей. Все это были вовсе не личные его долги. Но Карл не мог поступить иначе. Это было совершенно в его духе—принять на себя эти долги и ради их уплаты лишить себя и свою семью самого необходимого. Много раз сидел Карл со своей семьей на одном черством хлебе только для того, чтобы иметь возможность выпускать газету и вести борьбу против правителей и буржуазии. Раз как-то Варвара, жена моя, узнала, что жена и ребенок Карла голодают. Когда она рассказала мне об этом, мы оба прослезились. И никто из товарищей не мог им помочь, потому что Карл был очен горд. Мы с женой долго советовались, как быть, как помочь Карлу, и решили сделать так: вложим денег

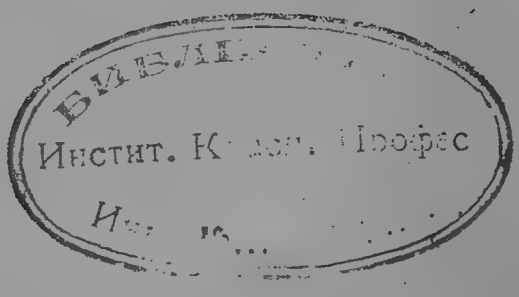
в конверт и пошлем ему с письмом, только так, чтобы он не мог узнать, от кого. Карл знал мой почерк, почерка же Варвары не знал. Поэтому Варвара написала письмецо и вложила в него все свои сбережения. „Это деньги от одного преданного товарища, который знает, что Маркс и его семья в них нуждаются“,—писала она. Затем мы разыскали молодого товарища, которого не знали ни Карл, ни Энгельс, и поручили ему передать это письмо Карлу, как раз тогда, когда он будет отправляться в редакцию.

Зная, что он получил эти деньги, мы с Варварой были в тот день счастливы. Но представьте себе, оказалось, что я ему нисколько не помог, так как он отдал все эти деньги. На следующий день я узнал, что накануне, вечером, Карл навестил одного очень нуждающего больного товарища, и, уходя от него всунул его жене в руку деньги для больного, а денег, которые он ей дал, было ровно только, сколько ему мы послали в то утро.

Карл вскоре уехал в Париж и я больше не имел вестей о нем. Мы с Варварой удивлялись отсутствию писем от него. Прошло уже около трех месяцев после его отъезда в Париж, как однажды получилось письмо из Лондона—мы сразу узнали почерк Карла. Правительство его снова выслало в Париж в 24 часа за его революционную работу, и он поселился со своей семьей в Париже в дешевенькой квартирке. Он писал, что у них все обстоит благополучно и ни одним словом не намекнул на ужасную бедность и нужду, в которой он тогда находился.

Такую тяжелую жизнь вел Карл Маркс, отдавая все свои силы и знания и великий ум делу рабочего класса.

Спарго.



СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

ЧАСТЬ I.

На посту.

Письмо т. Троцкого к красноармейцу. 4
Красная присяга 7
Руки, не привыкшие держать книжку 9
Зачем нам нужна постоянная армия. 10
Проводы, стих. *Д. Бедного* 12
Защита революции 14
Красноармейцы, стих. *Н. Тихомирова* 14
Весенний ледоход 15
Отстроили погорельцев, *А. Стубеды* 18
Ванька над Москвой, *Л. Митницкого* 21
Ленин, *Аросева*. 23
Рапорт красноармейца, *Троцкого*. 25
Капиталист и его три генерала, *О. Л. Д'ора* 27
Честь красноармейцу, *Д. Бедного* 29
Царская армия и армия Красная 30
На фронт, стих. *Лебедева* 32
Ленин не велел, *А. Насимовича* 33
Бедный комитет, *Н. Никитина* 35
В плену у Колчака, *Н. Никитина* 37
Партизаны, *Всев. Иванова* 42
Дезертир, *А. Белкиной* 43
Дезертирам, стих. *И. Логинова* 49
Мы придем, стих. *А. Юрченко—Курс* 50
На Сиваше, рассказ 51
Перекоп, стих. *Н. Тихонова* 53
Борьба до конца, *Л. Троцкого*. 54
На Врангеля, стих. *Н. Асеева* 55
Поделом вору и мука, *С. Пугачевского*. 56
О червонно-казачьем эскадроне, стих. *Г. Коренева* 59
Красный десант, *Дм. Фурманова* 61
Марш Буденного, стих. *Н. Асеева* 65
Нежданно-негаданно 66
Бой самолетов, стих. *М. Гальперина* 68
Трус, *В. Наседкина* 69
Путеводная звезда, стих. *Д. Бедного*. 72
Как я от смерти спасся 73
Поляки в Киеве, стих. *С. Родова* 75
Пан атаман, *А. Сергеева*. 76
Буденный, стих. *Н. Асеева* 80
Тиф, рассказ *Серг. Семенова* 82
Герой-командир 86
У гроба красного командира, стих. *А. Юрченко—Курс* 89
Красное знамя, стих. *Ф. Шкулева* 91
Солдатчина, стих. *Н. Некрасова* 92
Красная винтовка, стих. *Д. Бедного*. 93
На посту. 96
Уважайте часового, *Л. Троцкого* 98
Тише, товарищи, стих. *Ст. Брускова* 96
Советский часовой, стих. *Д. Бедного* 101

Стр

Курсанты и матросы . . . 102
На посту, стих. *Н. Мардерфельда* . . . 105
Ефрейтор в раю, *М. Волкова* . . . 106
На параде, стих. *Д. Бедного* . . . 109
Пловучий маяк, *М. Борецкой* . . . 111
Песня об отпускном солдате, стих. *Н. Тихонова* . . . 115
Человек за бортом, *Станюковича* . . . 117
Джимми Хиггинс, *Уптона Синклера* . . . 120
Разведчик . . . 123
Лиза Грачева . . . 125
Политрук, стих. *Наврозова* . . . 131
Ротная школа, стих. *Лелевича* . . . 132
Передышка, *Як. Окунева* . . . 134
Кулацкий сынок, *Артема Веселого* . . . 138
Субботник, *Л. Митницкого* . . . 140
Вошь, стих. *Д. Бедного* . . . 142
Дайко-ся, и я помоюсь, *Вересаева* . . . 145

ЧАСТЬ II.

В неволе.

Из песни крепостного, *А. Бестужева* . . . 151
Кому на Руси жить хорошо, стих. *Н. Некрасова* . . . 152
Крепостной человек и барская собака, *В. Г. Короленко* . . . 154
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день . . . 157
Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил . . . 160
Назови мне такую обитель, стих. *Некрасова* . . . 163
Чей сад? *А. Серафимовича* . . . 165
В батраки, *И. В. Вольнова* . . . 167
В чужих людях, *Ив. Вольнова* . . . 168
Сон бедняка, стих. *Беранже* . . . 170
Фабричный, *Самобытника* . . . 173
Граф Строганов и рабочий Демид . . . 175
Орина, мать солдатская, стих. *Н. Некрасова* . . . 178
Порка, *А. Куприна* . . . 180
Взятие Зимнего Дворца, стих. *Н. Тихомирова* . . . 183
На царской службе, *А. Куприна* . . . 184
Ученье в царской армии, стих. *Александрова* . . . 187
Русскому солдату, стих . . . 188
Пожар на шахте, *Свирского* . . . 189
Пробуждение, *Н. Ляшко* . . . 191
Про свинью жирную, *С. Федорченко* . . . 193
Фабрикант самоваров Баташев, *С. Фролова* . . . 195
Чего левая нога хочет, *А. Я.* . . . 197
Безработные, расск. *А. Фролова* . . . 198
Человек без отдыха, *А. Серафимовича* . . . 201
Пауки и мухи, *В. Либкнехта* . . . 203
Каменщик, стих. *В. Брюсова* . . . 205
Как при царе иноверцев в православные обращали . . . 206
Обманом и насильем, *Г. Пушкарева* . . . 209
Гетману Богдану, стих . . . 211
Дом № 13, рассказ *В. Г. Короленко* . . . 212
Убийцы и защитники, *С. Гусева-Оренбургского* . . . 216
Царский суд, *А. Я.* . . . 218
Не для бедных школа . . . 219
Как фабриканты в Америке расправляются с революционными рабочими . . . 222
Китайский кули, *Джек Лондона* . . . 226
Как я учился, *Горького* . . . 229
Пропили Матрешку, *Вольнова* . . . 232
Работница, *Демьяна Бедного* . . . 234
Франсуаза, *Л. Н. Толстого* . . . 235
Бес да монах, *Федорченко* . . . 239
В монастыре, *Д. Бедного* . . . 241
Чудотворная икона, *Зазубрина* . . . 242

Стр.
Попы—Трутни, живут на плутни, *Д. Бедного* 245
Дождевой бог, *Константиновича* 247
Урожай, *Д. Бедного* 249
Поповская камаринская, *Его же* 250
Рядовой, *Ильи Ионова* 251

ЧАСТЬ III.

Борьба.

Утес, *Навроцкого* 255
Забастовка, *Яковлева* 257
Завещание, *Шевченко* 260
Полевой суд, *Скитальца* 261
Песня о земле и воле 265
У нас тоже дисциплина, *Вимльченко* 266
Девятое января, *Самобытника* 268
9-ое января, *М. Горького* 269
Расправа, *Басова-Верхоянцева* 273
Усмирение, *Бибика* 276
Ленский расстрел, *Плетнева* 278
Вы жертвою пали в борьбе роковой, *Неизвестного* 278
Лена, *Демьяна Бедного* 282
Пробуждение, *Барбюса* 283
Священная война, *Князева* 285
С фронта 286
Октябрьское восстание в Москве, *Аросева* 288
Белогвардейцы побеждены, *Яковлева* 291
Похороны жертв революции 292
На посту, *Шатуновского* 293
Двенадцать, *Блока* 294
Тофута мудрый, *Д. Бедного* 296
Суд, *Ив. Лошнова* 297
Парижская коммуна, *Л. Мишеля* 298
Воззвание Коммуны к народу 300
Гаврош, *В. Гюго* 304
Джимми Хиггинс в России 307
Огнем и мечом, *Немировича-Данченко* 309
Рур, *Майского* 311
Красное море. *Клары Фибих* 315
9-е ноября, *Келлермана* 318

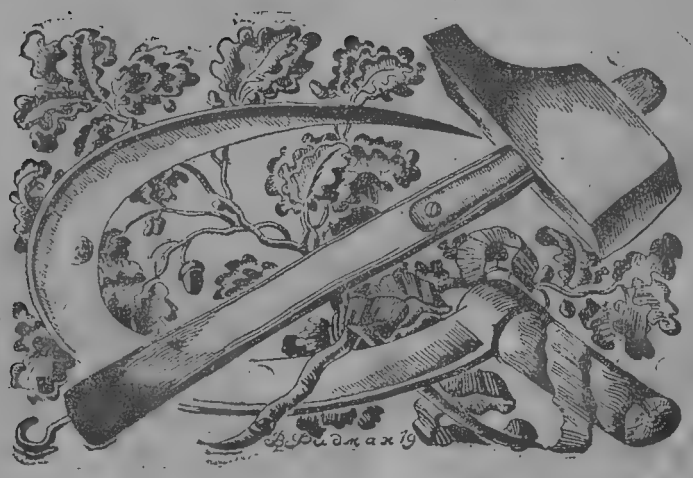
ЧАСТЬ IV.

В вольной стране.

Молот и плуг, стих 323
Песня деда Сафрона, *Д. Бедного* 324
Общественный труд, *Сосновского* 326
Шарманка, *Арского* 329
В царстве огня и железа 330
Радость в труде, *Яковлева* 332
Как добывается каменный уголь 334
Паровоз № 100 337
Стихи, *Василия Казина* 340
Рабочий без профсоюза—сирота 341
Коммунары, *Д. Б* 343
Коммунист, *Вячеслава Шишкова* 344
Электрификация, *М. Волкова* 347
Волховский великан 350
Дедушка русской бутылки, *С. Гая* 352
По солерудникам Донбасса 353
Подмастерье, *Жиги* 354
В кузнице, *Ильи Садофьева* 357
Восстановим хозяйство! 358
Учитель Божков 359

Стр.

Юзовский Горный Техникум, *Окунева* 361
Больше не позволю, *Зазубрина* 363
За буквари, *Д. Бедного* 366
Марья-большевичка, *рассказ крест.* 367
Сигнал, *Горшина* 369
Про старого Тилябая да про двухголовую птицу 371
Наш герб, *Ротштейна* 374
Первомайская птица, стихи *Каляева* 375
Первое мая, рассказ 377
Из письма т. Троцкого крестьянину Ивану Сигунову 378
За правду, *М. Ильиной* 382
Придет день, *Ем. Ярославского* 385
Вождю, стих *Мих. Герасимова* 387
Памяти Карла Маркса, стих *Вл. Кириллова* 388
Я знал Карла Маркса, *Спарго* 389



Высший Военный Редакционный Совет.

МОСКВА, Смоленский бул., 53.

СКЛАД ИЗДАНИИ В. В. Р. С. Глазовский пер., 1.

Басов-Верхоянцев С.

„РАСЕЯ".

Поэма с иллюстрац. А. Радакова.

Сатира популярного автора „Конька-Скакунка" и других сатиристических произведений содержит в себе полную историю России от призвания варягов до наших дней.

„Сельское хозяйство России и политика Советской власти в деревне".

Сборник, 200 стр., цена 50 к.

В сборнике популярно изложены основные мероприятия Советской власти по поднятию сельского хозяйства.

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ:

ПРИКАЗ Р. В. С. Р. № 279, 1923 г. к пятилетию КРАСНОЙ АРМИИ.

Обложка и иллюстрации (в 6 красок) работы худож. Ю. П. Анненкова.
Цена 1 руб. 50 коп., на лучшей бумаге 2 руб.

Портрет тов. Л. Д. ТРОЦКОГО

работы художника Ю. П. Анненкова. Фототипия.

А. Неверов.

Я ХОЧУ ЖИТЬ.

Рассказы. Издание 1-е.

Сборничек содержит три рассказа популярного автора (два — из быта Красной армии, один—деревенский). Полезная книга для красных уголков.

Заказы адресовать в В. В. Р. С.

Скидка от 15 до 30%, в зависимости от количества приобретенных изданий.